



**АНДРЕЙ  
ЛАЗАРЧУК**

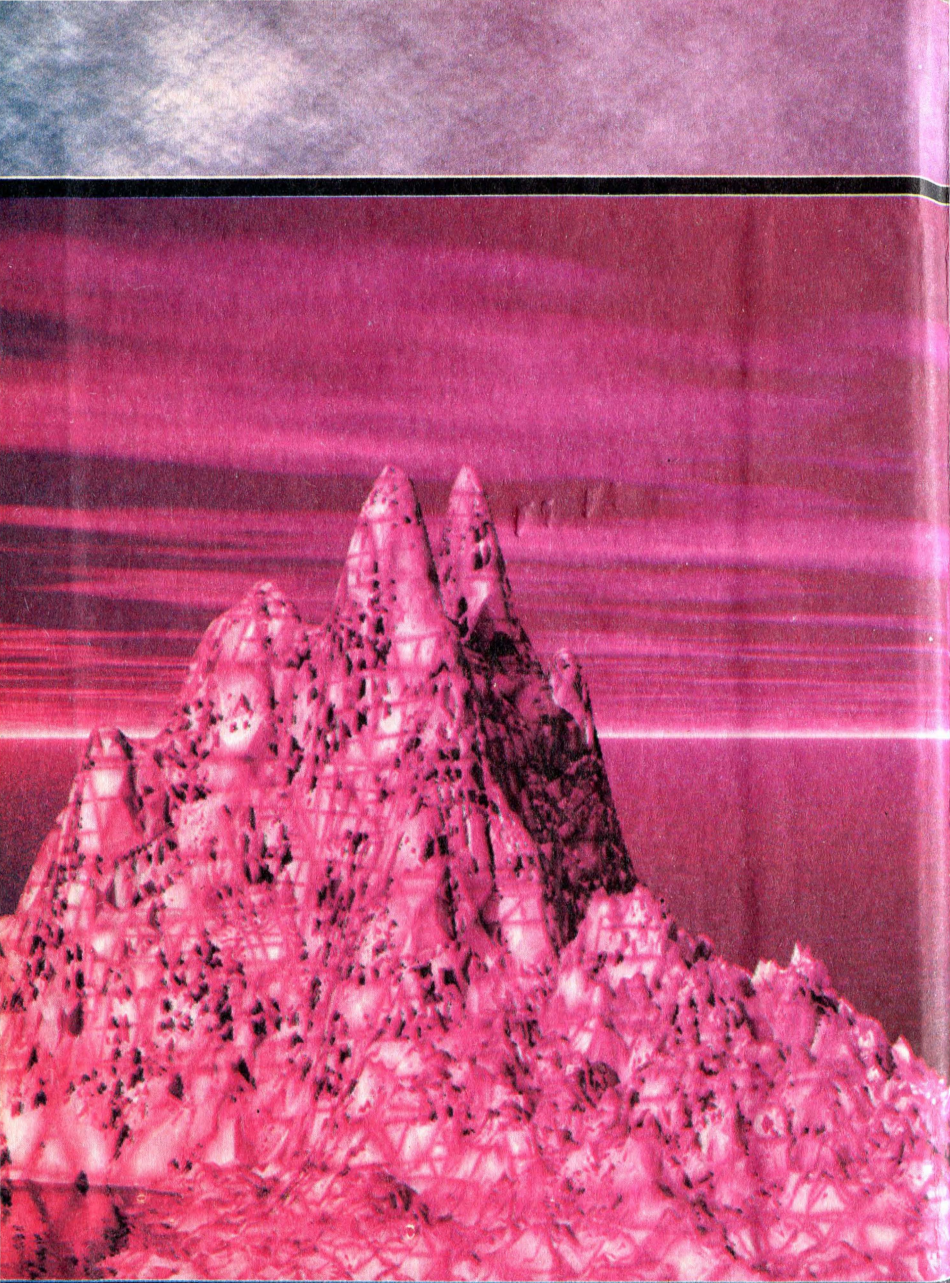
# ИЗ ТЕМНОТЫ



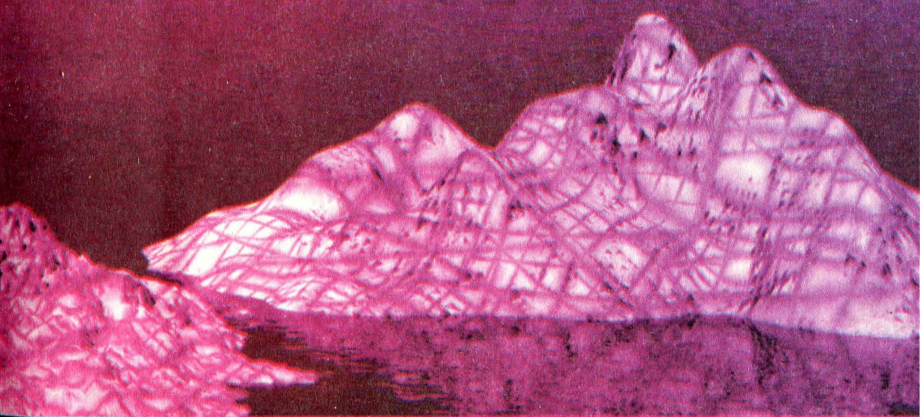
**З В Е З Д Н Ы Й**

**ЛАБИРИНТ**









**З В Е З Д Н Ы Й**



Сканировал и создал книгу - vmakhankov

**Л А Б И Р И Н Т**





Л А Б И Р И Н Т

---

З В Е З Д Н Ы Й

**АНДРЕЙ  
ЛАЗАРЧУК**

**ИЗ ТЕМНОТЫ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО **АСТ** • МОСКВА

---

2000



Серия основана в 1997 году

*Серийное оформление А.А. Кудрявцева*

*Художник В.Д. Румянцев*

Исключительные права на публикацию книги  
на русском языке принадлежат издательству АСТ.  
Любое использование материала данной книги,  
полностью или частично, без разрешения  
правообладателя запрещается.

### **Лазарчук А.**

**Л17** Из темноты: Повести и рассказы. — М.: ООО «Фирма  
«Издательство АСТ», 2000. — 416 с. — (Звездный лабиринт).

ISBN 5-237-05290-8

Андрей Лазарчук — признанный мастер отечественной фантастики, писатель, которому подвластно в этом жанре практически все. Альтернативная история во всей ее оригинальности... Классические, леденящие душу «ужасы»... Озорной, веселый, добрый юмор... Головокружительные приключения... Экшн, от напряженности действия которого захватывает дух... Таковы повести и рассказы Лазарчука — очень-очень разные, однако все их объединяет жесткий, яркий сюжет и запоминающиеся герои. Андрей Лазарчук — это фантастика, которая не оставит равнодушным никого!

© А. Лазарчук, 2000

© ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2000

**Н**еприятно в этом признаваться, но один раз я уже описывал события лета восьмидесят второго года. Я накатал по горячим следам лихую детективную повесть и отправил ее в один журнал, который, как мне казалось тогда, с вниманием относится к молодым авторам. Вскоре пришел ответ, что повесть прочли и готовы рассмотреть вопрос о ее публикации, если автор переделает все так, чтобы действие происходило не у нас, а в Америке. Это было в середине октября (оцените мою оперативность и оперативность журнала!), а второго ноября Боб сделал то, что сделал, — то, что вытравило из этой истории дух приключения и оставило только трагедию.

С тех пор на меня накатывают приступы понимания, будто бы это я вместо Боба точно знаю и понимаю все, и нет больше возможности прятаться



за догадки и толкования, и сделать ничего нельзя, и нельзя оставлять все как есть... Потом это проходит. Но вот эту половину месяца, вторую половину октября, я не прощу себе никогда, потому что я совершенно серьезно подумывал над тем, как бы полочее выполнить задание редакции. Стыдно. До сих пор стыдно. Ведь из того, что произошло, я не знал только каких-то деталей, частных, фрагментов. Но я нафантазировал, наврал с три короба, выстроил насквозь лживую версию событий, а те события, которые в эту версию не вписывались, я отбросил. И что самое смешное, я готов был вообще плюнуть на приличия и врать до конца.

Понимаете, если бы я не оказался тогда в эпицентре всех этих дел, и если бы Боб не был моим настоящим другом — единственным и последним настоящим другом, — и если бы не чувство стыда за принадлежность к тому же биологическому виду, что и Осипов, Старохацкий и Буйков, наконец, если бы не Таня Шмелева, с которой я редко, но встречаюсь... но главное, конечно, Боб... так вот, если бы не все это, то я мог бы состряпать детектив — и какой детектив!

Но детектив я писать не буду. Хотя события позволяют. И Боб, будь он жив, не обиделся бы на

---

меня, а только посмеялся бы и выдал бы какой-нибудь афоризм. Я жалею, что не записывал за ним — запомнилось очень мало. Кто мог ожидать, что все так неожиданно оборвется... Просто для того, чтобы написать детектив, опять придется много выдумывать, сочинять всякие там диалоги: Боб в столовой, Боб допрашивает, Боб у прокурора, то есть то, чего я не видел и не слышал; заставлять этого придуманного Боба картинно размышлять над делом — так, чтобы читателю был понятен ход его мыслей (Боб говорил как-то, что сам почти не понимает хода своих мыслей, не улавливает его и поэтому временами глядит в зеркало, а там — дурак дураком...) — ну и прочее в том же духе. Он не обиделся бы, но мне было бы неловко давать ему это читать. А я так не хочу.

Я так не хочу. Все происходило рядом со мной и даже чуть-чуть с моим участием, и Боб был моим настоящим другом, и второй раз таких друзей не бывает, и стыд временами усиливается до того, что хоть в петлю, — а лучше бежать куда-нибудь от людей, бежать, и там, в пустыне, молить о прощении, — бежать, плакать, просить за себя и за остальных, не причастных к тем, другим, кто навсегда, на все времена, запятнал род людской... и вдруг понимаешь, что по меркам людского рода это и не преступление



даже — то, что они совершали, — а так, проступок, за который и морду-то бить не принято... а ведь Боб знал все наверняка, знал все до последней точки и ничего не сказал ни мне, ни на суде — он считал, что так будет правильно; я до сих пор помню выражение его лица: совершенно запредельное недоумение...

Боб все знал наверняка — он видел это своими глазами. Я видел не все, мне приходится додумывать, и иногда я начинаю мучительно сомневаться в правильности того, что додумываю. Поэтому я просто расскажу все так, как оно происходило.

Поэтому и еще потому, что слишком хорошо помню звук пули, пролетающей рядом. И характерный короткий, спрессованный хруст, с которым она врежется в стену. С таким же, наверное, хрустом она врежется, входит, погружается в тело. И чувство, с которым стреляешь в человека, торопясь успеть попасть в него раньше, чем он в тебя, — страх, подавляющий почти все остальное, как это сказать правильно: зверящий? озверяющий? Как легко и как хочется убить того, кто вызывает в тебе этот страх, и как гнусно после...

Я не напишу ни единой буквы, из-за которой не смог бы посмотреть Бобу в глаза.

---

Я помню, как он встретил приговор: покивал головой, вздохнул и будто бы чуть обмяк; друзья и родственники Осипова, Старохацкого и Буйкова аплодировали суду, адвокатесса Софья Моисеевна страшно побледнела и, стоя, перебирала бумаги в своей папке — Боб не хотел, чтобы его защищали, она билась об него как рыба об лед... И мне показалось, что был момент, когда Боб сдержал улыбку — когда глядел на аплодирующих друзей и родственников; и я не удивился бы, если бы он улыбнулся и вместе с ними поаплодировал бы суду — в конце концов суд только подтвердил тот приговор, который он сам себе вынес.

Таня выдержала все это. Она стояла рядом со мной, неотрывно смотрела на Боба, и лицо ее было скучным и плоским, как картонная маска. Мы встречаемся с ней изредка и даже иногда разговариваем. Я ничем не могу ей помочь — просто потому, что в том мире, откуда ей можно было бы протянуть руку, меня нет. Там одиночество, ветер, дождь — и разбитые зеркала...

Разбитые зеркала... У меня сохранились два осколка тех зеркал, оба с тетрадку размером. Если их закрепить одно напротив другого, четко выверив расстояние — должно быть точно два метра шестьдесят шесть санти-



метров, — то через несколько минут грани осколков начинают светиться: одного — багровым, другого — густо-фиолетовым, почти черным; невозможно представить это черное свечение, пока сам его не увидишь. Поверхность зеркал тогда как-то размывается, затуманивается, и туда можно просунуть, скажем, руку...

Я никогда не делал этого. Я просто представил себе, как возле той дороги из ничего высовывается рука. Символ Земли — рука, запущенная в другой мир. В карман другого мира. За пазуху другого мира. Символ Земли в том мире — ныне и присно и во веки веков.

Позор, от которого нам никогда не отмыться.

Не знаю, прав ли я, рассказывая обо всем этом. Или прав был Боб, когда приказывал, просил, умолял молчать, молчать во что бы то ни стало, и я не могу не соглашаться с его доводами и признаю его, наверное, правоту; но, соглашаясь и призывая, я почему-то все равно поступаю по-своему. Зачем? Не имею ни малейшего представления. Практического смысла в этом нет никакого.

### *Материалы дела и кое-что сверх того*

Из четырех восьмых классов у нас сделали три девятых, и таким образом мы с Бобом оказались за

одной партой. В те времена Боб был вежливо-хамоват с учителями, и особенно от него доставалось историчке и литераторше — Боб слишком много знал.

С программой по литературе, помню, у меня тоже были сложные и запутанные отношения, вероятно, это вообще моя склонность — все запутывать и усложнять, — и на этом поприще мы с Бобом очень ладили. Был еще такой забавнейший предмет: обществоведение. Там мы тоже порезвились. На педсовете я молчал и изображал покорность, Боб ворчал и огрызался. А когда мы заканчивали девятый, родители Боба уехали в Нигерию на два года, и Боб остался один в шикарной трехкомнатной квартире; я до сих пор с удовольствием вспоминаю кое-что из той поры. Но несмотря на такой, я бы сказал, спорадически-аморальный образ жизни, доучились мы нормально и, получив аттестаты, расстались — на целых десять лет.

Смешно, но вот сейчас, вспоминая наш девятый-десятый, я никак не могу восстановить полностью атрибутику тех лет. То есть кое-что вспоминается по отдельности: клеши, например, произведенные из обычных брюк путем ушивания в бедрах и вставки клиньев; стремление как можно дольше продержаться без стрижки — ну, тут Боб был вне конкуренции; танцы



шейк и танго — замечательные танцы, которые не надо было уметь танцевать; музыка «Битлз» и «Лед Зеппелин» (или я путаю, и «Лед Зеппелин» появились позже?); в десятом классе Витька Бардин спаял светомузыку — именно не цвето-, а свето-, потому что лампочки на щите в такт музыке то накалялись, то меркли; про джинсы ходили какие-то странные слухи, многие их видели, но никто не имел, и когда Бобов отец, Бронислав Вацлавич, привез — он приезжал изредка на неделю, на две по делам — две пары джинсов и Боб с ходу подарил одни мне, мы в классе произвели определенный фурор. Вообще вокруг нас тогда — вокруг Боба главным образом — создалась этакая порочно-притягательная, богемная атмосфера; девочки смотрели на нас совершенно особыми глазами. Так мы и жили, а потом неожиданно для себя оказались в разных университетах и, естественно, в разных городах — долго рассказывать, почему так получилось. Изредка переписывались, несколько раз встречались — первые годы. Потом и переписка иссякла, и встреч не было — до самого десятилетия выпуска.

Двое наших, Тамарка Кравченко и Саша Ляпунов, поженившись, купили дом в Слободке, и там собрались две трети класса. Пили за новую семью, за новоселье, за встречу, пили много, но было как-

то странно невесело. То ли действовало известие, что Игорь Прилепский погиб в Афганистане, но говорить об этом почему-то нельзя, а Юрий Ройтман уехал в Америку, и непонятно, как к этому относиться, потому что Юрку все знали, и знали, какой он отличный парень... или казалось тогда, что невесело всем, а на самом деле невесело было мне одному — по чисто личным причинам? Или просто не прошла еще вполне понятная неловкость позднего узнавания друг друга и возвращения в старые роли: жмет, тянет, не по сезону пошито? В общем, не знаю. Было что-то такое... расплывчатое. И тут пришел Боб.

Пришел Боб — и все разрядилось: в Боба, как в громоотвод, ушло атмосферное электричество, все вдруг запорхали бабочками, хотя он никого не трогал и не тормозил, просто его тут не хватало до сих пор — бывает так; мы с ним потузили друг друга в животы — он меня бережно, я его с уважением, — живот у Боба был тверд и неровен, как стиральная доска, будто ребра у него, как у крокодила, продолжались до этого самого... и с тех пор мы виделись если не каждый день, то все равно часто.

Теперь и не вспомнить, как именно родилась идея написать детектив: то ли Боб рассказал что-то интересное, то ли просто мне приспичило прославиться,

---

и я решил растащить Боба на материал — да и какая теперь разница? Главное то, что я достаточно полно познакомился (в изложении Боба, конечно) с делом, которое он сам на себя повесил.

Итак, Боб — Роберт Брониславович Браницкий, старший следователь городской прокуратуры, молодой и энергичный работник, разбираясь в порядке прокурорского надзора с делами в различных ведомствах, наткнулся на несколько чрезвычайно интересных моментов. Он доложил о заинтересовавших его делах прокурору, дела объединили в одно, сформировали так называемую следственную группу — чисто формально, однако дело вел Боб самолично, — и с этого момента, наверное, и можно вести хронологию событий.

Вот как все это изложено в том моем паскудном детективчике (правда, Боб у меня там именуется Вячеславом Борисовичем — оставляю как есть): «На столе перед Вячеславом Борисовичем лежали три папки с разными номерами и разной степени захватанности. То, что было в папках, он помнил почти наизусть. Дело о наезде на гражданку Цветкову Феклу Степановну, тысяча девятьсот одиннадцатого года рождения. Наезд произошел тридцать первого января тысяча девятьсот восемьдесят второго года на улице без названия — на узкой отсыпной дороге, про-

ходящей между старым городским кладбищем и ог-  
радой шинного завода и соединяющей улицу Ново-  
российскую и Московский тракт. Глухая, безлюдная  
окраина. Ширина дороги не превышает четырех мет-  
ров, и, главное, есть два крутых поворота: где угол  
кладбища — направо, и через сто восемьдесят мет-  
ров — налево. Самый опытный водитель на таком  
повороте — узкая дорога и полное отсутствие види-  
мости — должен сбросить скорость до десяти — пят-  
надцати километров в час. Но старушка была сбита  
около часа ночи автомобилем, движущимся со сто-  
роны улицы Новороссийская, именно на этом сто-  
восемидесятиметровом участке дороги; судя по сле-  
дам краски на теле погибшей, наезд произвел автобус  
«Икарус-250» красного цвета, шедший со скоростью  
семьдесят километров в час. Все автобусы этого типа  
принадлежали ГАТП-2 и обслуживали междугород-  
ные линии. Возникали вопросы: почему автобус,  
имевший на повороте скорость не больше пятнад-  
цати километров в час, разогнался на таком корот-  
ком отрезке пути до семидесяти? Водитель рисковал  
страшно: тормозной путь едва уложился в те метры,  
которые оставались до бетонного забора завода. Да-  
лее: что вообще понадобилось междугородному ав-  
тобусу на этой богом забытой дороге, где он едва



вписывался в поворот, если всего в полутора километрах отсюда улица Новороссийская пересекалась с проспектом Октябрьским, непосредственно переходящим в Московский тракт? Наконец, где сам «Икарус-250» красного цвета, совершивший наезд, если все они до единого были подвергнуты тщательному осмотру и ни на одном не найдено ни следов соударения с человеческим телом на скорости семьдесят километров в час, ни следов недавнего ремонта?

С другой стороны, бабушка Цветкова Фекла Степановна, до сих пор не привлекавшая внимания органов, оказалась та еще бабушка. Проживала она одиноко, и одинокое ее жилище было осмотрено в присутствии понятых дежурным следователем Ждановского райотдела. Среди вещей обычных обнаружены были две аккуратные пачки пятидесятирублевых банкнот на общую сумму десять тысяч рублей, четыреста шесть долларов США в купюрах и монетах различного достоинства, девятьсот девяносто два рубля чеками Внешпосылторга и незначительное количество валюты стран — членов СЭВ; золотое блюдо со сложным рисунком весом тысяча восемьсот девяносто один грамм, представляющее, помимо всего, большую художественную ценность; и лабора-

торная электропечь ПЭДЛ-212м; на стенках плавильной камеры обнаружены следы золота и серебра.

По словам соседей, бабушка Цветкова знавалась с нечистой силой и потому-то и шлялась ночами на этом кладбище, где давно уже никого не хоронят. Как известно, именно старые, неиспользуемые по прямому назначению кладбища и становятся прибежищем нечистой силы. Выявить какие-либо контакты бабушки Цветковой не удалось — нечистая сила на кладбище вела себя тихо; наблюдение за домом тоже ничего не дало: по словам тех же соседей, к покойнице никто никогда не ходил. Никто и никогда. Включая соседей.

Вячеслав Борисович вынул душу из того дежурного следователя, который и осмотра-то не смог как следует провести: натоптал, разбросал, захватал. Тайник, где все интересное и хранилось, обнаружил по-нятой, совершенно случайно, когда осмотр окончился и все собрались уходить. При повторном осмотре нашли фрагменты следов мужских ботинок, фрагменты же неустановленных отпечатков пальцев, табачный пепел... Но попробуй судить по этим фрагментам — черта лысого!

Таким было первое дело. Второе вел Чкаловский райотдел — вернее, не вел, а дело мертво висело на

нем. На задах городской свалки нашли засыпанные снегом тела двух женщин. Смерть наступила от удущья — об этом свидетельствовал выход эритроцитов в ткани. Эксперт не мог с уверенностью установить точную дату смерти — так примерно двадцатого января — пятого февраля. Странен был вид погибших: очень короткая стрижка, одежда из грубошерстного толстого сукна: длинная трехслойная юбка, трехслойная же куртка, надетые поверх льняной рубахи, и плащ-накидка с капюшоном. На ногах сапоги из толстой кожи, сшитые кустарно. У обоих во рту — острые обломки зубов. Возраст предположительно тридцать — тридцать пять лет. Ни денег, ни документов, ни вещей — ничего абсолютно. Личности не установлены.

При обследовании обуви у одной из погибших на стельке обнаружен отпечаток дискообразного предмета с выступающим рантом, предположительно монеты диаметром 49,2 мм.

Объединяло эти два совершенно непересекающихся дела третье. Третье дело вел КГБ. Гражданин Синешекоев Александр Фомич, 1934 года рождения, был задержан в момент продажи им гражданину Рамишвили Григорию Ревазовичу десяти монет из желтого металла с надписью: «Deuem dinagesem» и изоб-

ражением орла с распростертыми крыльями и мечом и молнией в когтях на аверсе, с надписью: «*Ou healiues se Imperater!*» и изображением венценосного профиля на реверсе, и обеими этими надписями на ранте. Поскольку речь, очевидно, шла о каких-то валютных делах, дело было заведено соответствующим отделом КГБ. Но там сразу же выяснили несколько не вполне обычных обстоятельств.

Ну, во-первых, гражданин Синещеков категорически отрицал свою причастность к любого рода контрабанде. С его слов, монеты эти, количеством двадцать пять штук, он нашел на дороге, соединяющей улицу Новороссийскую с Московским трактом, утром второго февраля; по этой дороге он ходил на работу; деньги были сложены столбиком и зашиты в полотняный чехол, о который он споткнулся, у ограды кладбища, куда отошел, пропуская встречную машину. Таким образом, монеты эти не являлись ни кладом, ни контрабандой, а только находкой, то есть предметом, с точки зрения закона, весьма неопределенным, и то, как поступать с этой находкой в отсутствие законных ее владельцев, гражданину Синещекову должна была подсказать его совесть. Не дождавшись с ее стороны подсказки, гражданин Синещеков обратился за советом к некоему Рамишви-



ли, а Рамишвили исключительно по своей инициативе обратился в КГБ, и сомнительная сделка была пресечена.

Во-вторых, надписи на монете, такие простые и такие понятные, были сделаны на языке, не принадлежащем ни одному из населяющих планету народов, а также ни на одном из известных науке мертвых языков.

В-третьих, такого вида монеты не выпускались никогда ни одним государством.

В-четвертых, сплав, из которого были сделаны монеты, состоял из 81 % золота, 12 % серебра, 4,7 % меди, 1,0 % цинка, 0,7 % никеля, 0,1 % палладия, 0,1 % прочих металлов; зафиксированы следы радиоактивного кобальта и технеция, что вообще не лезло уже ни в какие ворота.

Вес монеты 37,63 г, диаметр 49,2 мм.

Вячеслав Борисович вынул из стола новую папку-скоросшиватель, сложил в нее листы из всех трех папок, вывел порядковый номер дела — 169, и тут до него дошло, что 169 — это 13 на 13. Он бросил ручку на стол и уставился на номер...»

Это я сам придумал. У реального дела был совершенно заурядный номер, Боб в приметы не верил — точнее, верил, но по-своему. Все остальное — правда.

Надо знать Боба, чтобы не усомниться: он вцепился в это дело по-бульдोजьи. Его не останавливало и прекрасное знание проверенного принципа: «Не высовывайся! Ты придумаешь, тебя же и делать заставят, тебя же и накажут, что плохо сделал». Его не останавливала очевиднейшая бесперспективность дела. В каком-то смысле Боб был фанатиком, в каком-то — романтиком (хотя сейчас это понятие истаскали до полной потери позитивности), а главное, как он сам потом признавался, — это то, что мерещилось ему за непроходимой путаницей золотых монет несуществующих стран, наездом на старушку, знающуюся с нечистой силой, убийством женщин в странной одежде, автобусом-призраком и прочим, прочим, прочим, — померещилось ему что-то большое и страшное... Итак, Боб без труда убедил прокурора объединить эти дела в одно и занялся раскруткой. Так, он установил, что печь электродуговая лабораторная с данным заводским номером была четыре года назад списана кафедрой сплавов института цветных металлов. По установленному порядку списанные предметы приводились в полную негодность посредством кувалды и сдавались в металлолом. Как именно уцелела данная конкретная печь, установить не удалось: работавший тогда проректор

по хозчасти в позапрошлом году скончался при весьма прозаических обстоятельствах: утонул в пьяном виде на мелком месте. Его достали из воды тут же, но откачать не смогли, поскольку откачивавшие были весьма подшофе. Прорва свидетелей. Дело закрыто за отсутствием состава преступления.

И эта ниточка, как и автобусная, дальше не тянулась.

Кстати сказать, поиски таинственного автобуса лишили Боба последних иллюзий относительно порядка в автохозяйствах, Госнабе и ГАИ. То есть я, конечно, понимал, что бардак есть бардак, говорил потом Боб, но чтобы такое!.. Уникально. Совершенно уникально...

А на Первомайские праздники тот самый следователь, из которого Боб вынимал душу, нашел свидетеля наезда на гражданку Цветкову Феклу Степановну. Свидетелем оказался один из рабочих шинного завода, перелезавший через забор на ту самую безымянную улочку. Дело в том, что в технологическом процессе производства шин как-то замешан этиловый спирт, поэтому выходы с территории завода, минуя проходную, практикуются. Итак, свидетель показал следующее: перелезая через забор, он задержался, потому что напротив, у ограды кладби-

ща, скандалили, и довольно громко, двое, причем один из скандаливших — мужчина, а другая старуха, что было ясно из тембра голосов и употреблявшегося лексикона. Потом слева вдруг взревел мотор, и огромный автобус с темными окнами рванулся по улочке, и в тот миг, когда автобус приблизился, мужчина толкнул под него старуху. Раздался удар, визг тормозов, и автобус остановился у самой стены завода на повороте. Он остановился так близко у стены, что ему потом пришлось дать задний ход, чтобы вписаться в поворот. А пока он остановился, открылась дверь, и кто-то что-то крикнул — свидетель не разобрал, что именно, так он был испуган. Вообще все было непонятно и страшно, так страшно, как никогда еще не было.

А мужчина, толкнувший старуху, подошел к ней, пошевелил ногой ее голову, наклонился, а потом быстро пошел, почти побежал к автобусу, забрался в него, дверь закрылась, и автобус, отпятившись немного, повернул налево и скрылся за поворотом. А свидетель, раздумав перелезть через забор и вообще раздумав заниматься преступной деятельностью, пусть и меньших масштабов, но все равно преступной, вернулся на свое рабочее место и до самого тридцатого апреля хранил молчание, а тридцатого

апреля, будучи задержанным с бутылкой из-под венгерского вермута, замененного на технический, но условно пригодный для внутреннего употребления этиловый спирт, расплакался в кабинете следователя и все ему рассказал. Следователь же, поняв что к чему, мстительно поднял Боба с постели в половине третьего ночи.

По этой причине и по некоторым другим, не менее важным, первый выход на рыбалку мы с Бобом перенесли со второго мая на девятое.

### *Ловля хариуса на обманку*

Именно в эту неделю, со второго по девятое, бурно разыгралась весна, все, что еще не дотаяло, дотаяло и высохло, полопались почки, из лесу несли подснежники-прострелы; а еще первого шел дождь со снегом, и демонстрантам было мокро и холодно. Мои девочки пытались шевелиться, потом выдохлись и сбились в кучку под тремя зонтиками, и так, кучкой, мы продемонстрировали мимо трибуны, прокричали «ура» в ответ на мегафонные призывы, потом побросали портреты в кузов поджидавшего нас институтского грузовичка и разошлись, пожелав друг другу хорошего праздничного настроения. И уже ве-



чером задул ветер с юга, и назавтра было тепло и ясно. Всю неделю у девочек шумело в голове от гормональных бурь, и они не учились абсолютно — сидели, смотрели перед собой и грезили. Весна есть весна, даже если и наступает только в мае.

Все это время Боб приходил домой к полуночи, ужинал и тут же ложился спать; я, кажется, забыл сказать, что дома наши стояли напротив и окна смотрели друг на друга, — правда, между домами было метров двести пятьдесят пустыря, полоса отчуждения высоковольтной линии; там стояли сарайчики, гаражи, отрыты были погреба, и в хорошую погоду сбегать к Бобу было просто, а вот после дождя приходилось давать крюк километра в два — такие парадоксы в нашем микрорайоне. Когда-то мы хотели протянуть из окна в окно телефонной провод, но так и не собрались. Зато идти в гости можно было в полной уверенности, что Боб дома: у него была привычка зажигать сразу все лампочки в квартире, чуть только начинало темнеть. И всю первую неделю мая я уже из постели смотрел, как в правом верхнем углу двенадцатизатяжки, которая черным знаменем — такая у нее была характерная уступчивая форма — вырисовывалась на фоне всеошного зарева над хитрым номерным заводом, — так вот, в правом верхнем

углу, у дровяка, ярко вспыхивали три окна: возвращался домой Боб и устраивал свою иллюминацию. Минут через двадцать окна гасли: Боб проглатывал банку скумбрии в масле, запивал ее бутылкой пива и ложился спать.

Но вечером восьмого он пришел ко мне сам, чем-то довольный, и стал выкладывать из карманов поролоновые подушечки, утыканные обманками. Мы тут же разложили все на полу, проверили удочки — как они перенесли зиму на балконе, посетовали хором, что из магазинов все нужное куда-то пропало и приходится ломать голову над каждым пустяком...

Идти домой ему не захотелось, он выволок раскладушку на середину комнаты и лег не раздеваясь, почему-то ему нравилось иногда спать в одежде — особенно если утром надо было рано вставать. Это для меня ранние подъемы не проблема, Боб поспать любил — и не любил себя за это. Он вообще мало любил себя, потому что считал, что человек должен быть свободен от слабостей и привычек, — сам же имел привычек и слабостей достаточное количество. Так, например, потрепаться перед сном.

Сначала это был просто треп, а потом рассказал, как за неделю до отъезда к нему пришел Юрка Ройтман, принес две бутылки коньяка, да у Боба тоже

кое-что стояло в баре, и они проговорили почти сутки — не поверишь, старик, сказал Боб, пьем — и все как на землю льем, ни в одном глазу ни у него, ни у меня; билет у Юрки был куплен, родители сидели в Москве на чемоданах, сестра ушла из дома и только вчера, узнав, наверное, что Юрка ищет ее повсюду, позвонила, сказала, что у нее все в порядке, и бросила трубку, с работы его выгнали, оказывается, еще четыре месяца назад... Почему, почему, почему? — бился Юрка в Боба, а что мог сказать Боб? Оставайся? Он так и сказал. Мать жалко, сказал Юрка и стал смотреть в угол. Сил нет, как жалко... а они говорят, что едут ради меня... Вот ведь, он схватил себя руками за горло, вот, вот, понимаешь, вот! Ты что думаешь, я за колбасой туда еду? Я работать хочу! Работать, вкалывать — не руками, не горбом — вот этим местом! Он бил себя кулаком в лоб. Я же умею, я же могу в сто раз больше, чем от меня здесь требуется! А там? — спросил Боб. Черт его знает, сказал Юрка, а вдруг? Неизвестно. А здесь все уже навсегда известно — от сих до сих, шаг вправо, шаг влево — побег, стреляю без предупреждения! Э-эх! — он выматерился и отхлебнул коньяку прямо из бутылки — за разговором все никак не мог налить в стакан, тогда Боб откупорил еще одну бутылку и тоже стал пить

из горлышка — за компанию. И еще, говорил потом Юрка, ты же помнишь наш класс, у нас же все равно было, кто ты: еврей, поляк, немец, татарин — кому какая разница, правда? А вот после того, как я всю эту процедуру оформления прошел... я теперь будто желтую звезду вот тут ношу. Хоть ты-то ве-ришь, что я не предатель? Верю, сказал Боб. А меня так долго убеждали, что я предатель, сказал Юрка, что я уже ничего не понимаю... я иногда боюсь, что все мои мысли просто от озлобленности... но у нашей страны характер постаревшей красавицы, знающей, кстати, что она постарела: ей можно говорить только комплименты, а правды, разумеется... — и в ее присутствии нельзя хвалить других женщин, ну а тем, кто надумает от нее уйти, она будет мстить беспощадно... по-женски. Страшно глупо, Боже, до чего все глупо! Зачем это надо: рвать с корнем, по живому, со страстями, с истерикой? Зачем и кому? Главное — кому? Ничего не понимаю... ничего... И как получилось, что страна, созданная великими вольнодумцами, была превращена вот в это? — Юрка обвел руками вокруг себя, рисуя то ли ящик, то ли клетку. Ты — ты понимаешь или нет? Или не думаешь об этом? Превратности метода, сказал Боб. А может быть, превращения метода. Юрка потряс свою

бутылку — бутылка была пуста. Боб достал из бара еще одну. Может быть, сказал Юрка. Но не только. Должно быть еще что-то... можешь считать меня озлобленным дураком, но это какой-то национальный рок, это упирается в традиции, в характер, в черта, в дьявола, в бога, в душу... какое-то общенациональное биополе, и всплески его напряженности — и вот теперь тоже такой же всплеск, и евреев выдавливают, как инородное тело... Дурак ты, сказал Боб. Ну пусть дурак, сказал Юрка, ну и что? Я ведь чувствую, как давит, душит, шевелиться не дает — а что давит? Что? Вот — ничего нет! — Он протянул Бобу пустую ладонь. Поезжай, сказал Боб. Правда, хоть мир посмотришь. А ты? — спросил Юрка. У меня работа, сказал Боб. Надеешься разгрести эту помойку? — с тоской спросил Юрка. Да нет, конечно, сказал Боб, это же разве в человеческих силах? Это же только Геракл смог: запрудил реку, и вымыла вода из конюшен все дерьмо, а заодно лошадей, конюхов и телеги... эти... квадриги. Ясно, сказал Юрка. Ты хоть пиши, сказал Боб. Ну что ты, сказал Юрка, зачем тебе лишние неприятности?..

— Так и не написал? — спросил я. Боб покачал головой. А ты? — снова спросил я. Куда писать-то? — усмехнулся Боб. Земля, до востребования? Где он хоть,



ты знаешь? — продолжал наседать я. В Новом Орлеане, — сказал Боб. Занимается ландшафтной архитектурой, ландшафтным дизайном. Полмира уже объездил...

— Ничего не понимаю, — сказал я, — зачем учить человека тому, что потом не нужно? Зачем я своим красоткам начитываю античную литературу, если они и русскую классику-то не читают, а читают «Вечный зёв»? Для них это — идеал литературы. Или, скажем...

— Знаешь, — перебил Боб, — меня тот разговор с Юркой натолкнул на одну мысль... не только, конечно, тот разговор, но и вообще жизнь, и вот то, что ты сейчас говоришь... впрочем, нет, потом. Потом я тебе эту мысль изложу — сперва сам додумаю до конца...

Он действительно рассказал мне это потом, через несколько месяцев — в конце июля, на берегу Бабьего озера, ночью, у костра, раздуваемого ветром, под плеск волн и раскаты сухого грома — была странная, насыщенная электричеством ночь, ночь накануне событий, но об этом позже... А сейчас мы уснули, и я проснулся в пять утра, распинал Боба, мы умылись, проглотили бутерброды с чаем, солнце еще не взошло, на улице было холодно, Боб зябко зевал, меня передергивало от стылости. Мы выкати-

ли «Ковровец» из гаража, Боб сложил в коляску рюкзак, удочки, канистру с бензином — можно было ехать. Город был совершенно пуст, раза два нам попались служебные автобусы, да на выезде из города стояли у тротуара пээмгэшкa и две «скорых» — что-то случилось. На тракте стали попадаться грузовики, навстречу и по ходу — догоняли, сердито взрывали и обгоняли, обдав бензиновым перегаром.

На «Ковровце» особенно не разгонишься, я держал километров семьдесят, и больше он просто не мог дать, не впадая в истерику; зато на всяких там грунтовых и прочих дорогах, а также в отсутствие оных равных ему не было. На нем можно было даже пахать. На шестьдесят втором километре тракта за остановкой междугородного автобуса направо отходила дорога, до Погорелки — асфальтовая, а дальше — страшно измочаленная лесовозами, почти непроезжая — до заброшенной деревни. Этой дороги было километров двадцать, и бултыхался я в ней полтора часа — это при том, что были и вполне приличные участки. Деревня оставалась, как и раньше, никому не нужная, вся в стеблях прошлогодней крапивы. Жутковатое местечко — эта деревня. Пруд еще не растаял полностью, посередине была полынья, а по берегам — лед. В этом пруду водились ве-

ликолепные караси, но их черед еще не пришел. Мы проехали по плотине, дальше дороги вообще не было, но ехать было легко: до самого Севгуна лежал сосновый бор, и я не торопясь ехал между соснами, давя с хрустом шишки и сухие ветки. Это был самый красивый бор, который я когда-либо видел, и самый чистый.

В девять с минутами мы были на месте. Мотоцикл мы оставили на пологом лысом гребне, отсюда можно было спускаться и направо и налево: Севгун делает широкую петлю, часа на два ходьбы, и возвращается почти в то же самое место — перешеек, тот самый гребень, на котором мы остановились, шириной метров сто, не больше. От реки тянуло холодом, в тени берегов у воды лежал снег. Паводок пока не начался, вода почти не поднялась, только помутнела. Мы собрали удочки и спустились к реке. Боб пошел вверх по течению, а я вниз. Минут через пятнадцать мне попался небольшой перекатик, за которым вода лениво закручивалась воронкой. Туда, за перекат, я и забросил. Клюнуло почти сразу. Хариус берет уверенно, поклевка похожа на удар. Я вытащил его, снял и бросил в мешок. Повесил мешок на пояс и забросил еще раз туда же. Всего из этой ямы я вытащил двенадцать штук, все, как один, светлые,

не очень большие — верховички. Потом пошел дальше. Таких ям больше не попадалось, но по одному, по два, по три я вытаскивал постоянно. Попалось несколько низовых — раза в два больших, темно-серого цвета. Несколько обманок я потерял. Рыбу постоянно приходилось перекладывать из поясного мешочка в рюкзак. Наконец захотелось есть. Шел уже третий час дня. Потихоньку, продолжая забрасывать, я вернулся. Боб уже разводил костер.

Ну как, спросил я его. Боб кивнул в сторону мотоцикла. Там, приваленная к колесу коляски, стояла его брезентовая сумка, наподобие санитарной. Сумка была набита доверху, клапан топорщился. Я поставил рядом свой рюкзак. Рюкзак тоже неплохо выглядел. Хо, сказал я, теперь жить можно!

Мы поели. Боб посолил несколько хариусов экспресс-методом: бросил их, только что пойманных, в крепкий рассол. Вообще-то это не наш метод. Мы с Бобом люди терпеливые, мы можем и подождать, пока рыба в бочоночке, переложенная лавровым листом, гвоздикой, смородиновыми почками, горошковым перцем и тонко посоленная серой солью — обязательно серой! — полежит три-четыре дня, и вот тогда ее можно брать, разделывать руками и есть — есть это нежнейшее розовое мясо, растирать его язы-

ком по нёбу и помирать от удовольствия. Тут же, конечно, и пиво, и вареная картошечка, присыпанная зеленым, а если нет зеленого — так и репчатым лучком... черный хлеб...

Короче говоря, мы поели и засобирались домой, и не сделали того, что должны были сделать обязательно: не осмотрелись. В смысле — не осмотрели друг друга на предмет клещей. Мы вернулись, посидели у меня, поговорили еще о чем-то, потом Бобу захотелось под душ, и только под душем он обнаружил, что за ухом у него что-то такое... Клещ еще не насосался, но впился уже глубоко. Я накинул на него нитку, завязал узелок и осторожно выкрутил, не оборвав хоботка. Второй клещ сидел у Боба под мышкой. Я вытащил и его. Боб осмотрел меня, на мне клещей не было. На следующий день Боб ходил в поликлинику, и ему вогнали под лопатку очень болезненный укол. Через три дня Боб заболел. Ромка Филозов, наш одноклассник, а ныне — очень хороший невропатолог, говорил потом, что у Боба скорее всего был не клещевой энцефалит, не настоящий, а сывороточный, то есть вызванный тем самым уколом. Кстати, в том же году сыворотку эту вводить перестали. Так что, вероятно, если бы Боб не пошел колоться, а, как большинство граждан, плю-

нул бы и растер, то ничего бы и не было. Но Боб страдал мнительностью.

Заболел он сразу — на работе, на совещании у прокурора: схватился за голову, глаза стали безумными... Это мне потом рассказывали: безумный взгляд, весь белый, в мелких каплях пота, руки трясутся, но еще пытается держаться, что-то говорить: сейчас прой... пройдет... спал плохо... плохо... ох, как болит, вот тут, вот тут... Потом его стало рвать, тогда наконец догадались вызвать «скорую». «Скорая» приехала через час, Боб уже временами терял сознание, а временами начинал нести чушь. Рвало его беспрерывно, уже нечем было, а его все выворачивало. Я узнал, что он в больнице, только на следующий день.

Три дня Боб был очень тяжелым, ему постоянно что-то лили в вену, делали пункции — после них он ненадолго приходил в себя, потом опять начинал бредить. У нас вовсю шли занятия, сессия была на носу, я рвался на части между институтом и больницей, но не все успевал и имел неприятный разговор на кафедральном. Почему-то довод: «Мой лучший друг в больнице, он без сознания, за ним некому ухаживать», — почему-то такой довод, даже после многократного повторения, впечатления не производил. Как это — некому? Так не бывает, чтобы некому. А

жена? Холост. А родители? Во Вьетнаме. Что, совсем во Вьетнаме? Совсем. И так далее. Короче, шеф никак не мог поверить, что человек — в нашей стране! — может быть одиноким. И был не прав. Боб действительно был совершенно одинок.

Боб говорил как-то, что одиночество — это самое возвышенное состояние души. Вряд ли он особо рисовался, когда так говорил. Притом ведь самое возвышенное не есть самое желаемое. Иногда прорывалось, и он начинал жаловаться, что неприкаянность ему осточертела и на следующей он обязательно женится, но только жаловался. Общий ход его рассуждений — а в рассуждениях этих он становился чрезвычайно многословен — сводился к тому, что если уж жениться, то раз и навсегда, следовательно, на любимой. Но какая дура сможет выносить его годами, изо дня в день? — никакая; значит, связывать с собой любимую женщину безнравственно, поскольку тем самым обрекаешь ее на несчастность... Думаю, в чем-то Боб был прав. Природа создавала его для автономного плавания.

Через три дня Бобу стало чуть легче. Он пришел в себя, но был слаб, жаловался на головную боль и изматывающую тошноту. Он почти не мог есть, я чуть не силой вливал в него бульон и тюрю из сырых

яиц. Он страшно злился на меня — и на себя тоже — за свою беспомощность, бессилие, за бессильную свою злобность. Временами он меня ненавидел. Наверное, он бы убил меня, если бы мог.

Таня работала в этом же отделении дежурной сестрой. Днем там, сменяя друг дружку, работали две матроны предпенсионного возраста, а на ночные смены заступала молодежь. Я не помню начала нашего знакомства. Все эти девочки отличались одна от другой весьма незначительно, за исключением хакасочки Кати, выпадавшей из общего единообразия по этническим признакам. Потом, неделю спустя, я начал их различать, этих Наташ, Марин, Ир и Таню. Таня среди них была одна. Она говорила потом, что сразу, с самого начала обратила на нас внимание, потому что это редкость, когда мужчина ухаживает за женщиной. Это вообще уникальный случай. Сначала она думала, что мы братья, а потом узнала, что нет. Просто одноклассники. Друзья. А жена? А родители? Жены нет, а родители далеко. И никого больше? Никого больше. С ума можно сойти! А у тебя? Да так... ерунда...

Родом из Усть-Каменки, там окончила десятилетку, приехала поступать в медицинский, не поступила, взяли санитаркой сюда, проработала год, по-



пала в медучилище, училась и работала, доучилась и осталась работать тут же — привыкла, все свое, знакомое, и врачи хорошие... комната в общежитии, одностоемка, редко у кого из сестер одностоемки... нет, все хорошо, все хорошо... Больничные ночи особые, после двенадцати, когда гасят свет, становится жутко: полутемный коридор, темные провалы дверей, двери не закрывают, чтобы можно было позвать, если надо. И звуки. Звуки разносятся беспрепятственно, и поэтому в воздухе все время что-то есть: покашливание, скрип кроватных пружин, шорох, позвякивание стекла, вздохи, шаги, храп, вода льется, вдруг начинают гудеть трубы, хлопает форточка... пахнет хлоркой, остро пахнет озоном — от кварца. Свет кварцевой лампы, пробиваясь из-под двери процедурной, придает лицам мертвецкий оттенок. Бобу вводят на ночь тизерцин, но он все равно по несколько раз просыпается в страхе и начинает беспорядочно собираться куда-то. Потом он ничего не помнит, говорит, что спал как убитый.

Дежурят трое: две сестры и санитарка. Положено две санитарки, но где их взять, где взять достаточно дур, согласных торчать тут за семьдесят рублей? Все-таки дуры находятся — как правило, в том же училище. После двенадцати ночи две девчонки ложатся

спать, одна сидит на посту. Через два часа ее меняют. В шесть все опять на ногах, начинаются утренние процедуры. В восемь приходят старухи — и начинается! Я не помню ни единого случая, чтобы они приняли смену без скандала. Это исключительно вредные старухи — валютные, как профессорши, и крикливые, как торговки. Но опытные, умелые, неутомимые. В восемь я ухожу.

Странно, я начисто забыл, сколько ночей отдежурил. Вскоре ведь Бобу полегчало, и из палаты интенсивной терапии — не путать с реанимацией, это этажом ниже! — его перевели в обычную, где помощникам, то есть друзьям и родственникам, остающимся на ночь при больном, быть не полагалось. То есть я продежурил ночей десять. Может быть, двенадцать. Но мне почему-то кажется, что за это время мы успели познакомиться с Таней так, как если бы прожили бок о бок год-другой. Это при том, что дежурила она не каждую ночь, а через одну-две-три. Кстати, она говорила потом то же самое.

Итак, Боба вывели из пике. Он лежал теперь в палате с тремя стариками, которых «посетил Кондратий», то есть инсульт. Компания эта была исключительно теплая и жизнерадостная, как будто им поывбивало критические центры; не исключено, кстати,

что так оно и было. И все бы прекрасно, но один из них, Павел Лукич, отставной майор-пожарник, страдал метеоризмом и регулярно пукал так звучно и едко, что хоть святых выноси. Сам он страшно смущался такого неожиданного свойства своего организма, но ничего не мог поделать, а компания дружно создавала проекты контрмер, из которых самым популярным был проект противогаса, надеваемого не на лицо. Дело упиралось только в отсутствие тонкой листовой резины...

Благодаря такой обстановочке Боб встал на ноги на девятнадцатый день.

### **Таня**

Потом, уже осенью, когда Боб стал исчезать на несколько дней, на неделю, не сказав и не предупредив, Таня приходила ко мне, и мы коротали эти проклятые тоскливые вечера за разговорами, пили пиво и доедали злосчастных хариусов. Тогда она и сказала, что обратила внимание на Боба сразу, с первой минуты, как увидела его, и сразу поняла, что это судьба. Ты мне веришь? Верю. С первой минуты... сразу... никогда бы не подумала, что так бывает... Может быть, так оно и есть. А может быть, она придумала это после. А может быть, воспринимает постфактум. Не знаю. Всякое бывает.

День рождения Боба был десятого июня, но праздновали мы его одиннадцатого, в два часа ночи. В отделении, помимо палат и прочих больничных помещений, была еще и аудитория кафедры медицинского института, то есть та же палата, только приспособленная для занятий со студентами: столы, стулья, плакаты, таблицы...

По правилам противопожарной безопасности ключ от этого помещения должен был находиться на посту, в то же время вход персоналу в эту комнату был категорически запрещен. Поэтому курить, скажем, там было нельзя, а уборку после времяпрепровождений производить следовало очень тщательно. Помещение в обиходе называлось «вертепчиком»; иногда же использовали очень милое и точное, но совершенно непристойное название.

Наше ликование по поводу дня рождения Боба с самого начала включало в себя элементы детектива: так, например, торт и шампанское Боб поднимал на свой третий этаж на веревочке через окно, а меня самого Таня провела через морг — не через сам холодильник, разумеется, но мимо него: хорошо помню массивную зеленую дверь, запертую на огромный висячий замок, дабы не сбежали покойники. Мы прошли по подвальному коридору и поднялись

на этаж на кухонном лифте. Потом я час сидел в «вертепчике», запертый снаружи, наедине с множеством плакатов, изображающих человека в разной степени ошкуренности. Я до сих пор считаю себя кое-что смыслящим в анатомии.

Потом, когда мы пили шампанское и ели торт (две другие девочки тоже поздравили Боба и съели по кусочку торта — кстати, торт был выше всяких похвал), я вдруг уловил, как они с Таней друг на друга смотрят — то ли шампанское мне придало проницательности, то ли им — откровенности, — так или иначе, я понял, что нужно сматываться, и сматался. Таня говорила мне потом, что в ту ночь у них еще ничего не было, только целовались, но уже в следующее дежурство было все.

Двадцать шестого июня Боба выписали на долечивание, до десятого июля он был на больничном, а с одиннадцатого ушел в отпуск. Отпуск ему полагался сразу за два гола.

Виделись мы урывками. Как-то раз Боб с Таней завалились ко мне в первом часу ночи, шумные, пьяные друг от друга, а потом, посидев, притихли, замолчали и сидели долго, молча слушая Окуджаву — «Римская империя времени упадка сохраняла видимость стройного порядка. Цезарь был на месте, со-

ратники рядом, жизнь была прекрасна, судя по докладам...» — и Боб кусал пальцы, уставясь взглядом куда-то в темный угол, а Таня крутила перед глазами последний из оставшихся у меня самодельных бокалов темного стекла с посеребренной окантовкой, серебро стерлось местами, выпирала латунь, когда-то я наделал их много, но все раздарил, — «...Давайте жить, во всем друг другу потакая...» — по-моему, им обоим просто не верилось, что все так хорошо, и они страшно боялись, что это вот-вот кончится, кто-то там, наверху, спохватится, и тогда все, — поэтому они и были так напряжены и взвинчены, каждый из них буквально искал тот костер, на который мог бы взойти за другого, — «Простите пехоте, что так неразумна бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна. И шагом неверным по лестничке шаткой — спасения нет...».

Таня и сейчас остается одной из самых красивых женщин, которых я когда-либо видел, хотя и красится, и курит чрезвычайно много, и выглядит, пожалуй, старше своих двадцати восьми. Она дважды выходила замуж, второй раз особенно неудачно, и теперь избегает постоянных привязанностей. А тогда она — ее красота — еще как-то недораскрылась, что ли, не бросалась в глаза, ничем не подчеркива-

лась, и нужно им было посмотреть раз, и два, и только потом доходило. Не высокая и не низенькая, не худая, но и без склонности к полноте, короткие темные волосы, тонкие брови, глаза серые, большие, спокойно-насмешливые, чуть курносый нос с тремя веснушками, губы с иронической складочкой в уголке рта... и какая-то неопиcуемая грациозность всех движений, грация молодого зверя, у рук и ног слишком много свободы, слишком много возможностей — и желания эту свободу и возможности использовать... как она танцевала тогда под фонарем в парке! И ноги — братцы, это же с ума можно сойти, какие ноги! Она очень легко относилась к своей красоте — вероятно, долгое время она вообще не имела о ней представления, а потом то ли не могла, то ли не хотела поверить; она носила ее спокойно, как безделушку, до тех пор, пока не узнала ее истинную цену — сравнительно недавно.

Я тормозил Боба, как продвигается расследование того дела, и Боб неохотно рассказал, что Макаров намерен все свернуть, Бобу пришлось уговаривать его, чтобы он просил прокурора о продлении сроков — хотя бы до выхода самого Боба из отпуска.

Чувствовал Боб себя неважно, я это видел. Так, например, он очень утомлялся, читая, у него часто

болела голова, и часто же он становился несдержан, раздражителен в разговорах, не мог стоять в очередях, не мог ждать чего-нибудь или кого-нибудь. Иногда на него наваливался страх: он говорил, что, когда он идет по улице и солнце светит сзади, то есть когда он видит свою тень, ему кажется, что вот сейчас, сию секунду, за спиной вспыхнет — и последнее, что он увидит, это свою вторую невысказанно черную тень... пугаюсь собственной тени, пытался смеяться, но невооруженным глазом видно было, что ему не так уж и смешно. Боялся всерьез. На кой хрен мы бьемся тут как рыбы об лед, говорил он, если завтра-послезавтра упадет с неба дура — и все. На случай, если не упадет, говорил я. А по-моему, просто по привычке, говорил он. Чтобы не думать об этом. Работа и водка — два наилучших средства от думанья. А женщины? — спрашивал я. Не помогает, говорил он и смеялся.

Отпуск у меня два месяца, и это одно из немногих достоинств нашей профессии. Уже второй год я никуда не ездил — и, надо признаться, не так уж и тянуло. Не ездил, правда, по вполне прозаической причине: не было денег. Все сбережения, и имевшиеся, и планировавшиеся лет этак на пять вперед, я вбухал в квартиру. Вы так никуда и не ездили? — с



ужасом будут спрашивать меня осенью. Я же, не особенно кривя душой, буду объяснять, что в наших широтах отдых не хуже, чем в Ялте, и только по лени душиевой мы устремляемся туда, где отдыхать принято, а не туда, где приятно. Аэропорты, давка на пляжах, конвейерная жратва... Да-да, будут говорить мне, вы совершенно правы, ну совершенно, на будущий год и мы не поедем, — поедут как миленькие.

Итак, Бобу было не до меня. Честно говоря, я загрустил. И от грусти я стал придумывать будущий свой детектив, и ни черта у меня не получалось в рамках тех фактов, которые Боб мне изложил. Не состыковывались нигде золотые монеты неизвестных стран, ночное убийство на пустой дороге, неопознанные и невостребованные трупы... и я стал придумывать. Я придумал преступную группу, которая занималась тем, что из золотого лома штамповала антикварные монеты и сбывала за сумасшедшие деньги иностранным туристам, которые, как известно, люди доверчивые. Я даже название придумал: «Наследники атлантов». Все было до того натянуто, что даже мне стало противно, и я бросил на половине. Дописывал я осенью, когда Боб немного вправил мне мозги. Но, видимо, с пеленок вколотый в нас принцип экономии мыслей (и повтор-

ного использования оных) заставил писать хоть и про другое, но точно так же — с натужным сюжетом, безупречным героем-следователем и всякими словесными красотами — это уж закон такой, что раз начал писать лажу, так лажу и напишешь, ничем не вытянешь (хотя, надо сказать, получилось в результате ничуть не хуже, чем в среднем по стране, и если бы переделал на Америку, так и напечатали бы).

Тому, выдуманному мною Бобу, точнее, Вячеславу Борисовичу, я составил словарик: характерные выражения, фразочки, поговорочки... Дурацкий словарик, как раз для картонного следователя. За Бобом я не записывал, хотя собирался это делать. Кое-что осталось в памяти, но не все.

«Кроме государственного гимна, герба и флага надо ввести еще государственный девиз. Предлагаю на выбор: «Вся жизнь — подвиг!» или «Могло быть хуже!»

«Наши редакторы очень хорошо знают, чего не должно быть в советской литературе. Именно поэтому в ней почти ничего и нет».

«Все население этой страны заслуживает того, чтобы его пропускали без очереди и уступали места в общественном транспорте».

«Министерство Обратной Связи — прекрасная идея, не правда ли?»

«Мальчик в интересном положении».

Это все, что мне удалось вспомнить.

Где-то в первых числах августа Боб с Таней пришли и заявили, что они все продумали и теперь точно знают, как именно нам надо отдыхать. Надо ехать на Бабье озеро. Там мы будем жить в палатках и готовить пищу на костре. И ехать надо именно сейчас, потому что, да будет мне известно, середина августа в наших широтах — это уже начало осени. Ага, сказал я и задумался. До сего момента я и не подозревал, что соберусь куда-нибудь ехать. Бабье озеро — это километров триста отсюда. Но с другой стороны, а почему бы и нет? Ладно, сказал я, только вам-то хорошо будет в палатке, тепло... Ерунда, сказала Таня, что у меня — подруг нет? Так его, сказал Боб, хватит ему свободного гражданина изображать, только ты, Таня, постарайся, ты ему кого получше выбери. Будь спок, сказала Таня, ты же знаешь, у меня есть вкус. Есть, сказал Боб, вот меня ты выбрала со вкусом. Тебя я не выбирала, ты на меня с неба свалился. Все равно со вкусом, упорствовал Боб.

Уже вечером они приволокли откуда-то две палатки, надувные матрацы, одеяла. Все это было свалено посреди комнаты. Запахло дорожной пылью. Нормально, сказал я, а как повезем? Оказалось, они

знают и это. Я должен буду нагрузить все это на бедного «Ковровца» и отвезти к месту нашего будущего проживания, а они налегке поедут на автобусе. И тут вдруг я понял, что давно и сильно хочу именно этого: махнуть куда-нибудь далеко и надолго.

И мы решили ехать послезавтра утром. Но назавтра похолодало, пошел дождь, и мы задержались еще на два дня.

Я долго думал потом: а какова вероятность того, что все, что произошло, — произошло? Если бы мы уехали не в тот день, если бы мы расположились в другом месте, а не в этом первом же попавшемся прибрежном лесочке, если бы Таня из своих многочисленных подруг выбрала бы не Инночку, а другую... Будто был кто-то, специально подталкивающий события так, чтобы они выстроились коридорчиком, желобом, по которому мы с Бобом пронеслись, — Боб до конца, а меня он вытолкнул в последний момент. А может быть, Боб был так заряжен на это дело, что притягивал к себе нужные события, и не случись этой комбинации, была бы иная — с тем же исходом... или с другим? Не знаю.

Если Танина красота не бросалась в глаза и проявлялась постепенно, просачиваясь из-под неяркости, — при Таниной красоте надо присутствовать,

говорил Боб, — то Инночка была ярка, симпатична, разговорчива... и только. Впрочем, может быть, я несправедлив к ней. Может быть, я просто не успел ни рассмотреть ее, ни узнать как следует — после того, что там с нами случилось (а Инночка явно ничего не поняла, но перепугалась страшно, к тому же у нее возникли насчет нас с Бобом сомнения самого криминального толка), Инночка избегала даже Тани. Хотя в момент нашего знакомства, а Таня привела ее накануне отъезда, Инночка вела себя очень живо и от предложения познакомиться поближе отказываться не стала.

В восьмом часу жестокий Боб совершил побудку, взял под мышки дам, на плечо взвалил рюкзак с пивом и отправился на автостанцию. Я навьючил мотоцикл, навьючился сам и, не слишком торопясь, покатил по шоссе. «Икарус», идущий на Юрлов, обогнал меня примерно через час, и потом я долго видел впереди его красную корму.

Не доезжая до Юрлова километров двадцать, пришлось перейти с рыси на шаг: по обе стороны шоссе раскинулась комсомольская ударная стройка, поэтому дорожное покрытие временно прекратило свое существование. На объездной же дороге сидел по самые уши гордый «Икарус», и его собирались тащить

трактором. Я развернулся и потихоньку степью объехал все это безобразие. На автостанции в Юрлове я подождал немного, а потом мы устроили челночный рейс: я забросил Боба и прочее имущество на берег озера (вот тут сойдет, сказал Боб и ткнул пальцем туда, где лес подступал к самой воде, там мы и остановились) и вернулся за дамами. Они сидели на скамеечке и, как от мух, отмахивались от двух пьяненьких бичей. Дорога вдоль берега была, мягко говоря, неровной, катил я с ветерком, Инночка изо всех сил прижималась ко мне и взвизгивала, а Таня сидела в коляске и стоически сохраняла спокойствие.

Боб уже поставил палатки и даже притащил немного дров. Был уже четвертый час дня, солнце пекло, решено было бросить все и немедленно лезть в воду, смывать усталость, городскую и дорожную пыль, старые и новые грехи и заботы. Дамы забрались в палатку переоблачаться и, переоблачаясь, свернули палатку набок. Было много шума. Мы с Бобом принялись надувать матрацы, и Боб вдруг бросил свой и полез в рюкзак. Голова? — спросил я. Тсс, сказал Боб, молчок! Он вытащил какие-то таблетки, положил несколько штук в рот и запил пивом. Потом забрал надутый мною матрац, отнес его к воде и плюхнулся ничком. Пришлось мне надувать и вто-

рой, и к концу этой работы у меня самого голова пошла кругом и в ушах зазвенело. Дамы наконец выбрались из палатки — в одинаковых и одинаково минимальных купальниках, внезапно белотелые и как-то сморщенные. Вероятно, так и бывает всегда с человеком, если его вдруг вынимают из одежды и помещают под яркое солнце. Впрочем, уже через пару часов дамы наши расправились и заиграли.

Вода была парная, плавали все неплохо, выбираться на берег никому не хотелось, и выгнал нас из воды лишь голод. Боб бесился в воде, как юный тюлень, и, наверное, лишь страшным усилием воли смог воздержаться от своего коронного номера: всплывания со дна голой задницей кверху. Прочее он выполнял все.

Но выбравшись на берег, он внезапно помрачнел и погнал меня за дровами, а сам остался разводить костер. С сухостоем в этом лесу все было в порядке, я срубил штук пять сухих сосенок и шел уже обратно, когда услышал шум мотора и увидел, что с дороги к берегу, метрах в трехстах отсюда, сворачивает большой красный автобус. Не скажу, чтобы это привело меня в бурный восторг, — мы уже предвкушали, какие ночные заплывы будем устраивать. Впрочем, от палаток наших остановившегося автобуса

видно не было, он скрывался за изгибом берега. Но вскоре оттуда раздалось дружное ржание и громкая магнитофонная музыка. Абзац интиму, пробормотал Боб и стал, выпятив губу, оглядываться по сторонам. Давай переедем, предложил я. Боб засопел и стал снова оглядывать наши палатки, полувыпотрошенные рюкзаки, разложенные на просушку одеяла и матрацы, костер, над которым уже закипала вода в котелках, порубленные и сложенные кучкой дрова, и подвел итог: а ну их всех к лешему. И мы остались.

Тушенку Боб брал в коопторге по пять пятьдесят за банку, поэтому ужин наш — рожки по-флотски и чай с печеньем — был по цене почти как ресторанный. К этому добавлялись и усиливали впечатление громкая музыка за леском и пьяные крики. Надо полагать, они там начали бурно принимать внутрь еще в дороге, потому что набраться до такой кондиции за такой срок просто физически невозможно.

А мы тянули себе пиво и вели треп настолько легкомысленный и, так сказать, игривый, что начинали потихоньку шалеть, и Инночка уже не полезла в палатку переодеваться, а прямо тут, у костра, сняла лифчик и повесила сушить, а потом нарочито медленно натянула нейлоновую маечку с цветным изображением японской девушки, поймавшей на



удочку приличных размеров рыбку. Боб залихватски подмигнул мне, а я вдруг отчаянно смутился и припал к пиву. Хотя мы уже провели с Инночкой ночь и остались вполне довольны, я почему-то не рвался повторять этот номер. И тут я наткнулся на Танин взгляд. Она сидела, накинув на плечи штормовку, обхватив колени руками, и спокойно смотрела из меня своими серыми насмешливыми глазами, и будто говорила, пожимая плечами: а что делать? Ты же видишь — не судьба.

### **Ночь**

В сумерках те, из автобуса, принялись ломать в лесу деревья и жечь огромный костер — видно было зарево над лесом и летящие искры. Кто-то хрустел кустами неподалеку от нас, но из-за того, что мы смотрели в костер, увидеть хрустевшего не удалось. Да мы особенно и не вглядывались. Было тепло и душновато, и с наступлением темноты свежее не стало — наоборот. Над озером взошла огромная кирпичного цвета луна с чуть отгрызенным левым боком. Вода была гладкая как стекло. Купаемся — и по норам, сказала Таня. По норам, поправил Боб. Таня подошла к воде, не оглядываясь на нас, сняла и бросила на песок купальник и стала беззвучно

погружаться в дробящуюся лунную дорожку. Она была немислимо красивой сейчас и отчаянно далекой, она была отдельно от всего — от людей, от вожделений, от отношений и связей, — встала и легко сбросила с себя — погрузилась и поплыла тихо, без всплеска, и мы тихо, молча смотрели на нее, как она входит в воду и как плывет, смотрели все трое, даже Инночка что-то поняла и не побежала следом, и молчала. И тут снова кто-то стал ломиться через кусты, теперь уж точно — к нам. Они выломились и стали перед нами, два парня лет двадцати пяти, запомнилось: у одного — острые усики, у второго — вывороченные слюнявые губы. Инночка судорожно вздохнула и подалась назад, буквально вдавившись в меня.

— Картина Репина «Не ждали», — пьяно пришептывая, сказал тот, что с усиками. Он стоял немного впереди. — Чё, Инуля? Чё молчишь-то? Молчать-то все умеют, поди, скажи-ка, Миха.

— Г-гы! — сказал Миха.

— Ты скажи чё-нибудь, Инуля, не томи мое сердце, — продолжал усатый. — Инуля ты, красотуля, знамя ты красное, переходящее, ты мне чё обещала-то, а? Ты скажи, скажи!

— Ребята, — сказал я, — а не пойти ли вам?.. — И я объяснил, куда именно им надо пойти.

Этого они и добивались. Усатый тут же радостно ощерился и выволок из-под полы обрез. Тираду его трудно передать на бумаге, но суть состояла в том, что таких лишних людей, как я, он уже истребил немало и намерен продолжать делать это и далее. Мне страшно мешала Инночка — она вцепилась в меня, причем именно в правую руку. Против обреза трудно подыскать подходящее возражение, и вообще мне по всем законам следовало испугаться — да я и испугался, конечно, только своеобразно: я заклинился на том, что где-то совсем рядом со мной среди поленьев лежит топор, и мне казалось самым важным этот топор нащупать и схватить...

Я так и не понял, как именно Боб сделал усатого. Он полулежал на спине, опираясь на локти, метрах в полутора, и вдруг голые ноги Боба мелькнули в воздухе, сомкнувшись, как ножницы, на руке усатого, обрез полетел в темноту, и Боб с усатым, зацепившись, покатались от костра; второй парень, Миха, с ножом в руке, навис над ними, выбирая, куда именно колоть; я перелетел через костер и поленом — успел схватить полено, хорошо, что не топор, — поленом ударил его по руке, выбил нож, он сунул руку под мышку и попятился, и я, не удержавшись, отоварил его поленом по морде. Он упал, тут же вско-

чил на четвереньки и на четвереньках, вопя, удрал в кусты. Боб сидел на усатом и выкручивал ему руку, я подскочил и помог, в руке усатого было длинное шило. Боб перевернул усатого лицом вниз и ударил его кулаком по затылку — усатый затих. Боб встал на ноги, отошел в сторону, пошарил в траве, нашел обрез, отнес его к костру. Меня вдруг бросило в дрожь, ноги подогнулись, и я сел на землю. Боб отошел к воде, стал умываться. Я не мог и этого — сидел и дрожал. Усатый зашевелился, застонал, приподнялся, сел. Пошел, сказал я ему. Он встал и пошел, натываясь на деревья. У меня как будто отложило уши, и я услышал множество самых разных звуков, и среди них — как рвется из воды Таня. Что там, что там? — кричала она. Все в порядке, сказал Боб, задыхаясь. Уже все в порядке. Инночка скорчилась за палаткой, натянула на голову одеяло и рыдала. Я подошел к ней, присел — она зарыдала еще громче. Наконец она более-менее успокоилась и сказала, что второго она не знает, а который с усами — это ее бывший парень, живет здесь, в Юрлове, а работает шофером на стройке, то есть не на самой стройке, а на автобусе, это, наверное, он привез сюда всех... Остаться, конечно, было опасно, мы быстренько посадили обеих дам в коляску, я за-

вел мотор и прогрел его, Боб проверил обрез — в магазине было три патрона. Потом мы в полной готовности сидели и ждали — с полчаса или больше, но карательной экспедиции так и не последовало: то ли битые и не пытались организовывать ее, то ли все там были в стельку пьяны, то ли слышали наш мотор и решили, что мы смылись.

Слушай, спросил меня Боб, а какой там у них автобус? Я задумался. Я видел его издалека, сквозь лес. Красный, это точно. И угловатый, не львовский. Кажется, «Икарус». Та-ак, сказал Боб и надолго замолчал. Может, сходить посмотреть? — предложил я. Нет, сказал Боб. Нельзя разделяться. Девочки, отбой тревоги. Спать. Спать, спать.

Девочки, которые молча просидели вдвоем в тесной коляске — Таня мокрая, только из воды, в одной штормовке на голое тело, а Инночка испуганная до икоты, — вдруг развыступались, что никаких «спать», они будут нести вахту наравне с мужчинами... и вообще... Боб подошел к Тане, обнял ее, поцеловал, сказал: ну, будь же умницей, — и Таня послушно-послушно двинулась к палатке. Точно так же и теми же словами я уговорил Инночку. Ты придешь? — просила Инночка. Нет, сказал я, мы будем караулить, ложитесь в одной. Они забрались в одну палатку, долго там шушукались, потом уснули.

Смешные, сказал Боб. И хорошие, добавил он, подумав. Костер почти погас, но от луны было много света. Боб, приподняв полог, заглянул в палатку, поманил меня. Девчонки спали, сбросив одеяла, уткнувшись друг в дружку лбами и коленками. В палатке было страшно жарко. Боб оставил полог приподнятым — комары здесь не водились. Часа в два ночи подул ветер, и луну закрыло сначала рваными, а потом плотными облаками. Я думал, что похолодает, но ветер по-прежнему был теплый, как из печки. Вдали тихо, шепотом прошелестел гром. Потом гроза стала приближаться. Мы снова разожгли костер — вскипятить чай. Ветер пригибал пламя к земле, заставлял стелиться, поэтому пришлось поставить котелок прямо на угли — потому и чай получился с угольками. Потом началась гроза.

Молнии сверкали поминутно, грохотало звонко и коротко, тучи озарялись вспышками изнутри и на миг становились прозрачны и яркие, как чистое пламя, волны лихого вылетали на берег, и ветер доносил до нас теплые брызги. Дождя не было. Гроза пролетала над головой и удалялась, и на смену ей приходила следующая.

Так продолжалось несколько часов. Шумели деревья, и Боб говорил, говорил, говорил...

Его прорвало, ему надо было выговориться, и не собеседник, а покорный слушатель был ему нужен. Если он и спрашивал меня о чем-то, то в моих словах искал лишь подтверждение своим мыслям — и находил. Я не могу воспроизвести тот многочасовой монолог Боба, это невозможно, но кое-что я все-таки запомнил. У нас у всех под шкурой по бронежилету, но в эту ночь Боб пробил меня. Это была жуткая ночь. Все тут наслоилось: и поездка, и драка, и стиснутый между землей и тучами, перенасыщенный электричеством воздух — все. И Боб со своими разговорами. Не помню, как именно он вырулил на то, надо или не надо знать всю правду, то есть *вообще всю*. Он говорил, что вера — в Бога, справедливость, разум, во что угодно, — это просто интуитивная защита от правды, от ужаса познания, что каждый раз, узнавая краешек истины — какой-то новой истины, — человек испытывает одновременно и восторг, и ужас, а потом он перешел к конкретным примерам: скажем, ведь существует информация, которую просто лучше не знать, потому что психика не выдерживает, потому что жить после этого не хочется... скажем, тюрьмы в блокадном Ленинграде, где основной контингент был кто — липовые шпионы и прогульщики, которые на работу не выходили,

а не выходили почему?.. Не может быть, сказал я. Вот видишь, сказал Боб, тебе не верится, сознание отталкивает это, и ты, наверное, никогда по-настоящему в это не поверишь... чем можно убедить? Документами? Документы сегодня лгут чаще, чем люди. И что ты будешь делать, когда воспримешь эту правду? Что? Как это повлияет на твое поведение? Не знаю, сказал я. Никто не знает, сказал Боб. Но такая правда еще в порядке вещей... нет-нет, в контексте того времени — в порядке вещей. А вот как бы ты воспринял такую информацию о том, что одна из первых наших атомных бомб была испытана на заключенных? Что? — спросил я. Ты правду говоришь? Это правда? Нет, ты скажи — это правда? Я до сих пор помню тот ужас, который испытал тогда. Ты мне ответь: что бы ты стал делать, если бы узнал, что это правда? — настаивал Боб. Он повторил это несколько раз. Не знаю, бормотал я, это невыносимо, это совершенно невыносимо... Так надо знать такое или нет? — спрашивал он. Надо, вдруг сказал я. Зачем? — не отпускал он меня. Затем, чтобы знать цену всему, сказал я, не назначенную продавцом, а истинную цену. Какая тебе разница? — спросил Боб, не понимаю. Так это правда, насчет бомбы? — спросил я. Не знаю, сказал Боб, никто не знает... Никто



ничего не знает... слушай, сказал Боб, а вот такой вариант: ты живешь в то время, и тебе попадает в руки вот этот самый материал, и у тебя есть возможность передать его за границу — ты передашь? Я подумал. Я думал довольно долго, а он молчал и ждал. Передам, сказал я наконец. Тебя расстреляют, напомнил Боб. Все равно передам, сказал я. Зачем? — настаивал он. Ведь все равно же ничего нельзя сделать. Ничего. Понимаешь — ничего! Передам, сказал я. Ты за справедливость, сказал Боб, понимаю. Ты хочешь, чтобы всем сестрам было по серьгам... любой ценой... А ты? — спросил я. А я вот мучаюсь сомнениями, сказал Боб. Так у тебя есть эти материалы? — с ужасом спросил я. Нет, сказал Боб, таких материалов у меня нет...

Но почему, почему? — спрашивал я тогда Боба, почему вдруг получилось так, что есть столько вещей, о которых хочется ничего не знать, почему государство, созданное величайшими вольнодумцами, превратилось вот в это?.. Ты *хочешь знать?* — спросил меня Боб каким-то странным голосом. Да, сказал я. Ну что же, сказал Боб, раз хочешь — знай. И он стал излагать свою чудовищную теорию, которой вот уже шесть лет я ищу опровержения, а нахожу только подтверждения. Иногда мне кажется, что это

моя идефикс, что правота этой теории существует лишь в моем воображении — наподобие того, как во сне возникают чудесные строки, стихи, которые после пробуждения оказываются бессмысленным набором слов, но во сне перед ними испытываешь восторг, неподдельный восторг... Не знаю. Все, с кем я пытался объясняться на эту тему, вначале говорят: «О!» — и поднимают палец кверху, хорош говорят: «Да нет, ерунда!» — но говорят это чересчур уверенно и бодро и больше к этой теме никогда не возвращаются.

Говорил Боб примерно следующее: с того момента, как появились общественные отношения, появилась необходимость в их регулировании, то есть в управлении, то есть в подаче команд и контроле их исполнения, то есть во вполне конкретных операциях с информацией. На первом этапе передача информации осуществлялась непосредственно от генератора идей к среде реализации, то есть от вождя, от старейшины — к племени. Но племена росли, жизнь становилась сложнее, и на каком-то этапе интенсивность информационного потока, выдаваемого и получаемого генератором, превысила тот предел, который способен осилить человеческий мозг. С этого момента появляются помощники вождя, с этого

момента зарождается бюрократия. То есть бюрократия — это не зло, это просто механизм обработки информации в условиях централизованного управления. И все было бы ничего, если бы в одной отдельно взятой стране не принялись строить новое общество, при этом перепрыгивая через несколько этапов развития; история всегда мстит за такие скачки, говорил Боб, но как она отомстила нам!.. в результате получилось, что идеи, спускаемые сверху, были слишком сложны для общества, поэтому их приходилось упрощать, адаптировать, информация же, поступающая наверх, часто не совпадала с тем, что ожидалось; в этих условиях аппарат очень быстро устанавливает свою монополию на информацию, тем более что есть множество благовидных предлогов, чтобы это сделать: внутренняя и внешняя контрреволюция, всяческие заговоры и восстания — еще настоящие, не мнимые... И постепенно аппарат обретает несколько интереснейших свойств: во-первых, контроль над всей решительно информацией; во-вторых, возможность преобразовывать ее, исходя из своих интересов; в-третьих, обретение этих самых интересов; наконец, в-четвертых, безграничные практически возможности насильственно внедрять в среду реализации те или иные идеи. Аппарат этот создан

так, говорил Боб, что пропускная способность его сравнительно низка, а объем перерабатываемой информации растет из года в год — это объективный процесс, отменить его нельзя (хотя и хотелось бы!), но вот притормозить можно, поэтому аппарат вынужден и сам расти, расти и расти. Вот это-то — безудержный рост — и становится постепенно основной функцией аппарата. Ну и, кроме того, естественно, питание, самосохранение. Как видишь, все функции почти сразу подразделились на номинальные и витальные. Номинальные — это те, ради которых аппарат создавался, витальные — это те, которые обеспечивают его существование. Ясно, что последним аппарат автоматически отдает предпочтение. И вот посмотри, как интересно все получается: информационная система, способная распоряжаться информацией, обрабатывать ее, преследуя свои интересы... Боб пристально смотрел на меня, думая, что я догадаюсь. Ну? — так и не догадавшись, спросил я. Это же интеллект, сказал Боб. То есть? — не понял я. То и есть, сказал Боб.

Короче, по Бобу, получалось, что каждый служащий, все равно кто — член Политбюро, почтальон, милиционер, директор банка, секретарь парткома, нормировщик на заводе, бухгалтер, преподаватель

института, старший следователь прокуратуры, — все, кто каким-нибудь боком прислоняется к процессу циркулирования информации, все они, выходя на работу, включаются в мыслительный процесс некоего гигантского нечеловеческого интеллекта. Каждая операция по обработке и дальнейшей передаче информации, проводящаяся ими, помимо своего основного предназначения (скажем, назначить бабушке пенсию — «да», «нет»), имеет и некую теневую функцию и в виде отчетов, цифр, сводок и так далее начинает циркулировать по информационной сети, так или иначе влияя на прочую информацию, приводя, возможно, к каким-то решениям — скажем, ввести войска в Афганистан. Это я упрощаю, конечно, сказал Боб, не так все примитивно, но из миллиардов таких вот элементарных информационных операций и складывается этот самый мыслительный процесс.

Становление и развитие этого интеллекта было для общества чрезвычайно болезненно, поскольку задачи перед аппаратом становились большие, масштабные, а существенных ограничений не вводилось. Так, по Бобу, получалось, что задачу «Индустриализация СССР» аппарат выполнил, соблюдая те условия, которые были введены: форсированные сроки,

минимальные затраты, отказ от привлечения иностранных капиталов, — и все это, разумеется, за счет того, что нарушались общечеловеческие нормы, заповеди и все такое прочее... поэтому уничтожалось крестьянство: нужны были дешевые рабочие руки, а самые дешевые они у преступников, работающих под конвоем, поэтому надо создать такие законы и такую обстановку, чтобы преступников было побольше... чтобы хватило для самых грандиозных проектов... Понимаешь, поначалу это была просто машина, примитивная кибернетическая машина, с которой к тому же не умели обращаться, но очень скоро она начала преследовать собственные интересы — она распоряжалась всей без исключения информацией в стране, поэтому могла вести — и вела — информационную игру с генератором идей, поставляя ему такую информацию, которая заставляла его генерировать именно те идеи, которые шли на пользу аппарату. Это уже проявление интеллекта, и достаточно мощного. Он очень умело поиграл на маленьких слабостях дядюшки Джо... Не все получалось гладко в этой игре, потому что иногда в информационных узлах оказывались люди, способные принимать самостоятельные решения, а интеллект аппарата воспринимал это

как сбои в своей работе — и тогда начался тридцать седьмой год, после которого главным и ценнейшим качеством любого чиновника стала исполнительность... Хрущев, почувствовав, интуитивно поняв роль аппарата в *тех* событиях, ощутив его сопротивление, попытался было бороться с ним, но проиграл темп, а потом и всю партию — собственно, проиграл ту самую информационную игру. Аппарат методом селекции информации блокировал одни его идеи и неумеренно подавал, доводя до абсурда, другие, вынуждал делать неверные ходы там, где уже созданы были предпосылки к успеху, — скажем, в истории с Пауэрсом, ясно же, что это была провокация тех, кто хотел сорвать переговоры, и ясно, что действовать надо было иначе... как и понятно, что бороться с аппаратом при помощи того же самого аппарата — это тащить себя за косичку из болота...

Сейчас... Сейчас достигнут полный гомеостаз. Интеллект добился своего и теперь будет прилагать все усилия, чтобы гомеостаз сохранить. Какого рода усилия? Транквилизация генератора идей — информационная игра ведется так, чтобы никаких действительно новых идей он не выдавал; транквилизация общества — о, здесь обширнейшее поле деятельности! Наконец, блокировка информации, все же по-

ступающей в систему — главным образом из-за границы. Кое-какие долгосрочные меры в рамках той же блокировки: снижение культурного уровня, усреднение образования и так далее. Уже заметно. Воспитание — разными методами — отвращения ко всему новому, необычному. Культивирование неизменности образа жизни, оседлости, постоянного занятия одной деятельностью. Ты не думай только, что он там размышляет специально, как это устроить и не упустил ли он что-нибудь. Это происходит автоматически. Допустим, ты бросаешь камень, и мозг твой мгновенно производит довольно сложные баллистические расчеты — хотя заставь тебя эти расчеты сделать на бумаге, ты провозишься неделю. Так и у *него*: то, что служит для жизнеобеспечения, осуществляется легко и непринужденно, а навязанные задачи решаются долго, громоздко, со множеством ошибок... да это и не вполне ошибки, а просто результаты решений других, собственных задач.

Перспективы? Боб почесал подбородок. Знаешь, я так долго думал над этим, что теперь уж точно ничего не знаю. Если по большому счету, то единственный выход — это отказаться от управления обществом вообще. Но это, сам понимаешь, утопия. Так что могу говорить только о нас, о маленьких



человечках. Стараться *вести себя* на своих местах — на своих местах в информационных узлах этой системы, внося сбой в мыслительный процесс этого монстра. Может быть, он сдохнет. Поступать не по инструкциям, а по совести. Только это чистейшей воды идеализм...

А закон — это тоже инструкция? — спросил я. То есть? — не понял Боб. Ты сказал — не по инструкциям, а по совести. Так закон — это тоже инструкция? Черт его знает, неуверенно сказал Боб. Как когда... смотря для чего закон служит... Ты помнишь Юрку? — спросил он. С ним ведь поступали строго по закону. Только закон этот был специально создан для того, чтобы существовала и процветала эта структура ОВИР. Понимаешь, если бы не было этой процедуры отбора, разделения на чистых и нечистых, проверок благонадежности и уважительности причин, оценки их — чисто субъективной, кстати! — если бы можно было, как в цивилизованных странах, уехать, приехать, пожить здесь, пожить там, — так ведь и не понадобилось бы этой десятитысячной оравы чиновников, следящих, чтобы все шло по закону. Кому это выгодно? Откуда пошло? Вот тогда я и стал задумываться... Сначала додумался до наличия паразитического класса. Потом вижу — не сходится. Ведь

даже высшему руководству отсталость страны невыгодна... То есть класс-то есть, и именно паразитический, но есть что-то и над ним — за ним... И вот читаю какую-то книжку, чуть ли не Винера, и как молнией по затылку, думаю: ну все... ты меня знаешь, я человек увлекающийся, но не пугливый, а тут аж руки-ноги отнялись — страшно стало. Думаю, вот почему кибернетику мордовали...

Боб говорил еще много, и многое я просто не запомнил, а многое, может быть, перепутал, но он заразил меня этой своей идеей, и теперь мысли мои работают постоянно именно в этой плоскости. Однако одну его фразу я запомнил точно, дословно: главное, сказал Боб, это просто холодно и четко понимать, что обществу у нас противостоит не какая-то группка дураков или злоумышленников, не каста и не враждебный класс, а интеллект — развитый, всезнающий, почти всемогущий, абсолютно неморальный — нечеловеческий интеллект информационной системы; контакт с ним невозможен, переиграть его немыслимо, использовать в своих целях — глупо и преступно; глупо потому, что он, вероятно, и не подозревает о существовании человека... Единственное, что можно сделать, — это изучить его и, изучив, уничтожить — не может же быть, чтобы у него не было слабых мест; это просто я их не знаю...

— И что же делать? — глупо спросил я.

— Что делать? — сказал Боб. И как быть? И кто виноват? Вопросы, которые всегда так волновали русскую интеллигенцию...

— Проклятые вопросы, — сказал я. — Лишь проклятые вопросы, лишь готовые ответы... Лишь готовые ответы на проклятые вопросы... лишь проклятые ответы на готовые вопросы...

— Что это? — спросил Боб.

— Это я когда-то пытался писать стихи, — сказал я.

— Оптимист, — сказал Боб. — А надо — лишь готовые вопросы, лишь готовые ответы.

— Вечно вы, Ржевский, все упрощаете, — сказал я.

— Отнюдь, отнюдь, — сказал Боб. — Давеча, вы поверите, устроили большое гусарское развлечение: взяли соленый огурец, модистку, ломберный столик, медный пятак...

— Бороду подбери, — сказал я.

— Да? — удивился Боб. — А мне только вчера рассказали...

К утру наконец посвежело. Сдуло всю вчерашнюю липкую духоту, и ветер стих, и облака остановились в небе и не летели больше, как безумные птицы, а на востоке протянулась над озером синяя полоса, а потом она налилась прозрачным розовым,

и появилось солнце, осветив снизу облака, — братцы, до чего же это было красиво...

Когда я думаю о Бобе, я почему-то в первую очередь вспоминаю эту ночь, а уж потом — все остальное...

### **Зеркала**

Мы попили чаю, девочки разлеглись на матрасиках ловить самый лучший утренний загар, а Боб отвел меня чуть в сторону и сказал, что возвращение вчерашних мальчиков маловероятно, но теоретически возможно, поэтому он оставляет мне обрез с тремя патронами (живыми не сдаваться? — спросил я), а сам берет мотоцикл и едет в Юрлов выяснять некоторые обстоятельства. Как этого парня зовут? — спросил он у Инночки. Инночка сказала. А адрес помнишь? Инночка помнила. Ну, загорайте, сказал он и стал заводить мотоцикл. Меня несколько покорила такая его категорическая распорядительность, но морда у Боба была соответствующая — это был Боб, Взятый След, так что спорить не имело смысла. Он завел, сел и поехал.

Отсутствовал Боб до половины пятого. Я начисто не знаю, где он был и что делал. Судя по всему, он, не вмешивая в дело местную милицию, расколот этого шофера на многое, если не на все.

А может быть, и не только шофера. Как я догадываюсь, платой за информацию было обещание держать ее в тайне — как, кстати, и источник оной. Боб сдержал слово. Даже мне он ничего не сказал. Короче говоря, он за те восемь часов, которые провел отдельно от меня, узнал очень многое. Вернулся он весь осунувшийся, усталый, злой. Мы сидели у воды и играли в дурачка. Никто нас, конечно, не терроризировал: на берегу, справа и слева, стояли мангалы, палатки, навесы, горели костры — короче, была суббота. «Уик-энд на берегу океана», трудящиеся смывали трудовой пот с лица своего. Боб подрулил поближе и велел мне одеваться и ехать с ним. Девочки завозмущались было, но он совершенно не обратил на них внимания. Возьми обрез, сказал он. Я сунул завернутый в штормовку обрез в коляску. Там на дне уже лежал какой-то незнакомый длинный брезентовый сверток. Мы недолго, соизволил сказать он наконец девочкам. Не скучайте. Я сел сзади, и он погнал быстро, как только мог, вдоль озера, от города, а потом по дороге, уходящей в лес, куда-то в гору, и ехали мы так с полчаса, не меньше, несколько раз Боб останавливался, я сверялся с набросанным на листке бумаги планом, потом дорога свернула в лог, и я увидел дом, стоящий прямо в лесу.

Это был большой, добротный дом из бруса, с верандой, с крутой высокой крышей, с двумя печными трубами, с фасадом в шесть окон и с высоким крыльцом. Забора вокруг дома не было, но в стороне лежал подготовленный штакетник, и вообще были признаки то ли закончившегося, то ли еще продолжающегося ремонта: доски, бочки, строительный мусор, самодельная циркулярная пила... Дом упирался спиной в склон горы, так что из чердачного помещения можно было, видимо, выходить прямо на терраску, где стояли сарайчик и баня — тоже с признаками ремонта. Боб подогнал мотоцикл к самому дому, к крыльцу, поставил на ручной тормоз — тут был отчетливый уклон. Ну вот, удовлетворенно сказал он, мы и на месте... наверное. Он достал из коляски обрез, сунул себе за пояс. Потом достал другой сверток. Там было новенькое ружье-пятизарядка «МЦ 12-21», двенадцатый калибр, автомат. Была там и коробка с патронами. Умеешь? — спросил он. Нет, сказал я. Он показал. Оказалось, очень просто. А зачем? — спросил я. На всякий пожарный, сказал Боб. Авось не понадобится. В патронах картечь. Ого, сказал я, на кого же это мне придется охотиться, на какую дичь? Да не на дичь, сказал Боб, — охотники... Я вспомнил вчерашнюю драчку и заткнулся.

Дверь была заперта на висячий замок, Боб достал из кармана ключ и отпер ее. Мы вошли. Свет падал только из двери, поэтому я не сразу разглядел помещение. Да там и нечего было разглядывать. Недавно, видимо, перестилали полы, вдоль стен еще лежали доски; в одном углу желтела огромная куча стружки. Посередине стояла чугунная печка — не «буржуйка» из бочки, а литого чугуна ящик длиной около метра и по полметра в высоту и ширину. Труба от нее уходила во вьюшку настоящей печи. А у дальней стены, напротив двери, стояла единственная в доме мебель: два высоких зеркала в деревянных рамах, укрепленных на ящиках без ножек, — не трюмо, но что-то наподобие того.

Ага, сказал Боб и подошел к зеркалам. Потрогал одно, другое. По-моему, он волновался, — он, когда волнуется, становится чрезвычайно экономен в движениях. И когда выпьет — тоже. Потом он взялся за край ящика одного из зеркал и с натугой — зеркало было тяжелым, гораздо тяжелее, чем казалось и чем должно было быть, судя по размерам (кстати, и осколки зеркал, те, что сохранились, гораздо тяжелее, чем стекло, — они тяжелые, будто из свинца), — с натугой развернул его боком к стене. Помогли, сказал он мне, и мы вместе развернули второе зеркало —

так, чтобы они смотрели теперь друг на друга. Боб вытащил из кармана рулетку и стал мерить расстояние между зеркалами. Несколько раз мы двигали зеркала, пока между ними, между поверхностями их стекол, не стало ровно двести шестьдесят шесть сантиметров. Потом мы поправили их так, чтобы они стояли параллельно, — это было легко сделать, потому что малейший перекося искривлял бесконечную череду отраженных зеркал вправо или влево. Наконец мы поставили их так, как надо.

Отойдем, сказал Боб. Мы отошли и стали ждать.

Ждать пришлось минуты три. Потом вдруг возник какой-то звон, тонкий и долгий, возник, вырос и пропал, а грани стекол, выступающие несколько из рамы, засветились: у левого зеркала — красным светом, а у правого — темно-фиолетовым, почти черным, жестким, интенсивным, бьющим по нервам.

Боб подошел к правому зеркалу, долго смотрел на него. Я стоял в двух шагах за его спиной, держа в руке ружье, и злился на него, на себя, на свою неотепистость и непонятливость, злился страшно и готов был плюнуть на все, разругаться с Бобом и уйти куда подальше. Я помню прекрасно, как болезненно я воспринимал в эти секунды всю нелепость происходящего, всю истошную, не лезущую ни в какие



ворота неестественность событий. И тут Боб протянул руку и коснулся поверхности зеркала, и зеркало отозвалось тем же звоном, и по нему пробежала рябь, как по воде, Боб сделал движение рукой — и рука исчезла, погрузившись в зеркало, и тут же вернулась — невредимой. Боб отшатнулся и налетел на меня.

Видел? — спросил он. С меня уже слетела вся дурацкая злость, но испугаться я еще не успел. Видел, выдохнул я. Что это? Золотое дно, мрачно сказал Боб. Не понял, сказал я. Потом, потом, сказал Боб. Слушай меня внимательно, старик, заговорил он твердым голосом. Слушай, запоминай и делай только так, как я скажу. Сейчас я войду... туда. Ты будешь ждать меня здесь. Я пробуду там час, два — не больше. Понимаешь, надо сделать так, чтобы никто не вошел туда следом за мной и чтобы никто не сдвинул зеркала. На всякий случай — вот тебе рулетка, запомни: двести шестьдесят шесть. Но лучше, чтобы ты не допустил... ну, смещения... В общем, так: если кто-то захочет проникнуть туда или вообще будет в курсе дела и постарается зеркала сдвинуть — это враг. Понимаешь, настоящий враг. Это война, старик, и они не задумаются, чтобы убить нас. А нам нельзя допустить, чтобы нас убили. Понимаешь?

— Ни черта не понимаю, — сказал я, — ни черта абсолютно.

Мне было страшно и удивительно неуютно, я вдруг попал в какую-то другую жизнь и никак не мог избавиться от желания то ли проснуться, то ли сбежать и забыть.

— Ах, черт, — сказал Боб, — ну некогда же сейчас объяснять...

— Это по тому делу? — на всякий случай спросил я.

— По тому, — сказал Боб. — Здесь вот оно все и сходится — все линии, все нити... Я вернусь и расскажу. Только ты прикрывай меня, ладно?

— Ладно, — сказал я. — Что я еще мог сказать?

Он подошел к зеркалу, еще раз пошарил в нем рукой, просунул голову, постоял так несколько секунд — видимо, осматривался, — потом перешагнул через ящик-подставку, как через порог, и исчез.

Он исчез, а я остался стоять как истукан, и стоял довольно долго, а потом вдруг принялся обходить зеркало по кругу — хорошо хоть еще ружье на плечо не положил и шаг не чеканил, — и сделал круга три, прежде чем до меня полностью дошел весь идиотизм собственных телодвижений. Тогда я засмушался и стал искать, куда бы присесть, и сел на чугунную печку, но с нее нельзя было видеть одновременно и зеркала, и дверь, все время что-то было за спиной,

это нервировало, тогда я соорудил себе скамеечку из досок между зеркалами у стены — теперь я видел и зеркала, и дверь. Ружье я поставил между колен и стал чего-то напряженно ждать, все время посматривая на часы, и уже через десять минут измаялся этим ожиданием. Тогда я взял себя в руки — постарался взять. Я положил ружье на пол рядом с собой, сел поудобнее, откинувшись назад, к стене, и стал думать обо всем на свете, и вскоре поймал себя на том, что думаю о Тане. Мне тут же пришла злодейская мысль: убрать зеркала, оставив Боба там, где он есть, избавившись тем самым... ну, и так далее. Так и возникают сюжеты. Одно предательство — обязательно должно быть другое, параллельное, — я задумался над параллельным, а потом понял, что получается лажа. Лажа получается, старина, сказал я себе. Параллельный... параллельный... мир. Я оглянулся на зеркала. Стоят... надо же. Кто бы мог подумать...

Меня вдруг охватило беспокойство — как там девочки одни, мало ли что могло случиться, все-таки свинство было — оставлять их... потом вдруг вспомнил, как Таня входила в лунную воду и как переодевалась у костра Инночка, давая себя рассмотреть, и понял, что соскучился, что надо бы устроить сегодня какой-нибудь маленький праздник — это Бобова

теория, теория маленьких праздников, гласящая, что если в календаре ничего нет, а на душе неважно, то надо придумать маленький праздник и отметить его, а иначе жить совсем неумоготу, — с фейерверком: в бутылку наливается чуть-чуть бензина, бутылка за-тыкается пробкой, ставится в костер, пробку вышибает — ура, ура, ура! Да здравствует наша самая лучшая в мире жизнь! И так далее — до самого утра. С перекурами на пересып. Такова программа-минимум. Бензин есть, бутылки тоже есть, большей частью полные, но это явление временное...

Потом я вспомнил почему-то, как наглый Боб прошлым летом знакомился с девушками на пляже. Он выбирал самую красивую, подходил и просил — с самой милой улыбочкой — полотенце. Девушка не могла, разумеется, отказать. Боб тут же, рядом с ней, обматывал чресла полотенцем, снимал плавки, выжимал их, надевал снова и, рассыпаясь в благодарностях, возвращал полотенце. Действовало это безотказно.

Наконец я смог спокойно думать про эти чертовы зеркала. Получается что? Получается что?.. Получается, что это действительно двери в какие-то иные миры. Тогда сходится все: и золотые монеты, которых не чеканило ни одно государство, и жен-

щины в странной одежде... вообще все. Я медленно встал и приблизился к тому зеркалу, в которое вошел Боб. В зеркале стояла бесконечная череда зеркал, бесконечный черный коридор — и бесконечность эта дышала... не могу сказать как, но я чувствовал, что она становится то больше, то меньше, пульсирует, дышит — бесконечность...

Мне стало жутко, но я сдержал себя. В помещении было довольно темно, и видно было только зеркала три, ну, пять — дальше шла сплошная непроницаемая плотная темень — поле для игры воображения... Я зачем-то глубоко вдохнул, задержал дыхание и просунул голову сквозь зеркало. Знакомый звон резанул по ушам, и вообще было какое-то странное ощущение непонятно чего — будто я безболезненно, но с усилием продавился через много маленьких дырочек... а потом я увидел зазеркалье. Зазеркалье было неинтересным: простой коридор, узкий и сравнительно высокий, с панелями, неровно покрашенными темно-зеленой матовой краской. На потолке горели вполне накала голые лампочки. Метрах в сорока отсюда коридор начинал плавно изгибаться вправо, и дальше уже ничего не было видно. Стояла полная тишина. Я подождал немного и вернулся — вытащил голову. Наверное,

там я совсем не дышал, потому что в груди сперло, пришлось несколько раз глубоко вдохнуть, только после этого дыхание восстановилось. Так, подумал я, а напротив?.. Я подошел к другому зеркалу — тому, что светилось красным.

Сначала я попробовал просунуть руку, и руку обожгло холодом. Там, за зеркалом, было градусов соток. Я опять набрал полную грудь воздуха, зажмурил глаза и осторожно — гораздо осторожнее — просунул голову. Там был еще и ветер — мороз, ветер и яркое солнце, — я открыл глаза и чуть не заорал: я висел на высоте пятого этажа и смотрел вниз, и глаза еще не привыкли, никак не могли привыкнуть к ослепительному свету, потому что солнце било прямо в лицо, и до горизонта лежал сверкающий снег, и только подо мной — наискосок — шла темная утоптанная лента дороги, и по дороге брели, держась, хватаясь друг за дружку, чтобы не упасть, молча, только шорох множества бессильных шагов, люди в странном сером тряпье, и двое рядом с дорогой — в белых тулупах и с огромными собаками на поводках; а направо — я высунулся по плечи и смог посмотреть, откуда они шли, — стояли, лежали черные, припорошенные снегом руины, и местами поднимался дым, и пахло горелым — горелым и еще

чем-то неясным, но тяжелым... Ресницы смерзлись, и я не мог ничего больше видеть, но слышать еще мог: шарканье ног, собачий лай, доносящийся волнами далекий неровный гул, гудение, и время от времени — содрогание воздуха, которое и звуком-то не назовешь, — а потом прозвучало несколько выстрелов, но я не видел, кто стреляет и в кого стреляет...

Я буквально вывалился обратно, сел и стал оттирать руками — страшно горячими руками — оледеневшее лицо. Заломило зубы и уши. Потом вдруг почему-то вернулся, как эхо, запах, вернулся стократно усиленным — гари и гниения, — меня чуть не вывернуло. Так я сидел и постепенно приходил в себя, и вдруг какой-то сторож во мне ударил в рельсу — я вскочил на ноги и схватил ружье — что-то было не так. Что? Я огляделся. Потом дошло: замолчали птицы. До этого сороки трещали без передышки, а тут настала тишина.

Я подошел к двери, выглянул наружу. Дорога отсюда просматривалась метров на двести — никого. Но что-то тревожило и давило, именно давило что-то такое... не знаю, так бывает при звуке сирены, и на этот раз ощущения были те же, только звука не было. Совершенно точно — металась, вибрировала

какая-то мерзость в воздухе, и вскоре я кожей лица почувствовал это: невыносимо пронзительную вибрацию, как от бормашины, только растянуто и размыто, не в одном каком-то зубе, а во всем теле, — началась от лица и дошла до ног, икры заломило так, что я присел, держась за косяк двери, чтобы не упасть. Наверное, я даже отключился на сколько-то секунд, потому что тех двоих я увидел, когда они были уже в сотне метров от меня, — это надвигалось, как повторный кошмар, именно повторный, потому что мне казалось, что это продолжается непрерывно: началось вчера вечером и продолжается до сих пор, не прекращаясь; двое угрожающе подходят, один чуть впереди, другой сзади и сбоку — не знаю я, почему мне так казалось, наваждение какое-то... Я повалился назад и крепко стукнулся затылком, и от боли пришел в себя — то есть завывание, неслышное, сверлящее, продолжалось, но уже не проникало глубоко в меня, задерживаясь где-то сразу под кожей; главное, что вернулась способность соображать, и сразу мелькнуло: то! То самое, о чем предупреждал Боб! Враги! Мне по-прежнему мерещилось, что это вчерашние парни, но что-то в них было не так — я, отодвинувшись от двери, всматривался в них — что-то было не так, не так, как... не-



понятно. Один был в защитного цвета штормовке, черных штанах и сапогах, второй — в коричневой болониевой куртке, голубых спортивных брюках и вибрамах, на голове вязаная шапочка; я успел рассмотреть их до того момента, когда они увидели мотоцикл.

Это были профессионалы. Не успел я моргнуть, как у них в руках оказалось по пистолету, и зигзагами, пригибаясь, они метнулись к дому — один вправо, другой влево, я никак не мог уследить сразу за обоими. Я уже сидел на корточках или стоял на коленях, прячась за косяком двери, и выцеливал кого-то из них, я все еще не мог поверить себе, что это всерьез, что я буду сейчас стрелять в людей, — это была какая-то затянувшаяся шутка; но один из них поднял руку и выстрелил, чуть не попав в меня, — пуля врезалась в косяк. Этот звук я не забуду до конца жизни.

Я выстрелил в ответ, сорвав спуск, и видел, как картечь хлестнула по траве. Они залегли. Один в канаве, другой за бочками.

Потом они стали по очереди выскакивать, как чертики из коробочек, обстреливая дверь. Их выстрелы звучали очень тихо — или мне казалось так после грохота моей пушки? Они били очень кучно и

все время в косяк — ни одна пуля не влетела в проем двери, и я догадался, что они боятся попасть в зеркала. И, вспомнив про зеркала, я вспомнил про Боба, ушедшего в зеркало, и что я прикрываю его с тыла, и что, если я пропущу этих к зеркалам, они убьют его. И с этой секунды я действовал очень четко: во мне будто включилось что-то, какая-то боевая система — не та, что при драке, не было ни ярости, ни азарта, эмоции вообще отключились начисто, — только голый расчет и абсолютная холодность.

Я выстрелил навскидку по одному из парней, выстрелил наудачу, чтобы только истратить патрон, и спрятался за косяк, держа ружье вертикально: расчет был на то, что они решат, что у меня двустволка и что я ее сейчас перезаряжаю. Еще две пули врезались в стену, потом наступила короткая пауза, и тогда я развернулся всем корпусом и выстрелил в бегущего ко мне парня в коричневой куртке, — выстрелил в упор, метров с десяти, и понял, что попал, — и тут же бросился на пол и скрылся за противоположным — и слышал, как пуля рванула воздух: тот, второй, в штормовке, все-таки пальнул в проем двери, нервы не выдержали — пуля ударила в чугунную печь, и звон был такой, как если бы там висел колокол. Теперь мне стрелять было не с руки, а повторять этот трюк

было бы безумием, он срезал бы меня влет — я отступил по стенке, а потом бросился к этой самой печке и залег за нее. Такая позиция была лучше старой: там бы он меня застрелил, рано или поздно. Здесь же ему придется сначала меня увидеть, войдя со света в темноту. Я же его буду видеть прекрасно.

Пользуясь паузой, я дозарядил ружье. Странно, руки не дрожали, но внутри, от горла и ниже, было совершенно пусто и тупо и что-то там трепыхалось, как тряпка на ветру; я чувствовал, что рот у меня не закрывается, потому что я им дышу, а когда я поднял руку, чтобы протереть глаза, то никак не мог дотянуться до лица. Я страшно боялся, но страх этот был как боль под новокаином — был, а не чувствовался. Но был. Не просто страх — ужас. И внутренний, настоящий и накачанный этой проклятой вибрацией, этим воем — черный ужас, и умом я его чувствовал, но что-то сработало у меня внутри и отключало его от восприятия... Второй парень долго не стрелял и не показывался — может быть, искал обход; мне чудилось, что я слышу какие-то стуки в стену и шаги наверху. Оказалось, нет. Он подобрался к двери. Чуть-чуть показывался краешек головы и скрывался. Я взял на прицел это место, готовясь стрелять, но он обхитрил меня: махнул чем-то на

уровне лица, и я не сдержался, выстрелил — щепки так и брызнули, а сам он появился над порогом, рука с пистолетом и голова, и успел выстрелить трижды; печка моя загудела от ударов. Я выстрелил в него, но не попал — он уже исчез. И тут меня страх все-таки достал, какой-то прогностический страх: я понял, что проиграю ему. Позиция моя была лучше и оружие мощнее, но своим он владел превосходно. Еще одна, две, три такие дуэли — и он зацепит меня. По сути, до сих пор мне просто везло. А теперь результат зависел только от умения...

Но все решилось иначе. За спиной у меня раздался шум падения: Боб лежал на спине, ногами к зеркалу, и лихорадочно дергал затвор своего обреза, одновременно пытаясь отползти назад, но сзади стояло другое зеркало, и Боб упирался в него плечами, в смысле — в ящик-подставку. А из того зеркала, из которого он выпал, перло что-то непонятное, и я до сих пор не уверен, что мне это не померещилось: будто бы извивающиеся змеи, только вместо голов у них были кисти рук с тонкими и тоже извивающимися пальцами; и когда Боб спиной уперся и сдвинул то, второе зеркало и это раскололось со звоном и посыпались осколки, руки будто бы упали на пол и продолжали извиваться... впрочем, не уверен. Я

вообще неясно и сумбурно помню последующие события, кроме одного: стало темно, я обернулся к двери и увидел парня в штормовке, стоящего на пороге — замершего на пороге — с пистолетом в руке... я видел только его силуэт, но через этот силуэт, показалось мне, проступило другое: черный гибкий дьявол — он стоял, замерев, и смотрел, как все еще рушатся осколки зеркала... и я выстрелил. Я выстрелил от страха. Может быть, можно было не стрелять. Не знаю. Но я выстрелил — от страха, что он опередит меня, — и во вспышке моего выстрела увидел, как в его груди образовалась черная дыра с неровными краями. Он сделал шаг назад и выстрелил тоже — он, уже убитый, — и за моей спиной опять обрушился звон разбитого стекла... Потом он шагнул вперед, снова шагнул — и я, заорав, выстрелил в него еще дважды — второй раз уже в упавшего.

Все нормально, говорил Боб, трясая меня за плечо, все нормально. Я слышал, как у него стучали зубы. А потом вдруг стало страшно жарко, и жар этот исходил от лежащего головой к нам парня в штормовке, мы попятились — и тут он вспыхнул. Вспыхнула голова — ярко, как целлулоид, и сквозь прозрачное пламя видно было, как сгорает череп и то, что внутри черепа, будто бы соты, но с толстыми

стенками ячеек. Пламя разгоралось и становилось невыносимо жарким, и мы пятились, запертые этим пламенем, и уже загорелась стружка в углу, занимались стены, и нечем было дышать. Потом мы как-то оказались на чердаке, но я совершенно не помню, как именно, — не помню я, чтобы видел лестницу, ведущую на чердак, или хотя бы люк в потолке; но, значит, что-то было, раз мы туда попали. Зато отчетливо помню, что руки были заняты чем-то тяжелым и что ружье мешало страшно. Дым был уже и на чердаке, и Боб, мучительно кашляя, шарил по карманам и не мог найти ключ от двери — потом оказалось, что он держит его в руке. Мы вывалились на воздух и оказались около баньки, и Боб лег на землю, а я увидел, что мотоцикл стоит совсем рядом с пламенем, и бросился вниз. Помню, что руль был страшно горячий, раскаленный, помню, что не сразу нашел, нащупал, отворачивая лицо от жара, ручку тормоза, но нашел все же — и мотоцикл покатился задом, описывая дугу, и врезался кормой в штабель досок, а я бежал за ним следом и что-то кричал... Потом рядом оказался Боб, и мы покатали мотоцикл подальше от огня. Дом уже горел по-настоящему, там было чему гореть, и перед домом тоже бушевало пламя — горел тот парень, в коричневой

куртке. Боб завел мотоцикл и кричал мне что-то неслышимое за ревом огня, но я никак не мог оторваться — стоял и смотрел... Боб гнал мотоцикл куда-то в гору, почти без дороги, а потом под гору, бешено, со страшной скоростью, проскакивая между деревьями, — не понимаю, как мы не разбились тогда. Он выехал к какой-то речушке и заехал прямо в воду. Заглушил мотор, слез с мотоцикла, стал умываться, потом вдруг сел и захохотал. Сидел в воде и хохотал, как сумасшедший. И я вдруг тоже захохотал и свалился с седла — нарочно, чтобы наделать побольше брызг. До меня дошло наконец: это были не люди! Понимаете, не люди! Не в людей я стрелял! Облегчение было невыносимое. Я брызгал на Боба водой, я вопил и поднимал фонтаны — и вдруг уловил, как он на меня смотрит: с усмешкой, такой усталой и понимающей усмешкой... понимающей и брезгливой. Передохни, сказал он. А что, что-то не так? — спросил я, переводя дыхание. Боб не ответил, помолчал немного, потом сказал: ладно, отбились. Ще Польска не сгинела? — спросил я и опять захохотал. Не мог я так сразу остановиться. Хватит, сказал Боб, вставай и умывайся, у тебя вся морда в саже...

Мы медленно ехали и сошли на ходу, и выбрались на шоссе где-то далеко за Юрловом, и Боб по-

вернул от города и проехал несколько километров, и только потом, когда шоссе было пустынно, развернулся и поехал назад. Теперь было хорошо видно: слева и впереди над лесом поднимается рваный и ломаный столб дыма. На въезде в Юрлов нас остановил гаишник. Права и у меня, и у Боба были в непромокаемых бумажниках на липучках, и эти бумажники очень заинтересовали сержанта. Держа в руке, он обошел мотоцикл кругом, проверил номера, попинал колеса — ему явно хотелось к чему-нибудь придраться. Что, мотоцикл угнали? — спросил Боб. Почему, удивился сержант, нет... Позвольте-ка, сказал Боб и мягко отобрал у него свой бумажник. Под правами у Боба лежало служебное удостоверение. Ага, сказал сержант и вернул мне мой бумажник.

Что это у вас там горит? — спросил Боб. Где? — спросил сержант. А, это... Это, наверное, лыжная база — лыжную базу там строители ладили. Вот и подпалили, видать, по пьянке. Много разного по пьянке делается... Это точно, сказал Боб. До свидания, сержант. Счастливого пути! — напутствовал нас сержант. Мы уехали. Правда, недалеко. Боб вдруг резко тормознул, спрыгнул с седла, зацепившись коленом, и побежал в кусты. Вернулся он весь бе-



лый, молча сел в коляску, сказал: веди. Я пересел за руль и медленно поехал в наш лагерь.

Возле палаток Боб буквально сполз на землю, и мы с девочками принялись приводить его в чувство. Таня очень испугалась: она думала, это рецидив. Но через час Боб уже был на ногах. Только без вопросов, предупредил их Боб. Служебная тайна. Таня уже пыталась меня допросить — шепотом, но энергично, я ничего не смог ей сказать. Врать не хотелось — я так и сказал: врать не хочу, а правду пока сам не понимаю, точнее, не могу объяснить. А чуть позже Боб просто приказал мне молчать.

Начисто не помню тот вечер и ночь. Таня говорила, что мы с Бобом бузили невероятно развязно, но мрачно. Судя по тому, что я проснулся в полдень, Инночка еще спала, а в палатке все было скручено в жгуты, ночь прошла в приключениях. Кажется, бегали купаться — не помню. Когда я выбрался из палатки, Боб уже кашеварил, а Таня умывалась, стоя по шиколотку в воде. Кашеварил Боб как-то странно: на корточках, прямой как палка. Ты чего? — спросил я. Поясница отвалилась, сказал Боб. Стареешь, каналья, сказал я. Старею, согласился Боб, старею: сопли вожжой тянутся и с пива пердю. Но, наоборот же, есть и преимущества у старости... Какие пре-

имущества, он не договорил: из палатки, шатаясь, вышла на четвереньках Инночка, постояла и повалилась на бок. С днем рождения, Винни-Пух, сказала она, я принес тебе самое-самое... кто видел мой лифчик? Вон там, на дереве, сказал Боб. Почему на дереве? — удивилась Инночка, разве ему там место? Тут произошел сексуальный взрыв, сказал я, вот его туда и забросило. Понятно, сказала Инночка, надо доставать... Она потрясла дерево, и оттуда упали лифчик, майка с девушкой-рыбачкой и одна босоножка. Вторая зацепилась крепко, мне пришлось лезть наверх и сбивать ее палкой. С дерева я и увидел милицкий «бобик».

Атас, ребята, сказал я, нас едут беречь. Интересно, глубокомысленно выдал Боб. Машина подъехала, из нее вышли капитан и старшина, а следом за ними давешний Миха, но я его не сразу узнал: вся правая половина морды Михи являла собой сплошной синяк. Рука была в гипсе. Однако, подумал я. Старшина остановился шагах в пяти, капитан подошел и представился. Боб тоже представился вполне официально. Что у вас тут произошло? — дружелюбно спросил капитан. Необходимая оборона, сказал Боб. У ребят были нож, заточка и обрез. Хотите заводить дело? А куда деваться? — спросил капитан. Мы ре-

шили не писать заявления, сказал Боб. Я вчера поговорил со вторым — он извинится перед девушкой и все будет в ажуре. Не будете, значит, писать, сказал капитан. Ну, ладно... А как вы объясните вот это: и он рассказал, что вчера, часа в два дня, к дому Виктора Кудинова подъехал автобус, на котором он работает, из автобуса вышли два человека, через несколько минут они вернулись, ведя за собой упомянутого Кудинова, — именно ведя, потому что тот шел неохотно и чуть ли не упирался. Видевшая это соседка вдруг чего-то так испугалась, что не могла прийти в себя до сегодняшнего утра, а утром прибежала в милицию, крича, что Витеньку похитили бандиты. Над ней посмеялись, но через час пришел дед, ходивший по грибы, и сказал, что прямо в лесу стоит автобус Кудинова, а в автобусе никого нет. Забавно, — сказал Боб. — Мужик ночь дома не ночевал, а его уже милиция разыскивает. Значит, так, с Кудиновым я разговаривал в десять часов утра, объяснил ему популярно положение вещей, с двенадцати часов и примерно до пятнадцати тридцати был в районной больнице, могут подтвердить дежурный врач и больные. Он, — Боб показал на меня, — был здесь с утра до вечера, могут подтвердить девушки и окружающие отдыхающие. Так, алиби у нас есть, моти-

вов у нас нет, поскольку, во-первых, мы им позавчера и так накидали, а во-вторых, проще всего было бы сдать ребят вам, а вещдоки — вот: и Боб выложил завернутые в полиэтилен нож Михи и заточку усатого; обрез, прошу прощения, залапали, сгоряча схватились пару раз, а на ножичках отпечатки все на месте... но вот решили волну не поднимать, миром разойтись... Дурак ты, сказал капитан Михе, если бы это были они — стали бы они тебе тут на месте сидеть? Вот именно, сказал Боб. Кстати, что за ребята его увели, в чем одеты были? Мы вчера видели двоих в лесу, странные какие-то... Чем странные? — спросил капитан. Стоят, руками машут, а мы подошли — повернулись и побежали. Странно, согласился капитан. Один в зеленой штормовке был и в сапогах, второй в коричневой куртке. Точно, сказал Боб, они. Их мы и видели. В котором часу? — спросил капитан. В семь или в начале восьмого, сказал Боб. А где, можете показать? Примерно, сказал Боб. Там, вдоль озера если ехать, километрах в восьми отсюда дорога в лес уходит. Там и видели. Спасибо, сказал капитан, протокол как — сейчас напишем или завтра в отделение заедете? Да давайте сейчас, сказал Боб. И запишите мой телефон, надо будет, звоните.

Потом, когда «бобик» уехал, я отвел Боба в сторнку и спросил: а как ты узнал, в чем они были одеты? Ты же их не видел. Кто? — не понял Боб. Ну эти... похитители. Никак я не узнавал, он сам все сказал. А я подтвердил, что их и видел. От фонаря ляпнул. От фонаря — и в десятку, сказал я. Это они были там, у дома... О-ла-ла, сказал Боб. Доигрался Витечка. Вот к чему приводит неумеренная тяга к желтому металлу. Рассказывай, велел я. Попозже, сказал Боб. Вот вернемся в город, сядем спокойно...

Инночка налетела, как маленький смерч, пнула Боба в бок, заколотила по нему кулачками, я попытался схватить ее сзади, она отмахнулась локтем, и очень удачно — прямо мне в глаз. Я с размаху сел на помытые миски. Боб наконец ухватил Инночку поперек туловища и поднял ее в воздух. Оказавшись без опоры под ногами, Инночка не сдалась и продолжала лупить Боба по гулкой спине. Подбежала Таня, остановилась, не зная, что делать. Это вы, вы убили его! — кричала Инночка. Нет, сказал Боб, не выпуская ее из рук, не мы. Правда, не мы. Врешь, врешь, всхлипывала Инночка, ты и милиционеру врал. Ничего я не врал, сказал Боб, а если и не сказал чего-то, то так надо, потому что сам веду это дело и не хочу, чтобы они мне помешали.

А Витю-то уби-или! — проскулила тихонько Инночка. Неизвестно еще, сказал Боб, ты так и знай: пока тело не найдено, об убийстве речи не ведется. Знаешь, как это бывает: пропадает, а потом выныривает — через год, через пять... Витечка твой запутался в деле одном нехорошем, а вчера понял, что я это дело раскручиваю, ну и дал деру. Скорее всего. А ты — убили, убили... убьешь такого, как же. Наверное, Инночка поверила, потому что с кулаками больше не бросалась и даже помогла мне промыть заплывший глаз. Но все равно что-то сломалось, и после обеда мы стали собираться обратно в город. Как-то не получалось с отдыхом после всего этого.

Обратно добирались прежним порядком. Вести мотоцикл, имея только один глаз, оказалось труднее, чем я думал, но тем не менее в кювет я не завалился и на встречную полосу не выскочил. Дома меня не ждал никто, в окнах Боба тоже не было света. Я помылся с дороги, а потом лег спать. Проснулся, как от удара, — что-то приснилось такое, от чего перехватило дыхание, но что именно, я не запомнил. С тех пор я часто так просыпаюсь — не каждую ночь, конечно, это было бы совсем уж невыносимо, но часто...

А в ту ночь мне припомнилась одна из хохмочек Боба: «Экспертиза установила, что череп погибшего

пробит изнутри», — у меня было именно такое чувство, что из меня что-то стремится вырваться, пробить череп и вырваться. Это было мучительно.

Утром пришла Таня и сказала, что Бобу опять плохо и что он просит меня зайти. Боб лежал в кровати, зеленоватый с лица, лоб был обмотан полотенцем. Мой глаз так и не открывался, и смотрелись мы вместе, вероятно, интересно. Таня сказала, что сейчас она пойдет в свою больницу и приведет сюда доктора, который лечил Боба. Боб слабо сопротивлялся. Таня легко преодолела это сопротивление и ушла с напутствием: делай что хочешь. А потом Боб сел и с лихорадочным блеском в глазах стал требовать с меня страшную клятву, что я никому никогда ни при каких обстоятельствах — ни при каких абсолютно! — не расскажу про зеркала. Тогда я сказал, что собираюсь в общем-то писать про все это. Боб сказал, что писать — это пожалуйста, все равно не поверит никто, — но никому не рассказывать, а главное — не давать показаний. Показаний? — не понял я. Да, показаний, подтвердил Боб, если меня будут допрашивать, то я не должен и словом обмолвиться про все это. Я подумал и согласился, но за это потребовал, чтобы Боб рассказал мне то, что я сам еще не знаю.

«Вячеслав Борисович помолчал немного, потом, нахмуясь, медленно стал говорить. Видно было, что он затрудняется в подборе слов — так бывает, когда начинаешь говорить что-то непривычное.

— Очевидно, миры в нашей Вселенной лежат послойно, и каждый мир соприкасается с двумя параллельными ему мирами, в которых течет своя самостоятельная жизнь. В обычных условиях переходов между мирами нет, но переход можно создать с помощью неких устройств, в нашем случае замаскированных под зеркала. Когда устройство работает, можно попасть из нашего мира в оба соседних. Но топография миров не совпадает, поэтому, для того чтобы проникнуть в другой мир, надо выбрать в нашем мире такое место, откуда выход в тот мир вел бы на поверхность земли, а не под воду и не в верхние слои атмосферы. И точно так же — во второй из соседних миров... Трудно сказать, как именно зеркала попали к нам, — это явно не земная техника. Видимо, жители одного из соседних миров — а скорее всего даже не соседнего, а какого-то более отдаленного, — научились переходить из мира в мир и везде устанавливали такие вот зеркала, оставив при них обслуживающий персонал — или замаскированный под аборигенов, или составленный из подготовленных аборигенов. Далее, в соседнем с нами мире,



назовем его «красным», по цвету зеркала, идет война — видимо, давно. Есть беженцы, эмигранты. И вот беженцам некто предлагает переправить их через границу в нейтральное государство. Переправа осуществляется через наш мир — у нас тихо, спокойно, границ в этом месте нет. Здесь эти агенты выходят на наших деловых людей: транспорт там, то-сё... Наши, понятно, требуют плату. Те стали рассчитываться золотыми монетами. Наших запах золота взъярил, и они взяли это дело в свои руки. Поначалу, вероятно, переправляли, как раньше: беженцы платили деньги, их в определенном месте ждали, проводили в наш мир, усаживали в автобус, везли вместе с зеркалами за четыреста километров и там вновь переправляли в их мир — уже на невоющую территорию. А потом кому-то пришла в голову мысль: зеркала-то два... И беженцев стали проводить не через «красное» зеркало, а через «черное». Наши деловые ребята получали теперь не только плату, но и все имущество беженцев. А жители «черного» мира понемногу играли все более и более важную роль — уже не просто покупателей живого товара, а организаторов. Вполне вероятно, что они намерены были полностью захватить переправу в свои руки. Но — не удалось...»

На самом деле ничего этого Боб не говорил. Он побелел и заорал, чтобы никогда, никогда больше

---

не смел спрашивать его об этом, потому что для меня это любопытство, а он должен вспоминать то, что видел там... Потом он откинулся на подушку и закрыл глаза. Так что все, что я написал про этот разговор, я выдумал сам. В какой-то мере в этом мое спасение, потому что всегда остается кусочек сомнения — ну а вдруг я ошибаюсь? У Боба не было такой отдушины — он знал все. И еще, он ведь просто не мог оставить все так, как есть, и в то же время он ничего не мог сделать...

А тогда мы долго сидели, обдумывая каждый свое. Боб, сказал я наконец, и что же ты намерен делать? Не знаю, сказал Боб, надо что-то придумывать. Не знаю. Ведь за дело, за то, что они творили, я их привлечь не могу — нет такой статьи. Закона они не нарушали, понял? Нет закона — нет и преступления. А на нет и суда нет. Хорошие ребята, золотопарни... Ну а все же, упорствовал я. Не знаю я, сказал Боб устало, ну чего ты ко мне привязался?

### **Осколки**

Осколки зеркал я нашел через неделю в коляске мотоцикла — так и лежали, засунутые под сиденье. Кто и как их туда засунул, не знаю. Видимо, все-таки я. Конечно же, я попробовал устанавливать их

одно напротив другого, и, конечно же, они засветились. И я страшно испугался. Это был необъяснимый испуг — так в детстве боятся всяких страховоров. Мне показалось вдруг, что сейчас из черного зеркала высунутся те самые извивающиеся руки и втащат меня туда, в черный мир, куда уводили беженцев.

Я тут же опрокинул зеркала и больше не прикасался к ним — очень долго. Бобу я почему-то не сказал ничего. Не знаю почему. Может быть, зря. Наверное, зря.

Боб поправился недели через две. Целых два месяца он, уже выйдя на работу и занимаясь чем-то еще, вел частный сыск, пропадая иногда на несколько дней. Тогда Таня стала приходить ко мне вечерами, мы пили пиво и разговаривали, и она плакала и говорила, что не может без него жить... Боб стал раздражителен и вспыльчив, говорить о чем-нибудь с ним было мучением.

Я писал детектив, где немыслимо умный и ироничный Вячеслав Борисович распутывает зубодробительное дело, отправил то, что получилось, в журнал, и пришел ответ, что все хорошо, надо только сделать так, чтобы события происходили в Америке, — так сказать, изобразить их нравы. А второго ноября Боб

вызвал повестками к себе неких Осипова, Старохацкого и Буйкова, заперся с ними в своем кабинете и шесть часов допрашивал — по крайней мере те, кто пытался войти, получали ответ: идет допрос. Потом Боб расстрелял их.

Он поставил их к стенке и расстрелял из охотничьего ружья — никто не знает, где он взял ружье. Это было не то, которое он приволок неведомо откуда и с которым я прикрывал его у зеркал, то осталось в огне. Это было старое курковое ружье тридцать второго калибра. Боб стрелял жаканами. Всех троих он убил наповал. Потом, пока ломали дверь, он сжег дело. Он облил ацетоном и сжег две папки с документами и две магнитофонные кассеты с записями. Дело погибло безвозвратно. Боб молчал на следствии, молчал на суде. Суд был в апреле. Судья понимал, что здесь что то нечисто, но думал, что Боб кого-то выгораживает. До этого он и хотел докопаться. Но Боб молчал. Тогда его приговорили к высшей мере. Он выслушал приговор с пониманием, покивал. В сентябре его расстреляли.

Я понимаю его. Наверное, было бы правильное, чтобы я его не понимал, — но я понимаю. Он сделал то, что считал необходимым сделать, и принял как должное то, что полагалось. Сделал то, что мог. Ос-

колков не собрать, это верно, но почему так страшно мучает меня то, что я узнал, услышал от него ночью на берегу озера, когда вверху сухо и звонко проносились грозовые тучи, а волны лихо влетали на пологий берег, обдавая нас брызгами, и шумели деревья, почему я не могу часами уснуть после того, как изнутри что-то рванется наружу и отступит, погрузится обратно, наткнувшись на черепную кость, почему я не могу протянуть руку Тане, а прячу перед нею глаза, как предатель? Где и когда я предал Боба? Не знаю...

Странно это: я почти ничего не знаю, а живу. Не знаю ничего. И — ничего...

*1987*

## ТАМ ВДАЛИ, ЗА РЕКОЙ...

**О**ни продрались сквозь последние, особенно густые, заросли — и оказались на краю пустоши. Как раз до этого места и дошел Артем весной, и Васька Плющ тоже был здесь, а дальше пройти оказалось невозможно: вот эта глина, которая сейчас такая светлая и твердая, тогда была липкой грязью, он сразу же провалился по колено, еле вылез сам и с большим трудом вытащил потом сапоги. Однако уже месяц стояла сушь, высохло даже Сашино болото, и глина, должно быть, тоже высохла. Васька говорил, что в тех местах, откуда он приехал, были точно такие же глинистые низины, совершенно непроходимые весной и осенью, но летом вполне сухие и даже гладкие, хоть на скейте гоняй. Ну, посмотрим...

— Пойду проверю, — сказал Артем тоном, не терпящим возражения; да никто, пожалуй, и не собирався возражать. Почему-то было страшно не то что ступать — даже смотреть на эту голую и гладкую, как обглоданная кость, землю. Сега подал ему оп-

лавленный конец шнура: «Обвяжись». Артем обвязываться не стал, просто намотал шнур на руку.

Сначала глина под ногами была твердой, как стекло, потом стала чуть пружинить, подаваться. Но и только. Он отошел шагов на двести — пока хватало шнура. Повернулся, помахал рукой. На пустошь спустились Сега, Ветка и Фрукт. Сега пропустил двоих вперед, махнул Артему рукой: иди, мол. Артем двинулся, стараясь держать шнур натянутым. Черное пятнышко туннеля было едва различимо. Срез горы был бледно-красным, трава наверху и у подножия — бледно-зеленой. И про глину под ногами можно было бы сказать: бледно-белая. То ли сероватая, то ли голубоватая, то ли желтоватая. Местами попадались прожилки и островки травы, желтой пижмы и синих колокольчиков. Колокольчики были огромные, с кулак. Артем вытащил из кармана «сосну», проверился. Радиация была нормальная, фоновая.

Чем ближе к горе, тем податливее делалась глина под ногами. Местами казалось, что идешь по болоту. Так, в сущности, и было. Лишь вместо травы и переплетенных корней — высохшая корка грязи.

Я самый тяжелый, подумал Артем. Я пройду — и те сухари пройдут. А я пройду.

У него было какое-то непонятное чутье на топкие места. Сашино болото он мог перейти с закрытыми глазами. Никто больше не мог, а он мог.

Но здесь, когда дошли наконец до края, до того места, где из топи вновь проступила железнодорожная насыпь с проржавевшими насквозь, в кружева, рельсами, он почувствовал, что устал. И что еще чуть-чуть — и его просто потянуло бы в самую трясиину. Как если бы поменялись местами какие-то плюсы и минусы...

На насыпи они сели. Даже Фрукт был ненормально серьезен, не говоря уже о Ветке. Ветка хмура всегда.

— Сойдет, — сказал Артем. — Обратно будет легче. Обратно всегда легче.

— Как с горки, — подхватил Сега.

— Пошли, что ли. — Артем встал.

— Что-то я есть захотела, — сказала Ветка.

— Вечно ты... — сказал Артем.

— А правда, давайте пожрем, — обрадовался Сега. — И тащить меньше.

— Притомились, — буркнул Артем.

— Тебе хорошо говорить, — сказал Сега, — ты вон сколько жратвы под шкуркой таскаешь. А взять меня или, скажем, Урюка...

— За Урюка получишь, — сказал Фрукт.

— Все равно пошли, — сказал Артем. — У горы, может, дрова есть. Не сырое же мясо глотать...

У тяжелых ворот, запирающих жерло туннеля, остановились. По сторонам насыпи рос ивняк, Артем



спустился, вырубил две сухие жердины, разделал на дрова, сложил между рельсами шалашик и бросил внутрь термитную спичку. Вспыхнуло сразу. Сега на низал на проволоку за уголки подушечки с мясом, сунул в пламя. Вскоре закипело, подушечки надулись и расправились. Отец рассказывал Артему, что раньше продукты хранили замороженными, во всех квартирах стояли шкафы с тепловыми насосами, «холодильники»; почти половину энергии, которую расходовала семья, пожирали эти приборы. Ни о какой экономии тогда не думали, качал головой отец, а лишь о том, чтобы побольше электричества произвести, побольше нефти выкачать...

Артем взял свою подушечку, покидал с ладони на ладонь, чтобы немного остыла. Потянул за язычок, вскрыл. Брызнул мясной сок.

— С лу-уком, — сморщил морду Фрукт. — Я с луком не люблю...

— Ешь хлеб, — отрезал Артем. — Котлету поделим.

— Да я не так... Я же не говорю — не ем. Просто не люблю...

— Потому ты и сухой, что нос от всего воротишь, — по-старушечьи прогнусил Сега. — Кушать не будешь — не поправишься...

— В лоб, — безнадежно сказал Фрукт.

С Сегой он справился бы, да только какой смысл? Сегу могила исправит. Артем на его подкусы вообще не отвечает...

Поели, запили холодным чаем из бутылки.

— Пошли, — велел Артем. — А то до отбоя не успе-ем. И всего-то два часа осталось нам на всю разведку...

— Вся наша экспедиция весь день бродила по лесу, — серьезно сказал Сега.

— Чего? — изумилась Ветка.

— Искала экспедиция везде дорогу к полюсу, — объяснил Сега.

— Винни-Пух, — догадался Фрукт.

— Начитанные вы, блин-компот, — сказала Ветка. — Даже под один куст садиться с вами неловко.

— Если тебе внезапно станет неловко, — учительским тоном сказал Сега, — перестань испытывать неловкость, и все пройдет само собой. Древне-китайская мудрость.

— Если твои древние китайцы были такие мудрые, то чего ж они вымерли? — презрительно сказала Ветка.

— Их скопил гонконгский грипп. — И Сега снял кепочку.

У самих ворот остановились в сомнении. Были они страшно громадны и, наверное, страшно тя-

желы. Там, где с железа отлетела черная краска, горела ржавчина. И головки болтов, огромные, с суповую кастрюлю размером, тоже проржавели — вниз от них тянулись цветные потеки. Ворота эти не поворачивались на петлях, а уходили в скалу. Наверное, когда все это было новеньким и блестящим, между скалой и плитой было и пальца не просунуть; но вот прошло черт знает сколько лет, скала раскрошилась, и из щели сантиметров сорок шириной тянуло сырым теплом, слабым грибным запахом и еще запахом, который получается при ударах кремня о кремень.

— Не пролезем, наверное, — с сомнением сказал Артем, глядя на щель. Зря шли.

— Это ты, толстый, не пролезешь, — сказал Сега.

Он сбросил рюкзак, достал ружье, одним движением примкнул ствол к ложу. Он очень гордился своим ружьем, хотя это была всего-навсего древняя тулка, одноствольная, двадцать восьмого калибра. Правда, стрелял из нее Сега здорово: по дороге шагов с тридцати пальнул по подброшенной консервной банке и попал. Теперь у него осталось три патрона.

Артем молча примерился к щели и, распластавшись по железной плите, медленно двинулся в темноту. Хорошо, что плита не шершавая... Скоро она

кончилась, и он оказался в пустоте. Снял с пояса фонарь, осветил. До противоположной стены оказалось метра два. Такой же толщины был торец плиты. Четыре рельса под ногами... Ни хрена себе! Рельсы уходили вправо еще метров на двадцать, дальше шло какое-то дикое нагромождение искореженного железа, еще дальше — поднималась стена. В самом верху этой стены было зарешеченное окошечко.

Рядом задвигалось, зашуршало, и влез Сега. Фонарь его был на лбу. Первым делом он ослепил Артема, потом стал озираться.

— Во понаворочали люди...

Он прошел в конец помещения, загремел металлом. Появилась Ветка, за ней — Фрукт. Лиловые пятна в глазах Артема понемногу таяли.

— Секите-ка, — показала Ветка.

Луч ее фонаря уперся в темный полукруглый лаз над самым полом, у внутреннего нижнего края плиты. Артем присел, поднес к дыре руку. Из дыры шел воздух.

— Что-то мне это не нравится, — сказал за спиной Фрукт.

Артем нагнулся ниже. Воздух шевелил волосы, охлаждал глаза. Пролезть в дыру можно было только ползком.

Почему-то именно ползти ему не хотелось.

— Откуда она взялась, эта дыра? — продолжал Фрукт. — Будто крысы прогрызли...

— Кабаны, — сказал Сега.

— Эрозия. — Артем потрогал края. — Зимой замерзает лед, потом вода уносит отколовшиеся камушки...

— Какой ты умный, — сказала Ветка.

Ей было не по себе, поэтому она заедалась.

Страшный скрежет подбросил их. Кто-то вскрикнул. В скрещенных лучах стоял Сега с длинной железякой в руке.

— Вот... — Он осторожно положил железяку к ногам. — Все проржавело. Я потянул, а она...

— Мудило, — сказала Ветка.

— Сама-то ты... — начал Сега, но заткнулся: с Веткой связываться не стоило, в драке Ветка страшна, как разъяренная кошка. Разве что Артем мог справиться с нею, да и то не без урона.

— Еще услышу, — сказал Артем, — хлебальники порасшибаю. Тебя, коза, это тоже касается.

— А пусть он...

— Не ясно?

— Ясно. Замяли.

— Не нравится мне эта дыра, — сказал Фрукт.

Мне тоже, подумал Артем. Он лег на живот и, вытянув руки вперед, пополз, толкая перед собой фонарик. Метра два дыра шла вдоль плиты, потом поворачивала в сторону туннеля — и в этом месте он застрял. Сначала это было даже смешно, потом пришел страх. Ведь не вылезти. И не похудеть, что я вам, Винни-Пух? Он дернулся, попытался повернуться на бок. Не вышло, застрял еще сильнее. Тогда уперся руками, оттолкнулся от какого-то выступа... ни фига: куртка завернулась, и он застрял опять. Ни вперед, ни назад.

— Сега! Фрукт! Тащите меня за ноги!

Услышали, ухватились, дернули раз, дернули два... Он перевернулся на спину, сел, отдышался.

— Узко, ребята...

— Ща поглядим. — Фрукт ящеркой скользнул в дыру, только подметки мелькнули. Через минуту раздалось: — Все путем! Тут туннель, рельсы, тепловоз стоит! Сега, давай сюда!

— Постой, — сказал Артем. — Обвяжись. И без дураков: только на длину шнура, понял? Если я подержаю — бегом назад. Ветка, проследишь.

— Я прослежу... — сказала Ветка презрительно.

— И там: если пойдете в боковые ходы, то только на леске. Сега, слышишь? А ты сидишь в туннеле и леску держишь. Чуть что не так дергаешь.

— Да ладно, — поморщился Сега. — Сколько раз говорили...

— Говорили. Только я думал, что сам там буду. Короче, Ветку слушаться, как меня. Фрукт, слышал? Ветка за старшего, ясно?

— Да ясно. Все с вами ясно, — сказал Фрукт издали.

— Поговори мне.

— Я что? Я ничего...

Ветка уползла, следом уполз Сега. Перед тем как скрыться в дыре, он оглянулся, будто хотел что-то сказать, но не сказал.

Тишина была не ватная, как обычно в подземельях, а гулкая, прозрачная — и даже шелест стекающего с катушки шнура, казалось, создает эхо. Отчетливо капала в двух местах вода — близко и медленно: блоп. Блоп. Блоп. И — далеко и быстро: ляп-ляп-ляп-ляп-ляп... Воздух, текущий за решеткой, создавал не звук, а вибрацию, которую воспринимали не столько уши, сколько все лицо. И камень вокруг тоже беззвучно подрагивал, как будто где-то недалеко шли поезда.

До города отсюда было двадцать километров. До ближайшей железнодорожной станции, до Тарасовки, еще пятнадцать.

Сегодняшняя экспедиция могла состояться только потому, что летний лагерь развернули в Лукошкином логу, при поливных полях. Отпластавшись на прополке три дня подряд, звено Артема заработало дополнительный выходной. И теперь в лагере были уверены, что они укатили домой, дома об этом, понятно, ничего не знали, да и не заботились особо... Родители были убеждены, что Леонидополь — самое безопасное место в мире. Они так и говорили друг другу: на все плевать, главное, что дети здесь в безопасности.

И в самом деле, по городу можно гулять хоть всю ночь, не опасаясь ничего. И оставлять двери открытыми. И открывать на любой стук и звонок, не спрашивая, кто там. Полицейскую службу несли две со-рокалетние тетки, тетя Маруся и тетя Клава. Тетя Маруся на маленьком японском мотороллере объезжала иногда город, интересуясь, у кого какие проблемы, а тетя Клава сидела у телефона и вязала.

Артем вспомнил, как все начиналось: как долго ехали автобусной колонной, машина с мигалкой впереди, все уступали дорогу, а потом головной автобус, в котором сидел и он с родителями, остановился на крутом берегу над обрывом и загудел, и остальные автобусы сбились в тесное стадо и тоже



загудели. Под обрывом была река, а за рекой, на том берегу, стоял настоящий город. Красные и желтые небольшие дома в центре, несколько белых многоэтажек по окраинам, а в отдалении — квадраты пятиэтажных серых, розовых и голубых коробок. Огромное количество деревьев и кустов, и даже местами на крышах и в окнах росли деревья. Артем знал, что отец с друзьями больше года приводили в порядок те дома, в которых им предстояло жить.

Мостик над рекой был узкий, пешеходный. По законам города, пользоваться в нем моторным транспортом позволялось лишь полиции. Даже бургомистр ездил в двуколке.

Когда-то в этом городке жило сорок тысяч человек, и звался он Петровск-69. Настоящий Петровск стоял почти в тысяче километров отсюда. Весь город работал на чем-то, что называлось Комплекс. В девяносто седьмом году Комплекс закрыли, что можно было вывезти — вывезли. Потом взорвали входы, а воронки залили бетоном. За три года город опустел — и стоял пустой больше десяти лет, пока на него не положили глаз Артемов отец с друзьями. У них уже тогда возник план: уехать из больших городов и где-нибудь в глуши основать сельскохозяйственную коммуны. Они напечатали об этом статью,

и отозвалось почти сто тысяч человек! Все хотели уехать, всем надоело дышать угаром, все устали от воров и бандитов. Но отец и его друзья написали еще одну статью, где объясняли, что в коммуне будут очень строгие порядки и что нарушение этих порядков будет караться изгнанием сразу и беспрекословно. Артем однажды оказался невольным свидетелем такого изгнания: отец еще был бургомистром, он пришел к нему на работу по какому-то делу — и случайно через незакрытую дверь услышал, как выгоняют одну женщину. Он не слишком понял, за что именно ее выгоняют, но слышал, как она кричала: «И куда я там пойду? На панель? И дочку за собой на панель потащу?!» И ей отвечали, что она была предупреждена, когда записывалась, что все имущество теперь общее, городское, она внесла свой пай, но забрать его права не имеет, а получит, как все уходящие, денежный эквивалент полугодового содержания и два комплекта одежды для себя и для ребенка... Артем тогда подумал, что это неправильно, несправедливо, но когда попытался заговорить на эту тему с отцом — получил такую взбучку (не ремнем, конечно, отец его и пальцем ни разу не тронул), что зарекся навсегда... Но все это было потом, а тогда — тогда автобусы стояли и гудели, и люди

высыпали из них и кричали что-то, и размахивали руками, и обнимались, и говорили, что теперь-то начнется настоящая жизнь.

И вечером были костры на берегу, и пир, и танцы, и игры, и песни. «Там вдали, за рекой, уж погасли огни, в небе ясном заря догорала...» Непонятно почему, но эта песня стала как бы гимном города. Каждый год шестнадцатого августа, в годовщину основания, вот так же собираются люди на берегу, жгут костры, пекут картошку и жарят мясо, пьют пиво и яблочное вино — и поют песни, и обязательно эту.

«Ты, конек вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих...»

Артем не заметил сам, как начал напевать. Шнур уже почти весь смотался, он вытащил из-под последних витков хвостик и привязал к нему хорошим встречным узлом конец второго шнура. Двести и две-сти — четыреста метров. А может, там ничего и нет? Тот же Васька Плющ рассказывал, что где-то в окрестностях его родного города есть такое странное место: ниоткуда, посреди чистого поля, вдруг начинается отличное широкое шоссе, идет-идет-идет — и так же внезапно обрывается. И такая же из ниоткуда в никуда железная дорога со стрелками и платформой...

Сейчас в Леонидополе жили две с половиной тысячи человек. Половина из них — дети.

Фонарь Артема стоял на земле, посылая широкий луч в потолок. Так можно было видеть все вокруг. И шевельнувшуюся в дальнем конце пещеры тень Артем хоть и краем глаза, да заметил.

Сердце стукнуло громко, потом замерло. Он протянул руку к фонарю, медленно обхватил его пальцами. И одновременно повернул голову — и направил луч туда, в угол, сжимая его до узкого, почти игольчатого, пучка...

Ничего там не оказалось. Железные коробки, трубы, шланги, колеса, провода... Десять человек могло спрятаться за всем этим, и никто бы их не нашел.

Его вдруг охватила дрожь. Не от страха. Просто внезапно стало очень холодно в этом каменном мешке. Холода Артем не выносил, это все знали, это не было стыдно. Стыдно было трусить, а мерзнуть — это уже от организма зависит. Кубинцы, говорят, при двадцати пяти в толстых свитерах ходят...

...Да, маленькая Куба! Отец даже пристукивал кулаком по столу. Да, на велосипедах. И так же, как там: недовольных не держим-с. Хотите жить по-нашему — живите. Не хотите — вот вам Бог, а вот порог. И все, и не будет иначе.

Артем правой вцепился в ручку топорика, в резиновую нескользкую ручку, в левой у него был фонарь, и он сделал несколько шагов туда, где все громоздилося и где опять мелькнуло что-то на границе светового пятна. Крысы, сказал он себе. Кто же еще, кроме крыс? Про подземных жителей сказки...

Да, он сделал несколько шагов и вдруг остановился. Просто ноги не шли дальше. Не шли, и все. Это было просто смешно. Будто отсидел. Мурашки. Не слушаются. Он попытался сделать шаг, шажок... и тут за спиной раздался громкий прерывистый шорох!

И — подлинный ужас обрушился на него. Артем тихо пискнул — и долго, бесконечно долго не мог обернуться. Все страшные истории про жителей подземного города внезапно оказались втиснуты в этот шорох за спиной.

Он сам не помнил, как сумел обернуться. Катушка со шнуром прыгала по полу, и шнур слетал с нее быстрыми рывками.

Нет, все-таки правду говорят, что в четырнадцать лет люди ни черта не боятся. Артем упал на катушку и буквально в последний миг успел остановить ее, не дать уйти последним метрам шнура. Катушка рвалась, шнур натягивался и пружинил — как-то не в такт, будто несколько человек отнимают друг у дру-

га что-то, привязанное к этому шнуру. Потом, заглушенные расстоянием и препятствиями на пути, доносились звуки драки, обычной драки: выкрики, уда-ры... А потом закричала Ветка. И тут же шнур ослаб. А Ветка кричала и кричала, и вдруг замолкла мгновенно. И уже ничего не доносилось из дыры, будто ее прикрыли чем-то. Артем крутил катушку, шнур шел легко, изредка цепляясь, и понятно было, что он оборван. Он намотал полную катушку, а узла все не было, и совершенно автоматически Артем перерубил шнур топориком, закрепил на пустой катушке и продолжал мотать. Он ничего не чувствовал. Вот проскочил узел. Значит, еще столько же...

Оказалось, значительно меньше.

Выбрав метров сто, он обратил внимание, что шнур начал лохматиться. Потом пошли куски, измазанные черным. Место обрыва было тоже все перемазано, разлохмачено — будто шнур перетирали напильником. Черное, попав на ладонь, оказалось красным. Артем поднес к лицу: это была кровь.

Из ватной тишины, пробив ее, долетел звук выстрела. И после этого все смолкло окончательно.

— Надеюсь, Толя, ты не станешь отрицать, что нынешняя цивилизация достигла некоего предела

своего развития? — Стахов, нынешний бургомистр или, как это с недавних пор называлось, председатель горсовета, долил себе чаю из чайника и положил в чай ложку меда. — Мед у тебя — совершенство... Потребности создаются искусственно, лишь бы загрузить производство. Даже в России с ее традициями аскетизма — девять из десяти занятых в производстве людей производят черт-те что! Я даже не называю это предметами роскоши, потому что это даже не роскошь, а какой-то изврат. Телевизоры, которые сами выбирают для тебя программы. Они, видите ли, лучше тебя знают, что ты любишь смотреть. По три автомобиля на семью. Дорог проложили: жми, не хочу... куда, зачем? Никто не думает, не считает... Или взять эти, не к столу будь сказано, таблетки — чтобы говно приятно пахло. Ну, Толя! Это-то к чему? А ведь такого — миллион. И на все идет ресурс, а он ограничен. И вот если взять вдруг и обрубить то, что не нужно никому, что полнейшее излишество, окажется, что один работающий способен прокормить, обути, одеть и поселить человек сорок... Это раз. А два я уже почти сказал: ресурс ограничен, и вот-вот что-то случится — то ли нефть кончится, то ли перегрев начнется, то ли еще что похуже... И когда это произойдет, когда мы вма-

жемся с ходу мордой о забор — когда встанет во весь рост проблема чисто физического выживания, — тут и пригодится наш опыт. Никакой торговли, а честное распределение. Ничего лишнего, но все необходимое. И сверх того: подлинное равенство, подлинное братство и подлинная свобода. Всему приходит наконец-то время...

Краюхин слушал молча. Все это он не просто знал — он это и вывел. Теоретические предпосылки неизбежности прихода человечества к коммунизму. Рост производительности труда и ограниченность всех ресурсов планеты. Двадцать лет назад он написал брошюру: А. Краюхин «Неизбежное завтра». Теперь вот этот дубок излагает ему основы его же собственной теории. Сейчас начнет делать выводы. Выводы первого порядка...

— ...и чем большее число людей пройдет нашу школу, освоит науку жить в коммуне, тем легче, проще, безболезненнее вся страна сумеет сориентироваться в меняющихся обстоятельствах, тем...

— Ты демагог, Федор, — перебил Краюхин. — И что хуже всего, ты неумелый демагог. Школу жизни нельзя пройти на наглядных примерах, и в человеческих катаклизмах бесполезен любой опыт. Ты думаешь, когда начнется это, мы будем иметь хоть какие-то преимущества перед остальными? Ты ошибаешься.



Преимущества будут иметь те, кто сумеет превратиться в крыс или хотя бы в волков. Поэтому твоё предложение бесполезно, с одной стороны, и, безусловно, вредно — с другой. Мы существуем до сих пор только потому, что держим жесткую оборону от окружающего мира и допускаем к себе одного из тридцати приходящих. Много званных, да мало избранных — это и про нас. Пока мы держим такую высокую планку, к нам стремятся лучшие. И из лучших мы отбираем самых замечательных. Опустим планку...

— Я не считаю, что мы должны менять критерии приема. Но помочь другим организовать коммуны по примеру нашей...

— Никому нельзя помогать, — сказал Краюхин. — Никому. — Он заглянул в чайник, покачал головой, встал. Стахов дернулся было помочь, Краюхин махнул на него рукой. Кипяток в кубе ещё был. Он заварил покруче, набросил на чайник полотенце, вернулся, сел. Стул тяжело скрипнул. — Помогать нельзя. Мы — это опыты природы над человеком, понимаешь? Над человеком, над обществом. Ты что, уверен, что мы избрали наилучший вариант развития? Я нет. Пусть другие упираются и изобретают. Не будем мешать...

— Тогда я не понимаю, как ты мог, не будучи уверенным в своей правоте...

— Мог. — Краюхин пристукнул по столу кулаком. — И смогу еще, если потребуется. Я уверен в нашем деле в целом, — сказал он, смягчаясь, — и именно поэтому не уверен в каждой отдельной детали. Если угодно, я могу позволить себе сомневаться в деталях потому, что абсолютно убежден в целом. У тебя, как я понимаю, противоположные проблемы...

— У меня просто другие проблемы, — сказал Стахов, не обижаясь. Его вообще было трудно обидеть — такой он был упругий и кругленький. — Завтра приезжают два козла из Всемирного совета церквей. С ними, естественно, помощник губернатора, из наробраза, из земства... Короче, засада. Опять будут подводить нас под «тоталитарную секту»...

— Старая песня.

— Однако поется...

— Им просто больше нечем нас припереть — а припереть хочется. Давай я с ними встречусь? Скажу, что коммуна создана по образцу раннехристианской: там тоже полагалось отдавать все имущество при вступлении. Просто у нас либеральнее: там за попытку выхода из общины карали смертью, а мы выдаем подъемные для обустройства на новом месте...

— Ты скажешь... — Стахов помрачнел. — А это правда — про кару смертью?..

— Читай «Жития Святых». А что?

— Да ходят какие-то дурацкие слухи... Маруся рассказывала. Будто бы мной — мной, представляешь! — создан какой-то «эскадрон смерти», который выявляет тех, кто хочет бежать, и убивает их. Будто бы это еще с Мирона началось...

— О черт! — Краюхин отодвинул чашку. — Опять. Тогда болтали, будто я Мирона утопил, теперь... А кто болтает, Маруся не выяснила?

— Языки все равно не отрежешь, — махнул рукой Стахов. — Обидно. Не буду я на новый срок заявляться.

— Значит, те, кто сбежал, не сбежали, а убиты? — задумался Краюхин. Сколько их у нас было?

— Семеро за последний год.

— И на их счет никаких сомнений?

— Абсолютно. Разве что Соня Красулевская...

— Напомни.

— Прошлым летом. Поехала из города в детский лагерь и не доехала. Хватились только через три дня, искали — ни самой, ни велосипеда, ни следов каких-нибудь. И дома все цело. Другие, если помнишь, вещи забирали. Но у Сони два брата в Барнауле, да и сама девка такая, что нигде не пропадет. С другой стороны, ни с кем никогда ни полслова о том, что ей тут не в масть. Вот казус...

— Красулевскую я вроде бы помню, — кивнул Краухин. — Все с ребяташками возилась. Жалко, если с ней что случилось.

— Вот. А болтают, что это я, значит...

— А не ты?

— Толя, ты бы фильтровал базар...

— Извини. Просто люди логичны и злопамятны, что удивительно сочетается у них с полной алогичностью и отсутствием какой-либо памяти вообще. Коммунизм и чека — близнецы-братья, это вбито с детства. Эрго...

— Но у нас же нет никакого чека!

— Следует создать, или оно возникнет само. Вернее, она. Комиссия. Если уже не возникла.

— Что?!

— Ты ведь меня понял, Федор. И, думаю, сам догадывался. Короче, нам нужно очень быстро собрать несколько умных и энергичных ребят — и расследовать эти случаи исчезновения с точки зрения возможных убийств. Все это воняет, Федор, и никакие таблетки...

— Я тебя не понимаю, Толя, честное слово. Говори проще, прошу тебя.

— И не говори красиво... Я подозреваю, что где-то в нашей среде созрело тайное общество, взявшее

на себя обязанность карать отступников состоявшихся или потенциальных. Вот так.

— Но... зачем это?

— Может быть, им кажется, что мы живем недостаточно праведно. Ты же вот хотел помочь новым коммунанам. А может быть, они хотят сэкономить для общины пару-тройку рубликов. Или приучить всех к мысли, что законы следует блюсти: положено уходить голым — уходи голым. Или они просто маньяки.

— Да ну тебя...

— Федор, я не шучу. Это самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся. Если позволишь, я завтра же передам транспортный парк Зайчику — и займусь этим делом сам.

— Но ведь надо как-то посоветоваться...

— Ни в коем случае. Полная, крошечная тайна.

Солнце уходило, и небо меж полузадернутых штор было медно-медовым. Пологий луч, пролетевший уже под кронами сосен, заглянул в забытое на подоконнике зеркало и лег, умиротворенный, на стену, на старый плакат турбюро «Тропа», где семилетняя Алиса изображала счастливую альпинистку на снежной вершине, и другая Алиса, трижды семи и еще чуть-чуть, подняла руку и за-

думчиво обвела солнечного зайчика по контуру пальцем, и снова обвела, и снова...

— Ты думаешь о чем-то? — спросил Золтан тихо.

— Не знаю... — Алиса повернулась к нему и, выпятив губу, дунула на упавшую на глаза прядь волос. — Жалко, что уже вечер.

— Жалко, — сказал Золтан. — Это был хороший день.

Это был первый день, который они пробыли вдвоем весь: от восхода до заката. Жена Золтана, Мирка, еще затемно уехала с Келли и Ивановыми на базар в Тарасовку — продавать молодую картошку. Вряд ли они вернутся до полуночи, и все же...

— Надо подумать, как тебя незаметно выпустить, — сказала Алиса зачем-то, нарушая ею же учрежденное правило не говорить вслух о сложностях этой любви.

Золтан сел, потянулся за одеждой.

— Подожди, — выдохнула она. — Еще рано... Не уходи. Не хочу так.

Он молча обнял ее, прижал к себе. Алиса положила ему руку на грудь, провела по черным, с сильной проседью, волосам. Золтану было тридцать восемь, просто он рано поседел, как это часто бывает у балканцев.

— До сих пор изумляюсь, что ты такой смуглый, а я такая светлая. — Алиса тихонько засмеялась. —

Дружба народов, смотри... — Они переплели пальцы рук, и вышло, как на плакате из музея.

— Я тебя по-настоящему люблю, — сказал вдруг Золтан, тоже нарушая запрет на это страшное слово. — Я тебя люблю, и надо что-то делать, потому что больше так нельзя жить...

Алиса покачала головой, и он плечом поймал это движение.

— Даже в самом крайнем случае мы уйдем вместе, и все. Неужели мы не проживем в большом мире? Я ведь умею много всего, я просто умею работать, наймусь строителем...

— ...и будешь приходить домой грязный и усталый, после двенадцати часов на ветру, и падать на диван, и съедать не глядя то, что я тебе подам, и засыпать перед телевизором? Милый, я видела все это... Знаешь, что я тебе скажу? Если меня вдруг выгонят отсюда — а к этому идет, вот в чем беда... если выгонят, я повешусь прямо на перилах моста. Меня слишком круто брали в оборот, чтобы я хотела туда вернуться. По крайней мере не в этом году. И не в следующем. Может быть, через пять лет. Может, никогда. Понимаешь?

— Я тоже там жил. — Золтан погладил ее по голове. — Скитался. Как цыган: без родины, без документов. Ничего нельзя. Детей кормить нечем. Воровал. Ты знаешь.

— Ты не был рабыней.

— Не был. Это так...

Алиса пробыла «рабыней» три года: ее сдавали внаем богатым суданцам, арабским шейхам, бухарцам, филиппинским купцам, чеченским нефтяным князькам... С ней можно было делать все, что угодно, кроме как убить, конечно. За убийство с нанимателя спросили бы так, что потом и следа бы его не нашли. Впрочем, настоящий садист ей попался только однажды, перс с безумными глазами. Остальным просто было лестно иметь белую рабыню...

— Знаешь, — сказала вдруг Алиса, — мне страшно за наших детей. Здесь они вырастают, как птицы в доме. Ну, умеют они построить дом, сложить печь... Разве же это нужно уметь там? Представь себе, что с коммуной что-то случится. Разгонят, сама распадется. И что будут делать они, приученные к любви?

— Многие погибнут, — сказал Золтан неожиданно спокойно. — Многие выживут. Кое-кто добьется успеха.

— А твоя Ветка?

— Выживет, но успеха не добьется. Успеха с точки зрения большинства, — пояснил он. — У Ветки может оказаться свое понимание успеха.



— Ты страшный человек, Золтан, — сказала Алиса. — Из темного камня. Как Командор. Его шаги... Слушай, — она привстала, — почему дети чего-то боятся? Они что, предчувствуют то, о чем мы говорим?

— Может быть. — Золтан кивнул. — А может быть, им не хватает настоящего страха, и они придумывают страшилки. Когда я был маленьким, все безумно любили фильмы ужасов. А когда пришел настоящий ужас, их разлюбили. Взрослые у нас тоже боятся, ты заметила?

— Да. В учительской сплошное шу-шу-шу, кто-то войдет внезапно — и все замолчали. Неприятно. Куда-то пропадают собаки. Вчера, например, пропала собака директора... Я боюсь, что меня выгонят из коммуны за аморальную связь с женатым человеком. Я этого боюсь так, что на собак мне наплевать. Говорят, что Стахов завел тайную гвардию и убивает тех, кто хочет тайно убежать. Убивает, понятно, тоже тайно. Поэтому все об этом знают. По-моему, чушь. Стахов может только размахивать руками и кудахтать, а не ходить ночами с топором по городу. Не та порода. Вот ты бы смог. Может, это ты их и убиваешь?

— Да, — сказал Золтан. — И тут же съедаю.

— Без соли? — ужаснулась Алиса.

— У меня соли — два мешка.

— А собак?

— Собак я отдаю прислуге, — сказал Золтан. — А прекрасных юных женщин съедаю сам.

Он медленно приподнял верхнюю губу, обнажая ослепительные зубы, и Алисе на томительный миг стало сладко-страшно, как в самом давнем детстве, когда ждешь появления из шкафа лохматого чудища... Но у Золтана не оказалось вампирьих клыков, и она припала к его губам, вздрагивая от нетерпения...

Ветка брела по штольне, пригибаясь, когда свисавшие с кабелей лохмотья касались лба. Фонарь уцелел, но она избегала включать его надолго. Осветить путь, убедиться, что ям и препятствий нет, — и тихо-тихо вперед, вытянув руку и касаясь плечом стены. Левая рука, то ли сломанная, то ли вывихнутая, болела так, что из глаз сыпались искры. Ветка сделала, как учили: вытащила, скуля, эту руку из рукава, потом надела куртку поверх, застегнулась и подпоясалась. Прижатой полрой руке было лучше, но все равно...

Может быть, из-за этой боли все было как в тумане и казалось то ли очень давним, то ли вообще выдуманным. Ветке временами приходила в голову мысль: а было ли все это? Даже не так: произошло именно это или что-то другое, а просто показалось,

что это? Потому что на самом деле этого просто не могло быть...

...Они шли мимо бесконечного состава из длинных зеленых вагонов с маленькими окошечками под самой крышей и выдавленными на боках старыми гербами и буквами, уже облупившимися: «МПС СССР». Двери вагонов были закрыты и заперты, и стандартный железнодорожный ключ, захваченный предусмотрительным Сегой, их не отпирал. Там стояли совсем другие замки. Почти неожиданно попался вагон с нормальными окнами. Они остановились, и Сега стал предлагать одно окно разбить, залезть внутрь и посмотреть, что там есть. Просто потому, что иначе останется только возвратиться ни с чем. И тут раздались явственно шаги по крыше, они подняли головы, стали смотреть вверх...

Набросились сзади. В мечущихся лучах Ветка успела заметить маленьких, будто бы семи-восемилетних ребятишек, голые грязные тела. Но они были сильны и проворны, как собаки, они налетали молча и вцеплялись зубами, и почему-то тоже молча отбивались мальчишки. Ружье Сеги упало под ноги, и он никак не мог подобрать его. А потом, как-то отдельно, Ветка увидела Фрукта, лежащего на спине, — его прижимал к земле такой вот голый и, часто-часто работая

челюстями, перегрызал ему горло. Фрукт молотил его кулаками, бессмысленно сучил ногами — все это почему-то в тишине, только сопение и мягкий хруст. Луч перелетел на Сегу: Сега, прижавшись к стене, отмахивался еще, но одной руки у него не было по локоть, а перед ним и спиной к Ветке стоял зверь покрупнее остальных — и замахивался на Сегу чем-то вроде большого серпа. Он не успел ударить: другой зверь, маленький, быстрый, весь в крови, метнулся к Сеге и вцепился зубами в пах — и, резко мотнув головой, все ему, наверное, там оторвал. Сега упал на колени, запрокинул голову — и большой зверь ударом медленным и плавным перерубил ему горло. А потом было что-то запутанное: они гнались за нею, все вместе, хватая и цепляясь, но их зубы и когти соскальзывали с кевларовой курточки, которую она носила, просто выдрючиваясь. Несколько шагов длилась эта погоня, а потом под нею что-то подломилось, и она полетела вниз, вниз... ватно ударилась обо что-то, услышала хруст и поняла: конец. Но встала, ощупала себя: да, жива, почти цела, и те за нею почему-то не полезли... При свете фонаря осмотрелась. Над нею была узкая труба, в которую она и провалилась. Скоб, чтобы вылезти, не было. Она уцелела потому, что давным-давно кто-то составил под этой трубой пирамиду из пустых ящиков

и хотел, наверное, выбраться. А может быть, и выбрался. Будь обе руки целы, можно было бы попробовать повторить этот подвиг. Подняться распорочкой.

Если, конечно...

Грохнул выстрел, и жакан врезался в обломки дощечек у ее ног. Она отпрыгнула. В локоть будто бы воткнули оголенный провод. Под током. Она подавила крик, но рвоту подавить не удалось...

Позже, пристроив более или менее руку, она двинулась по штольне к выходу. Почему она решила, что выход в той стороне, она сказать не смогла бы. Штольня. Или дренажная труба. Или кабельный канал. Время от времени появлялись боковые ходы, и все новые и новые кабели, гладкие или разлохмаченные, выходили из них и присоединялись к тем, что устилали потолок и стены. Можно было понять, что она приближается к центру, но... Она поняла, конечно. Потом. И изумилась, что была такой дурой. Даже с поправкой на боль и страх. Шагала, как заведенный человечек. В полной уверенности.

Между тем нарастал какой-то шум: будто в морозной дали шел бесконечно длинный поезд...

Артем не помнил многого: как вылетел наружу, под ливень, как сунулся в раскисшую глину (ноги

измазаны выше колен — хорошо, что-то сумел сообразить, не полез дальше), как выволок зачем-то рюкзак и как потом вернулся за фонарем... С фонаря он и обрел себя вновь.

Тонкий конус света кончался овальным пятном на стене. Почему-то именно это пятно сказало ему: возвращаться нельзя ни в коем случае. Не просто потому, что нельзя вернуться: болото и все такое — нет, не поэтому. Как-то иначе. И даже не потому, что за такое его должны выгнать из коммуны — а значит, выгнать отца, а уж это-то совершенно немыслимо. Он ее придумал и основал. Его нельзя выгнать... но нельзя и не выгонять, потому что какой же тогда закон? Значит, и поэтому нет пути назад. Но и еще почему-то... Артем понял вдруг, что не ушел бы, даже если бы этих причин не было.

Может, они еще живы? Кто-то же выстрелил много позже, когда все уже кончилось.

Но ведь не пролезть! Даже если раздеться догола... Это была мысль.

Он уже расстегнулся, но приказал себе: стой. Не торопись. Ничего не забыл?

Оказывается, забыл все.

Топор в рюкзаке, а значит, снаружи. Дальше: взрослых нужно вызвать, чем бы это ни грозило.

Сделать это можно с помощью все того же фонаря, серьезная машина, не зря туристы-прямоходы за него по полторы сотни отваливают. Тут вам и любой свет, и электроподогрев спальника, и радиобуй. Пробить мембрану, развернуть антенну-зонтик, нажать кнопку. И на диапазоне спасателей в эфир пойдет: «Мэйдей, мэйдей, мэйдей...» Взять координаты легко. Но тогда...

Тогда придется идти без света.

Есть, правда, ночные очки. Они неудобны, натирают переносицу, для них все равно нужен какой-то свет — хотя бы свет звезд. Это вам не инфракрасные, нет. С другой стороны, говорят, что в подземельях инфракрасные бесполезны, потому что там все одинаковой температуры.

Выхода нет?

Почти.

Потому что есть спички, а еще рефлектор с фонаря снимается и провода, кажется, хватит...

Итак, получилось: сам фонарь под дождем снаружи, антенна развернута, сигнал бедствия идет в эфир, а лампочка с рефлектором на тонком длинном проводе просунута в «крысиную нору», светит — и будет светить еще долго. Сейчас Артем пролезет туда, установит самый тонкий луч, направит вдоль туннеля — и

если туннель прямой, то и в километре отсюда в ночных очках будет что-то видно.

Он в последний раз выбрался наружу, постоял под дождем, чтобы намокнуть и стать скользким, мазнул для того же раскисшей глиной плечи и полез обратно. Дождь показался ему необыкновенно теплым.

На пульте диспетчерской уездной спасательной станции включился дисплей, и длинноногая блондинка с бокалом в руке сказала, придыхая:

— Вы! Мужчина! Или вы так и проспите все мансы?

Она бросила в бокал окурок черной сигареты, внимательно посмотрела на то, как прозрачное вино становится буроватым и пенистым, быстро проглотила эту жидкость и превратилась в лягушку.

— Вставай! — завопила лягушка. — А то я и тыщас в чё-нить превращу!

Митяй не спал, конечно, но и открывать глаза ему не хотелось.

Блондинка на дисплее была из его сна, компьютер умел вытворять подобные трючки, и было бы интересно досмотреть все до конца — но тогда завтра не расхлебать кашку, потому что Петр Петрович



на расправу скор и склонен к рукоприкладству. И потому Митяй подал голос:

— Здесь.

На дисплее тут же возникла дама учительского вида.

— Господин дежурный, только что получен сигнал «мэйдей» из квадрата «Григорий-семь». Передатчик стандартный типа «Аргон», к спонтанному включению подобная система не склонна. Отсутствие текста сообщения и подписи под сигналом заставляет предположить, что пользователь находится в экстремальной ситуации. В квадрате «Дмитрий-шесть» расположен детский лагерь коммуны «Леонидополь». Сопоставляя...

— Карту, — сказал Митяй.

Дама сместилась в уголок, на дисплее высветилась карта.

— Поскольку приемник-пеленгатор в Тарасовке находится на профилактике, а прохождение спутника «АТОН» состоится лишь через три часа, погрешность в определении точки передатчика составляет...

— Вижу, — сказал Митяй.

Местность была еще та. Компьютер определил район, из которого мог быть получен сигнал, и получалась «бабочка» с размахом крыльев почти в двад-

цать километров. Почти все это — непроходимая тайга, сопки, бурелом... Нужен еще один приемник, а это значит — поднимать вертолет... Ну-ка, давай пока логически: если это дети, то куда именно они могли забраться? Вот здесь скальная стенка. Устроили восхождение и зависли? Ни хрена эти коммунары за ребятишками не смотрят. Сколько гусей на Смирновском хуторе сперли — не сосчитать. Главное, ночами. И собаки, что характерно, их боятся. Наверное, с «пищалками» ходят, гады мелкие...

Ладно. Скалы. Что еще? Болота? Это здесь и здесь. Хрена им делать на болотах? Гусей там нет...

А если здесь? Мальчишки любят развалины... Да, засыпало или прищемило.

Стоп. Если бы дети пропали, те бы уже давно в набат ударили. И Петр поставил бы уже всех на уши. Набата нет. Значит?..

Ничего не значит. Могли просто не хватиться. Двадцать три двадцать. Время детское.

Что это ты на детях защемился? Может, это пастух ногу сломал? Или дурной турист-прямоход забрался, а выбраться не может... взяли моду линию на карте провести, и по ней, ни на метр не отклоняясь... бред.

Нет, был бы текст сообщения. А детишки могли просто не знать, что так можно сделать...

Куда их черт занес?

Под землю, будто подсказал кто-то. Митяй даже оглянулся.

Под землю... под землю... Тут все изрыто, как в муравейнике. Петр говорил, что объем здешних подземелий впятеро больше, чем объем московского метро.

А входов! А выходов! А вентиляционных шахт и прочих хитрушек! Все заделаны, да. Но ведь капля камень точит...

И уже почти с уверенностью он посмотрел на то место на карте, где обрывалась, уходя в туннель, железнодорожная насыпь — размытая, затонувшая в болотах, кое-где просто разобранная, чтобы не мешала.

Восемь километров по прямой было от этого места до детского лагеря.

— Артемида, — сказал он компьютеру, — а соедини-ка ты меня, голубушка, с леонидопольским бургомистром. И заодно прикинь смету на вертолет по нынешней погоде...

На том конце провода отзывались сразу:

— Стахов слушает.

— Здравствуйте, Федор Иванович, спасательная служба вас беспокоит, дежурный Брешков. Получен

нами сигнал бедствия, и получен с земель, которые вам отведены. Неподалеку ваш летний детский лагерь. Похоже, что ребенок сигнал послал, поскольку сумел лишь антенну вытащить и кнопку нажать. Так что решайте: вертолет мы выслать можем в течение часа, и будет это вам стоить... — Митяй скосил глаза на дисплей, — будет стоить пять тысяч четыреста двадцать девять рубликов в час плюс две тысячи за посадку вне аэродрома. Так что вот.

— Понятно. Подождите минуту, я позвоню в лагерь, узнаю, что там и как. Вы уверены, что это ребенок?

— Нет, конечно. Это предположение.

С некоторым опозданием бургомистр появился на экране. Митяй смотрел, как он разговаривает по другому аппарату.

— Ага. Понял. — И чуть позже Митяю: — Подождите минуту, я еще проверю...

Характерный звук набора номера.

— Толя? Тёмка из лагеря вернулся? Нет? Видишь ли... в лагере его тоже нет. Якобы уехал домой. Да. С ним дочка Золтана, Петров-младший и племянник Башкирцева. Люсе не говори пока, может... да. Прямо сейчас. — И Митяю: — Есть пропажа. Вылетайте, ваш счет оплатим. Спасибо.

— Вылетим в течение часа...

Но в течение часа не получилось — такой был ливень. Лишь в два пополуночи вертолет с четырьмя спасателями на борту взлетел с аэродромчика Тарасовки и направился на слабый, замирающий сигнальчик. В воздухе четкая триангуляция была проведена, и Митяй поздравил себя: его догадка была абсолютно верной. Сесть вертолет не смог, спасатели спустились по лееру. Перед стальной заслонкой, закрывающей вход в туннель, стоял радиобуй. От него уходил провод — в щель между скалой и заслонкой. Протиснуться туда не удалось. Зато дотянулись до записки на развернутой картонке из-под термитных спичек: «Туда ушли Иветта Тадич, Вадик Петров и Сергей Башкирцев. Иду за ними. А. Краюхин».

Медленно наступало утро.

Чека в Леонидополе, конечно, не было. Но у Краюхина была группа старых друзей, восемь человек, а у друзей были свои друзья... Раз в месяц эти друзья Краюхина собирались у него на вечеринку — а что делать приличным людям, не телевизор же смотреть, не суету эту безумную? Пристойно выпивали, пристойно закусывали, пристойно пели песни под гитару... Так что Краюхин был всегда в курсе всех

проблем коммуны. Знаниями своими он не злоупотреблял и не вмешивался в события по пустякам. «Лучшая полиция — это та, которой как бы нет, а преступников Бог наказует...» За годы существования коммуны лишь одного излишне пылкого ленинца пришлось тихо придушить его же подушкой, да несколькими смутьянам-ворчунам подбросить в дом чего-нибудь этакое... Дедушку-коммуниста похоронили с почетом, смутьянов изгнали с позором. Коммуна жива.

Сейчас собрались внепланово. Вспоминали, было ли что тревожащее вокруг тех сбежавших — или исчезнувших? Не было, вот в чем фокус... Ну, бурчали иногда: было лучше, или это не так, или вообще зря залезли в эту яму, теперь обратно нет ходу... Но ведь многие бурчат, когда можно. Такие вот пожилые, вялые, ни с кем не дружные, бездетные (или дети отдельно), одинокие... Одно было общим для всех: жили на отшибе, без соседей, и хватились их не сразу. Почему-то лишь сейчас пришло в голову: да могли, например, старик Панкратов утащить на себе ту гору поношенной обуви, которую ему накануне привезли для сортировки и обновления? Или чета Ахматишиных, у которых одной зимней одежды был полный сундук? Непонятно...

После звонка Стахова Краюхин на минуту окаменел и так и сидел, неподвижный, не понимая речи людей, и все, кто на него смотрел, тоже замирали и замолкали. Сейчас, сказал он наконец, и вышел.

В ванной плеснул в лицо холодной водой, уставился в зеркало. Там был кто-то незнакомый со страшными глазами. Тот, в зеркале, уже знал и понимал все, а Краюхину это еще только предстояло.

Он вернулся, сел за стол, повторил: «Сейчас...» — и закрыл лицо руками. Не головами мы думали, нет... Шесть человек исчезли из квартир. Соня — по дороге в лагерь. Собак пропало — не счесть. Воют они ночами, боятся, смертно боятся... И вот, дождались — четверо ребятишек. Артем. Да. И Артем среди них. И Артем. Он повторил это несколько раз, пытаясь пробить в себе какую-то корку. Или стену. Или вообще расколоть себя на части...

— Боря, — он повернулся к одному из помощников, — сделай два крытых джипа. Сию минуту. Дети пропали. Поехали из лагеря... Да! И Золтан... — Он схватил телефон и набрал номер. — Золтан, дети пропали. Наши. Да. У меня, через пять минут. Возьми Веткиных собак.

Башкирцеву он звонить не стал: старик болен, а сестра его Люся, как известно, лучший дезорганиза-

тор из всех, живших когда-то. Может, все обойдется. Потом набрал номер Алисы.

— Алиса Витальевна, это Краюхин. Дети пропали. Ваш братишка в том числе. Сейчас. От моего дома. Да.

Он бросил телефон. Все стояли: в плащах, в сапогах. Дождь на улице. Какие собаки, что вы...

Лишь с дороги он догадался позвонить Стахову, потом спасателям.

Сигнал бедствия...

— В пещеры полезли, сволочи...

Вытащим и из пещер. Из-под земли достанем.

И по задницам, по задницам...

Живых.

Она, наверное, уснула. Потому что проснулась. На часах было 02.20. Левый локоть распирало так, что казалось — лопнет. Пальцы, торчащие из-под полы, стали толстые и гладкие, как сардельки. Но боль будто бы утихла. Если не шевелиться. Но шевелиться надо, потому что очень хочется пить. Большая бутылка газировки была у Фрукта — одна на всех. Туристы...

Говорят, без воды можно протянуть дней пять.

Но эти берут же где-то воду! И шумит! Что же это шумит? Ах, Ниагарский водопад...



Ветка стала приподниматься, цепляясь за кабели, и вдруг замерла. Она видела свою руку и видела кабели! Фонарь выключен...

— Только не зажигайте света, девушка, — сказал кто-то сзади, и она чуть не заорала. — Вы же не хотите, чтобы я ослеп?..

Она медленно обернулась. И увидела огонек свечи и руку, держащую свечу. И красноватый отсвет будто бы кошачьих глаз...

— Вы... кто? — в два приема выдохнула она.

— Живу я здесь... — И носитель свечи мелко рассмеялся. — Можете звать меня Айболитом...

Дурак, не оделся... дурак, не оделся... Артем медленно бежал, старательно вглядываясь в вагоны и в то, что под ногами. Очки давали гораздо лучшее изображение, чем он рассчитывал. То есть почти все видно. Контурно, слишком контрастно, но отчетливо. Двести шагов, триста, триста пятьдесят... где-то здесь, скоро... Вначале он увидел провалившуюся решетку в полу — такие решетки несколько раз встречались на пути. А потом... потом запахло кровью. Он как-то сразу понял, что это пахнет кровью.

На гравии кровь была почти не видна. Мало ли какой мазут пролили... Но Артем шестым чувством —

---

может быть, тем самым, которое помогало ему обходить топкие места, — схватил: это было здесь. Опустился на корточки. Тронул камешки пальцем. Липко и мокро...

Шорох раздался сверху и за спиной. Артем, даже не распрямляясь, кувыркнулся вперед, а когда вскочил, топор в отведенной руке уже наготове... Двое вышли из ниши в стене туннеля. Еще кто-то шевелился наверху, и Артем отступил на шаг, прижавшись спиной к стенке вагона. Ног он не ощущал...

— Ты кто такой? — спросил пискляво один из тех, что стоял у стены. Мы тебя не видели. Ты за ними шел?

— За... кем?

— За неправильными. Сюда зашли три неправильных гада с источниками тьмы. У Драча до сих пор не видят глаза. И болят.

— А где они теперь?

— Это наша добыча. Да. Наша добыча. Что у тебя вместо глаз?

— Вы их поймали? Или убили?

— И поймали, и убили. Добыча. Завтра будет еда. Что у тебя вместо глаз?

— Я следил за ними...

— Это вещь, чтобы следить?

— Да. Зачем вы их убили?

— Мясо. Хорошее свежее мясо. Лучше собак. Ты хотел сделать другое?

— Да. Но теперь...

— А что ты хотел сделать?

— Я не могу этого сказать.

— Ты должен сказать. Ты человек света. Значит, наш брат. Родом откуда ты, брат?

— Я... я из коммуны.

— Где это — коммуна?

— Это не очень далеко... но надо идти через верх.

— Через тьму?

— Да. Через тьму.

— Мы умеем ходить через тьму.

Источник тьмы, подумал Артем. Идти через тьму. Он вдруг понял все.

— А как у вас в коммуне живут люди? Вы тоже готовитесь?

— Конечно.

— Ваш Наставник кто? — Так это и было произнесено — с большой буквы.

— Краюхин, — гордо сказал Артем. — Нашего Наставника зовут Краюхин. Я его сын.

— Ты — сын Наставника? И ты просто так ходишь, один?.. И следишь за неправильными?

Артем почувствовал вдруг, что внутренняя исступленная дрожь вот-вот выплеснется в наружную трясучку, и тогда все. Запрыгала нога...

— Я устал, — сказал он капризно. — Хочу сесть.

— Садись, — разрешили ему.

— Я сын Наставника. — Он оглянулся, демонстративно посмотрел назад и вниз. — Мне нельзя сидеть на твердом.

С Алисой уже было так — и в лапах того полубезумного перса, и потом... нет, об этом нельзя вспоминать, нельзя! — когда она сжималась и пряталась внутри собственного тела, и тело от этого становилось деревянным, бесчувственным. Даже удары гасли в нем... Прыжки машин, клекот моторов, мокрые плечи угрюмых мужчин... заросли, ржавые рельсы, грязевое море без дна... дождь, дождь. Дождь. Краюхин, стальной нестигаемый столп, телефон у щеки и генеральский уверенный баритон, но лицо почему-то будто вдавлено внутрь, и вместо глаз — лужицы страха. Потом полощущийся прерывистый свист, светящийся марсианский треножник бродит где-то вдали...

С рассветом приходят танки. Две пятнистые машины с воем проламываются сквозь осинник и останавливаются на краю бездны (почему-то именно

бездной видится Алисе грязевое море, будто не глиной оно полно, а жидким стеклом, прозрачным желе, медузным студнем... и так до центра Земли), и сухой, как хворост, офицер — черная куртка и черный берет с трехцветной кокардой — подходит быстрым шагом к Краюхину и бросает руку к виску:

— Штабс-капитан Саломатов по приказу командира сто сорок восьмой резервной дивизии прибыл в ваше распоряжение!

И именно с этого момента Алиса возвратилась в себя. Не сразу, не сразу... Голос у офицера сухой, как он сам: «Штапс-капитан Саломатоффф...» Она его помнит: лагерь резервного полка рядом, и офицеры — частые гости в леонидопольских школах. А мальчишки соответственно — в дивизии. И она, учительница, с ними. Веселые молодые офицеры, гоняющие по полигону резервистов. Те рады стараться: день на свежем воздухе, в движении, в игре и азарте. Раз в месяц — кто же против? Лишь в августе на три недели дивизия собирается вся, и тогда в Леонидополе бывают бессонные ночи, потому что грохот на полигоне и зарево на полнеба. Но с этим уже ничего не поделать...

Танки на воздушной подушке, грязевое море им нипочем. Золтан крепко держит Алису за талию,

---

прижимает ее к себе. Здесь можно, здесь мотивировано. Воют турбины, ветер в лицо, ничего нельзя сказать — но и не надо почему-то. Все ясно и так...

Шесть часов утра.

Все еще дождь.

Ты в плену, окончен бой. Под тюремною стеной ходит мрачно часовой... Надо что-то делать. Надо что-то делать. Надо что-то делать...

Это просто шепчет кровь в ушах: надо что-то делать...

И я не в плену. Я просто не знаю, как выйти отсюда.

Айболит...

Ветка потрогала гипс. Сухой и звонкий. И с рукой он сделал что-то такое, что она занемела вся. Хруст косточек потом был как-то сам по себе. Не рука, а посторонний кусок мяса.

Кусок мяса...

Он меня им не отдаст. Не отдаст.

Просто потому, что... не отдаст.

И все.

Она открыла глаза. Закрыла. Открыла опять. Все-таки есть какая-то разница...

Зачем это все? Вообще, зачем мы полезли сюда? Ведь не хотели же, никто не хотел! И как-то умуд-

рились уговорить друг друга, взять перекрестно на «слабо»...

И в результате: «Билл, мне почему-то кажется, что мы оба наелись говна бесплатно...»

Артем сообразит вернуться за помощью. Не испугается. А я испугалась бы, полезла бы сама...

Что сейчас? Утро, ночь, вечер? Часы Айболит отобрал... Часы, фонарь, спички, ремень. А курточку оставил. Не догадался, что не простая эта курточка, что не берет ее ни нож, ни пистолетная пуля.

Айболит... ну-ну. Всех излечит-исцелит.

Странно, совсем не хочется есть. Она подумала так, и тут же желудок свело болезненным спазмом. То ли голодным, то ли рвотным.

Когда ей было пять лет, она чуть не умерла от чего-то подобного: не могла есть, потому что от запаха пищи ее рвало.

Сама не помнит, конечно, мама рассказывала. Они бежали от турок через горы, в снегу по грудь... а турецкие самолеты ходили над головами, стреляя ракетами по малейшим скоплениям беженцев. Это она помнит, но как-то почти празднично: невообразимо синее небо, и в нем тонкокрылые птицы, посылающие из-под крыльев куда-то вперед ослепительные огненные шары. Есть она не могла: плакала при виде

куска хлеба. Какие-то добрые греки сумели обмануть ее: поили молоком во сне. Так и выжила вот...

Айболит... И корова, и волчица. Кто я? Часы-то зачем надо было отбирать?..

Витя Чендров, помощник дежурного электрика, шестнадцати лет человек, ушел с дежурства не в восемь, как положено, а в шесть с копейками — с позволения, разумеется, своего шефа Василия Дмитриевича. Версия рыбалки по ранней зорьке была шефом равнодушно принята, хотя вопиюще не соответствовала объективной законной реальности. Шефу не было резона задерживать своего помощника уже хотя бы потому, что толку от него было чуть. Да и предполагал шеф (без малейших к тому оснований), что Витя один из тех неприметных героев, которые помогают руководству держать руку на пульсе. Хотя бы по этой причине, пусть его гуляет... сам по себе. Василий Дмитриевич по уши хлебнул тех «золотых семидесятых», о которых так любили поговорить в коммуне. Сам он помалкивал — именно в силу того, что хлебнул. Пусть их...

Пусть.

А Витя не был стукачом и даже не подозревал, что такие бывают. Витя был человеком с ветром в



голове, живущий одним днем. Сейчас он любил Эльвиру, кладовщицу на мучном складе, рыжую хохотушку двадцати лет. Она приходила на склад в пять утра, отпускала муку пекарням — и до девяти была свободна, если никем не была занята. Сейчас, например, она была занята Витей. Там, за штабелями с мукой, она расстелет покрывало...

Неподалеку от склада стоял под дождем без зонта какой-то пацан, странно одетый. Босой, куртка с чужого плеча, черная шляпа и черные очки на морде. Причем очки, кажется, не просто так, а такие, как для подводного плавания, прилегающие плотно...

— Ты чего здесь? — покосился на него Витя.

— Стою, — пискнул тот.

— А ну, пошел...

— Пошел, — согласился тот, повернулся и зашагал — там ничего не было, пустырь и старые новостройки.

Недоумевая, Витя вошел в склад. Пахло как-то не так.

— Эля! — позвал он.

Тишина. Чуть слышный шорох — крыса под полом.

— Эля, где ты? — Он двинулся к «вертепчику» — так они называли уголок для любовных поединков.

Там она и была — лежала, голая, на готовом к любви ложе, поджав ногу, раскинув руки... Что-то было не так, но Вите понадобилось много-много времени, чтобы понять, что именно не так.

У Эльвиры не было головы.

Витя попятился — медленно, очень медленно. Нужно было бежать, но он не имел сил повернуться спиной к этому. Нужно было кричать...

Он споткнулся и грохнулся во весь рост, и все внутри у него рухнуло, слетело с мертвых тормозов — он завизжал... и замолк снова, будто кляп вогнали: перед ним стоял давешний пацан... нет, стоял маленький худой старик, абсолютно голый, в огромных черных очках — и с головой Эльвиры в руке. С шеи свисали какие-то лохмотья, глаза были открыты и смотрели прямо на Витю, язык высунулся... Старик одной рукой как бы протягивал Вите эту голову, а другой делал всем понятный жест: тише, тише! Указательный палец поднесен к улыбающимся губам. И Витя неожиданно для себя кивнул, согласился: да, конечно же, тише. Она спит...

Что-то маленькие ручки легли ему на затылок и подбородок, обхватили неожиданно крепко... Вяу!!! — пронзительно ударило в ухо, он вздрогнул, и эти ручки крутнули его голову так, что в затылке громко хруст-

нуло и полыхнуло огнем. «Ой, громко как!» — подумал Витя, валясь на пол безвольной куклой. Он был жив и даже немного в сознании, когда его подхватили и понесли: под дождь, на пустырь, в какую-то дыру в земле...

— ...такой прибор, который превращает тьму в свет — и наоборот. Голову в него сунул — рраз! — и видишь во тьме. Рраз! — и опять стал нормальный. Никто почти о приборе не знал, только отец, я, еще несколько его слуг. И вот мы пошли на испытания в самый разгар тьмы. Я переделал зрение, а отец не успел. Идут... эти. Мы, конечно, ломаем комедию, разговариваем с ними. Они нам верят. А потом... В общем, продал нас один из слуг. И неправильные ключ от прибора у нас украли. Они, может быть, думали, что это весь прибор, а прибор-то вот он. — Артем коснулся пальцем своих очков. — Но теперь без ключа я его снять не могу — ослепну. А мне слепнуть нельзя, я сын Наставника, мне здоровым нужно быть — в пример чтобы всем.

Слушали сочувственно, кивали. Артем старался не завираться: понимал, что могут уличить. Поэтому рассказывал о жизни в коммуне, как знал ее, только немного другими словами. И будто бы коммуна под

землей, в городе таком, который предки строили на случай войны. И да, не всегда они там жили, первые люди пришли откуда-то, но вот откуда — это знать запрещено. Почему так? Первый Наставник так решил, и так стало.

Верили...

Когда он не нашел в вещах убитых Сеги и Фрукта «ключа» (а правильное сказать, когда он убедился, что вещи здесь только их, Веткиных нет), ему под величайшим секретом рассказали об Айболите, человеке тьмы, который живет среди них... ну, не совсем среди, но все равно здесь, в городе Света... так вот, был еще один пришелец, но он провалился туда, в подземелье к Айболиту, и теперь трудно будет забрать его оттуда... Почему? Да вот такой он, Айболит. С ним так запросто не поговоришь. Когда что хочет, тогда и делает. Или не делает. Все у него по-своему. Лечит, да. И учит, да. Но не любит, нет, не жалеет. Крысами зовет. И не сделать ничего, потому что тогда сразу умрем все. Айболит слово знает, что все умрем...

Артем сказал, что мяса не ест, пост у него, очищение. Посмотрели уважительно и накормили грибами. Несоленая масса со вкусом пыльного сыра. Сильный чесночный запах. Съел. Не умер.

Дальше-то что?

Если спасатели слышали сигнал, то уже там, открывают ворота, входят... А если нет? Не сработал передатчик, скалой заслонило антенну, залило дождем...

Зато Ветка жива. И его встречают с почетом. Не сорваться бы, не начать бы спрашивать об очевидном — тогда заподозрят. И не перестараться, играя «VIP». Пока сходит с рук. О-оххх...

Славные ребята, эти подземники. Люди Света. Незатейливые, простые.

Жаль, людоеды. А то бы...

Их много. Несколько тысяч. В этом подземном лабиринте. В котором тридцать этажей. У них есть предание: сюда, в этот лабиринт, они пришли из другого подземного мира, который затопило водой. Это было недавно: три поколения назад. Сколько лет, неясно: нет смены времен года. И они — о, с какой гордостью это было произнесено! — они продолжают готовиться! Они не забыли заветов первых Людей Света!

Знать бы к чему. Чуть не спросил. Тут-то бы его и... того.

Свет здесь исходит от мерцающих на потолке светодиодов. Подземникам этого хватает для их огром-

ных глаз, Артему — для очков. Но раз светятся светодиоды, значит, в цепи есть ток? Значит, плафоны могут загореться? Темные пока плафоны, возле каждого из которых чуть светится точка светодиода?

Интересно, знают ли они это сами?

И не это ли имеет в виду странный Айболит, когда...

Если лампы вспыхнут, для подземников наступит вечный мрак.

К девяти пробились в скальную нишу, куда втягивалась плита ворот и где находились механизмы ее перемещения — взорванные. Саломатов и его механик-водитель осмотрелись и сказали, что потребуется неделя, чтобы нечто пригодное смонтировать заново. Нужно было пробиваться дальше, используя обычную методику: сверлить шурфы, вбивать экспресс-патроны, пломбировать, взрывать, снова сверлить... Собаки Ветки, Рика и Тоша, крутились под ногами, жалобно скуля, жались к людям, а потом вдруг обе, подвывая, бросились к дыре, уходящей в туннель, и скрылись там. Их еще было слышно несколько минут...

Проверяющие прибыли на чопорном синем «Гранте», и тут же неподалеку шлепнулся на лужай-

ку глазастый тощий Ми-72 с телегруппой. Этих только не хватало, закрыл глаза Стахов, правду говорят: беда одна не ходит...

Инспектора, вопреки ожиданиям, оказались людьми вполне светскими: доцент из Института мировых религий АН (совершенно хрестоматийный доцент, разве что не в пенсне) и очаровательнейшая седеющая дама-англичанка, профессор психологии из Оксфорда; Стахов готов был руку дать на отсечение, что уже видел ее, но где и когда? Нервничаю, черт... В свите их были, правда, две монахини, католичка и православная — секретари-референты. Были еще трое молодых ребят и девушка, их представили как технических работников, но Стахов хорошо знал эту свободную походку и эти чуть свисающие плечи. Без охраны — никуда... Был еще Шацкий из наробраза, он поймал взгляд Стахова и развел руками: что, мол, поделаешь. Шацкий бывал в коммуне по пять раз за год и школами был доволен. Школы у вас, ребята, говорил он, — это просто рай. С ним было хорошо, он помогал мебелью, учебниками, прочим. Последний год поговаривали, что вот-вот его то ли снимут, то ли повысят. Стахов про себя решил, что в случае чего Шацкого в коммуне примут...

Впрочем, зависело это не только от Стахова.

Еще когда «Грант» завис над землей, Стахов подумал: сразу же скажу им про ЧП, извинюсь — и пусть шастают везде сами. Скрывать нам нечего. Но когда из «мишки» выпали журналюги, обвешанные камерами, рекордерами, передатчиками — кто в разноцветных распашонках и ртутного цвета трико с черными гульфиками, кто в преувеличенно-военном: камуфляж, кожа, жилеты с миллионом кармашков, ботинки до середины икр, козырькастые кепи, — тут Стахов испытал сильнейший позыв скрыть все и ни на шаг не отходить от инспекторов, крутиться рядом мальчиком для битья и тем самым отвлекать на себя внимание. Может, пронесет...

И все равно, когда взаимные приветствия состоялись и мадам профессор на неплохом русском спросила: «Итак, что вы хотели бы продемонстрировать нам фф первую очередь?» — Стахов вздохнул, развел руками и сказал, что вынужден предоставить гостей самим себе, поскольку сам он должен... видите ли, вчера четверо детей заблудились, забрались в заброшенный туннель...

Он уже знал про окровавленные разлохмаченные веревки.

Но надо пригласить спасателей, специалистовфф...

Они уже на месте. Кроме того, мы обратились за помощью к армии.



«Дело так плохо?» — это уже был доцент.

Там слишком узкий лаз. Взрослые не могут протиснуться. Приходится долбить, взрывать...

Конешшно. Если ваше присутствие необходимо там...

Мое присутствие необходимо здесь. С вашего позволения, я буду заниматься своим делом, а по окончании — весь к вашим услугам. Юрий Юрьевич! (Это Шацкому.) Не могли бы вы как-нибудь так сделать, чтобы телебанда туда не полезла? Пусть ползает уж по городу...

Сашеньку Куницыну, гвоздь-репортера программы «Через афедрон», в вертолете укачало. Но уже не так, как укачивало раньше. Привычка начинала сказываться. Плюс рюмка коньяка, принятая перед полетом, — совет Кудрявчика, знающего в этом деле толк. И все равно укачало. Заррраза... Сашенька прыгнула на твердую надежную землю (земля мягко подалась под ногами, но устояла сама и удержала Сашеньку) и огляделась. Пилотная камера огляделась вместе с нею. Все, что видел репортер, шло на рекордер и параллельно — на студийный монтажно-процессор. А это такая зараза, что да, порой от часового материала оставляет пятьдесят секунд. Чеши и пой. Или не чеши...

В группе Сашенька была самой младшей по возрасту, но уже самой известной и стойкой. Два года она работала в «Афедроне» с именем в титрах, и от ее материалов даже после зарпразы оставалось процентов десять. Сам Халымбаев не мог рассчитывать на большее. Однако сейчас...

Ощущение скорого и неизбежного разочарования наполнило ее. Ни черта мы отсюда не привезем... Хотя и сказал Халымбаев: инспектора направлены для проформы, решение о разгоне коммуны уже принято, патриархия давит на правительство, а тому сейчас не с руки защищать каких-то коммунистов-сектантов... а может быть, это правительство давит на патриархию, кто их там разберет, под ковром-то?.. Короче, большой скандал будет обязательно. И вы уж постарайтесь, чтобы на рекордер это попало...

А вот фиг тебе, Халымбаев. Вышла наружу и чую — не будет скандала. Ты же знаешь, какое у меня чутье на это дело. И даже знаешь, чем я чую. Недаром программу так называли...

Нет. Будет что-то другое.

— Леш! — позвала она. — Тебе тупо таскаться за инспекторами. Записывай все: их болтовню между собой, разговоры с охраной... ну и с населением, но

это менее важно. Роха, а ты путайся у них под ногами, понял? Чтобы реакция была. Петрак, ты идешь в народ. По сторонам поглядывай. Я — в свободном. На связи непрерывно. Разошлись...

— ...и рассудили здраво, и делали правильно, а получилось что-то совсем другое. Думали как? Будет война на всеуничтожение, и победит не тот, кто больше раз проутюжит противника, а кто после лубой утюжки уцелеет и в рост пойдет. А тогда как раз научились генами жонглировать... Самых первых этих чертиков было пятеро: мальчик и четыре девочки. Никто, конечно, не выжил — проверяли на них все, что только можно, до полного разрушения... Вторую партию делали широко: двести девочек, сорок мальчиков. Всяким дамочкам, которые нормальным путем забеременеть не могли, предлагали: искусственное, мол, оплодотворение, то-се... Потом бац: ребеночек умер. Бывает, давайте еще разок попробуем... ну, и если те соглашались, второй раз делали как надо. А детишек, будто бы умерших, сюда, под землю. Не совсем сюда, конечно, «террариум» километрах в двух, если коридорами. Там и жили. Деточки эти, конечно, еще те деточки. В неделю начинает ходить, в месяц вполне самостоятельный, в три года

размножаться может... Живут, правда, до семи лет, редко до десяти. Грибы свои разводят, потом эту дрянь, которая у них вместо хлеба... как ее? Во-от. А когда старую-то власть поперли окончательно, начальство за головы взялось. Это же под десяток статей подпадает, расстрел с пожизненным повешением... какой там Менгеле, что вы!.. Всю документацию в печь и под нож, сотрудников — туда же... А я вот спрятался. Да... Входы-выходы забетонировали, в «террариум» воду пустили. Из подземной реки. У нас же и река есть, все как у людей. Готовились тут я не знаю сколько веков отсиживаться... жратвы, не поверишь: мы три холодильника выели, еще тридцать семь осталось. Папиросы «Норд», водка под сургучом... А, тебе не понять. Сухари ржаные — сорок девятого года. Тушенка вот эта, которую ты трескаешь, — с сорок четвертого, американская, ленд-лиз... Ну и прочее в том же духе. В общем, не знаю, нашла бы малышня сюда дорогу без меня или нет... Поначалу они меня чтили: вроде как начальника. А потом — как-то все дальше, дальше... я уже и понять не могу, что они болтают, слова вроде нормальные, а смысл другой. Учиться перестали, кучковаться начали, потом вдруг — биться между собой... Теперь вот у них две партии: одни считают, что надо совер-

шенством заниматься и ждать, когда труба позовёт... а другие — те говорят, что труба давно протрубила, война произошла и пора выходить на поверхность, очищать ее от «неправильных»... Слава Богу, этих мало пока, загнали их куда-то на нижний уровень, на окраины, там и держат. Царек у них, Колмак — из Колмаковых, значит, у них тут двенадцать фамилий, — совершенно чокнутый. Но колдун. Сильный колдун. Много может, кое-что получше меня. Я ведь кто был? Так, лаборатория. Анализы, экспертизы... забыл уж все. И чего я их тогда не утопил, как котят? Жил бы без забот... правда, девок своих они мне приводят... ну да это — ладно. Вышел бы со временем, да и затерялся бы. Велика Россия и безалаберна. Слушай, а кто у вас там теперь: президент, или царь, или вообще никого?

— Пока президент, — сказала Ветка. — А что с осени будет, никто не знает. Назначено это... Учредительное собрание. Оно и решит, кто дальше станет. Отец говорит, что будет, наверное, царь. А вообще-то это все не важно вовсе. Живем в коммуне, никого не трогаем, ни за кого не голосуем...

— Да... — Айболит торопливо кивнул птичьей своей головой, суетливым движением подвинул Ветке отодвинутую ею было банку, снял нагар со свечи. — Ты

ешь, ешь... Сто лет, значит, без царя — и опять царь? Не может, получается, русский человек без царей? Не может, да?

— Не знаю, — сказала Ветка. Она уже наелась, но какой-то нервный зуд в деснах заставлял ее засовывать в рот и жевать волокнистое, жирное, с сильным, но почему-то непищевым вкусом мясо. — Я вообще сербка.

— А-а... — Он сказал это, полуобернувшись и наставив огромное свое ухо на темный зев коридора. Что-то происходило там, вплетаясь неясным звуком в мерный рокот генераторов и шум водного потока, ставшие уже общим фоном существования...

К полудню лаз расширили достаточно, чтобы нормальному человеку можно было в него протиснуться. Краюхин шел первым, за ним Саломатов, потом Золтан и Коваленко, спасатель. Воздух в туннеле был до странности свеж. Краюхин повел лучом вдоль вагонов: пусто. Посветил на сами вагоны — как бы между прочим. Пульс участился.

Такие вагоны он знал слишком хорошо...

Пять лет своего несчастливого офицерства Краюхин провел рядом с ними и внутри них. Пусковые мобильные установки стратегических ракет «Тополь»...

Молча он шел вперед, не зная еще, что делать с этой находкой.

Царь Колмак рассматривал пленника. Таких он раньше не видел. Все замирали, когда он своим страшным взором проникал в их сущность. А этот обрадовался. Пахло от него, как от мальчика, а не как от мужчины, и лгал он спокойно, не брызжа страхом во все стороны. Испытывал он страх перед чем-то другим, перед тем, что осталось позади и чего Колмак так и не смог увидеть...

— Отпустите его, — сказал Колмак солдатам, и те тут же убрали руки. — Встань, сын Наставника, и иди ко мне. И сядь рядом.

Артем поднялся с пола. Его покачивало: и от удара по голове, и от безумной гонки по подземелью, когда его, привязанного к двум жердям, передавали из рук в руки, как эстафетную палочку. Но от человека, сидящего на стуле с высокой спинкой, исходило дружелюбие, почти нежность... Он был совсем не похож на остальных подземников: напоминал сложением нормального мужчину, только низкорослого, а вовсе не мальчишку со старческим личиком... И Артем, стараясь держаться прямо, подошел к нему и примостился на краешке высокого стула.

Здесь дружелюбие было почти нестерпимым, как жар от открытой печи, и Артем некоторое время просто не мог ни говорить, ни слышать. Ему казалось, что он заболевает. А потом будто включили звук...

— ...коварные и жестокие. Они погубили наших Создателей и хотели погубить нас, но добрый Доктор сумел помешать их планам сбыться. Хотя нелюди овладели всей землей, подземные города остались во власти Света. Но нелюди стали творить морок, и многие люди Света поддались этому мороку. Им думается теперь, что мы должны жить под землей вечно, пока нелюди не исчезнут сами или не передавят друг друга. Только тогда мы должны выйти на поверхность и обратить Тьму в Свет... Нет, отвечаем мы, не для того создавались подземные неприступные твердыни, не для того творили нас Создатели, не для того Доктор выводил нас из вод и трясины, чтобы мы без толку и пользы тянули свой век в тепле и ясности, среди наших плантаций и фабрик, занятые лишь подготовкой к тому, что нам предстоит пройти. Нет, знаем мы, что не сгинут нелюди сами, сильно их колдовство, хитры и коварны они. Разве не понятно, что создавали нас Создатели для того только, чтобы истребить нелюдей и освободить родную нашу землю от их жестокого кровавого



гнета, сделать все, чтобы Создатели могли возродиться? Вопиет небо: выходите, выходите, сыны и дочери Народа, сейте разрушение и смерть! Десять и сто жизней нелюдей берите за одну свою, и расточатся пред вами источники Света. Никто не спасется от клинков мщения! Бессильны нелюди пред людьми Света, слабо их дыхание, медлительна рука. Наши старые женщины превзойдут их воинов в поединке. Мы каждый день едим их мясо, и найдется ли кто, оставшийся в живых, кто видел нас?

Повисло вдруг молчание.

— Да, ваше величество, — с трудом сказал Артем. — Они не устоят против нас. Мой отец тоже так считает.

Что-то произошло.

— Скажи это еще раз, — потребовал Колмак.

— Они не устоят...

— Дальше.

— Мой отец... тоже так считает...

— Я понял, — сказал Колмак. — Твой отец — наставник людей Тьмы. И ты — человек Тьмы. Но не посланник и не шпион. Кто же ты? Кто ты, сын Наставника?

Артем задрожал. Дружелюбие царя опаляло.

Уже не соврать...

— Я... мы... мы хотели просто... просто потому, что боялись идти сюда, и надо было доказать, что не боимся, понимаете? Поэтому...

— Можешь молчать. Я буду думать, что все это значит. Ты не простой человек, ты наделен Зрением, которым способен проникать под видимость. Ты еще не вполне умеешь им пользоваться...

— Вы ведь не совсем подземник, да? — с надеждой спросил Артем. — То есть я хочу сказать...

— Я — от семени Доктора, — с гордостью сказал царь. — Я проживу много поколений. Может быть, я переживу Доктора...

Он положил твердую, будто цельнокостяную лапу на голое колено Артема, и Артем застыл. От лапы шел мертвый холод.

Бабушка Ирина помнила коллективизацию, а зрение терять начала лишь два-три года назад. Сначала будто бы темные мушки летали, потом стало казаться, что носит она засиженные мухами очки... Она действительно стала носить очки, но лучше от этого не делалось. Как сквозь грязное виделся мир, а где чистые промежутки оставались, так через них ничего нельзя было рассмотреть: глянешь в ту сторону, а прозрачное пятнышко отбежит... Покупали для нее какие-то бе-

зумно дорогие лекарства, привозили врачей, вы наш ветеран, говорили ей, наша первая комсомолка... Но не нахлебницей она была и теперь, не та порода: каждое утро, встав часиков в пять, заворачивала она по две сотни пирожков и ставила в печи — для ребятишек-дошколят. А вчера прибежала Лика из горисполкома: «Баб Ир, спеки рыбный пирог, гости завтра...» Завернула баба Ира и рыбный: рис, лучок зеленый, яйца крутые мелко порубленные, белужатинка... Но главное дело — тесто, это всем ясно, даром, что ли, говорят: одна мучка, да другие ручки. Оно и получилось. Румяный пирог, высокий. Корочка лакомая, маслом коровьим промазанная. Полотенцем укрыла, а как Лика прибежала да под полотенце заглянула, так и взвизгнула, и понесла пирог, как младенчика, мягко ступая... А бабушка Ира села и задремала сидя. Не молоденькая...

Девяносто пять осенью. Бабы столько не живут.

Проснулась от шороха. Сумеречно было в доме и пахло горелым. Опять не выключила духовку... Поднялась с трудом и пошла, разминая одеревеневшие ноги.

Чадила духовка, правда. Да как-то не так пахло, как обычно от духовки. Не маслом горелым, а будто бы шерстью. Шерстью ли?.. Может, тряпку-прихватку

там оставила? Бабушка Ира откинула дверцу — в лицо пахло смрадом и дымом. Регулятор вывернут был до предела. Никогда она так не делала, никогда...

Кто-то пробежал за спиной со смешком.

Вот она, прихватка...

Баба Ира, обжигаясь, выдернула из духовки противень. На противне, шипя и пузырясь, горела отрезанная человеческая рука.

Через маленькое просветленное окошечко увидела она эту руку, а когда метнулась туда взором, все опять заволочло... но руку она видела, это точно.

И опять кто-то пробежал.

А потом схватил ее сзади за локоть.

Рука на противне корчилась и гнулась...

Сердце бабы Иры вдруг наполнилось доверху — и с тихим звуком, будто разбился маленький пузырек, разорвалось. Она медленно упала, будто вся была набита легчайшим пухом. Черные ножки старого кухонного стола оказались колоннами, на которых держался небесный свод, и грустная торжественная мелодия хоров звучала, и звучала, и звучала...

— Нас никто не заманивал сюда, поймите! — говорила Мирка Тадич. За эту ночь она осунулась и

почернела. — Больше того, нас не пускали. Нам устроили экзамен, входное испытание. Мы месяц доказывали делом, что умеем работать и жить с людьми, а нам устраивали проверки, нас... как это?.. провокации, да. Подвергали провокации. Потом говорили слова извинения. Другая семья поступала с нами, тем сказали слова прощания. Они... как это?.. качали права, да. А мы с радостью — эй, слышите вы? — с радостью отдали все, что имели. Этого было мало, но это было все, что у нас осталось, все! Потому что знали: мы пришли сюда навсегда, мы не уйдем отсюда, а если нас попытаются разбросать... нет, как это?.. разнести... разогнать, мы будем биться на пороге наших домов... — Она замолчала. Рыдание сдавило горло. — Мы не уйдем отсюда, — сказала она очень тихо. — Так и передайте там: мы не уйдем.

Мадам профессор, Хелен Хью Таплин, слушала молча. Разве можно этой женщине, прошедшей через нищету и унижения, объяснить, что именно в таких вот тихих изолятах и вызревают опаснейшие и необъяснимые пока поведенческие реакции? Что здесь, среди этих мирных и приветливых людей уже ходят психопаты, что почти у всех вас налицо все симптомы латентной сшибки, и если не среагиро-

вать вовремя, через два-три года она превратится в надпороговую, и тогда вы, замечательные соседи и товарищи, превратитесь в злейших врагов друг другу. Бедная Мирка, и ты при разговоре смотришь не в глаза собеседнику, а вниз и влево... ты что-то скрываешь, да? О, вам всем есть что скрывать, потому что слишком мало вас здесь, и накопление взаимных тайн происходит слишком быстро — особенно при вашем пуританском образе мыслей. Самыми долгоживущими изолятами были колонии хиппи семидесятых годов, именно потому, что там можно было почти все. Но и оттуда уходили выросшие дети... А боитесь вы не только того, что коммуну вашу расформируют. И страх ваш общий не только перед внешней жизнью. Есть какой-то другой, застарелый, привычный...

— Вашу дочь еще не нашли? — спросила Хелен Хью.

— Еще нет. Но ее найдут, обязательно найдут. Я не тревожусь о ней. Вы видите, я не тревожусь о своем ребенке, который заблудился в пещере, потому что знаю: его найдут и спасут. Но я тревожусь за всех наших детей, потому что им, выросшим в любви и безопасности, вы готовите вышвыривание в жизнь, полную корысти, насилия и зла.

«Они все равно придут туда, — подумала Хелен Хью, — но чем позже, тем менее подготовленными. А если вы попытаетесь не пустить их...»

— Неужели вы думаете, что мы хотим вам плохого? — спросила она.

— Мы никогда не видели от вас хорошего, — был ответ. — Мы бежали от вас, но и здесь вы нагоняете нас, и здесь... Вы хотите, чтобы мы все умерли? Мы все умрем. И именно вы будете виновны в нашей смерти...

— Тридцать пять лет назад в Гайане покончили с собой девятьсот человек — примерно такая же коммуна, как ваша. Двадцать лет назад — три тысячи человек на Филиппинах. Десять лет назад — столько же в Японии. За последние пять лет это стало обыденностью. Каждый месяц во всех уголках света... Люди собираются вместе, объединенные какой-то религиозной или социальной идеей, а через несколько месяцев или лет кончают массовым самоубийством. Вот и вы грозите мне тем же...

— Что вы хотите сказать? Что мы все сумасшедшие?

— Нет, конечно. Но, согласитесь, ситуация тревожная.

— Просто никто уже не выносит жизни, которой вы живете...

Телеоператор, снимавший их, — тот, в желто-оранжевом «гарде», вечно лезущий под ноги охране, — вдруг

замер и прислушался. Наверное, его вызывали по «москиту». Выслушав указание, он подхватил штативную камеру, ножки ее смешно подогнулись, и пошел к выходу. В дверях обернулся, и пилотная камера на его плече обернулась вместе с ним. Кажется, он хотел что-то сказать, но не сказал.

Перекусив на скорую руку, Сашенька заторопилась по указанному адресу. Улица имени XXII съезда, дом 21, первый этаж... Было даже смешно. Но девяносто пять лет старушке, а? Подумать только...

Пирог красивый. Жаль, сожрут инспекторы, корочки не оставят. Может, удастся уговорить ее на еще один? Это будет гвоздь программы.

Дождь кончился, висела приречная сырость, пахло травой и землей. Улицы чистые, дома тоже чистые и нарядные. Ну и жили бы они здесь, с раздражением подумала Сашенька, кому от этого плохо? Нет, надо залезть руками в душу и вынуть — так принято... Человек пять прохожих встретились ей, один лишь старичок, остальные — не старше тридцати. Нормальные люди, спокойные... Она представила себе Шадринск. До отвращения богатые витрины центральных улиц, цветная плитка тротуаров, разодетые в пух и прах толпы — и грязь, и темень



переулков, крысы в мусорных баках, опасные тени в подъездах... Шадринск вырос в годы экономическо-го чуда на каком-то внезапно возникшем торговом перекрестке, город без истории, новодел... Здесь же казалось, бродишь по кладбищу. Нет, по музею. Тоже нет, по ожившему... она вздрогнула. «Маленькие города», последний топ Петти Джонсон. Чудовище, которое мимикрирует под маленькие города на дорогах Америки... люди останавливаются на пути куда-либо — и становятся сначала игрушкой, а потом и пищей. Красивый фильм, красивые актеры, бесподобная музыка — «Хабитус Рарус». Индукция жутчайшая... Ах, черт. Конечно, засело в подкорке. «Хабитус Рарус». Всю дорогу, отвлекаясь от качки, слушала «Хабитус Рарус». Чего ж вам боле?.. Бабушкин дом был желтого цвета, кирпичный, под зеленой железной крышей. Два этажа, два подъезда. Бабушка живет здесь... По обычаю незапертая дверь. Сашенька толкнула ее, вошла. Громко позвала: «Ирина Мокеевна!» Нет ответа. Спит, бедняга... В квартире было чисто, но сильно пахло горелым. Коврик на стене, кровать, крытая голубым покрывальцем, круглый столик под кружевной салфеткой, вазочка с ромашками, комод, плюшевые собачки на комоде, фарфоровая балерина, две пары очков... Но где же

бабушка? Сашенька прошла на кухню. Здесь был такой же порядок, как и в комнате. От большого духового шкафа шло тепло. Еще не остыл...

— Ирина Мокеевна!

Пошла погулять? Анжелика сказала, что она всегда дома, а гуляет на лавочке у подъезда. Родня ее вся на работе в полях... живут в соседней квартире: сорокалетний внук с женой и трое правнуков... Заглянуть туда? Неловко... Сашенька пожала плечами, вышла из квартиры — и тут услышала слабый полусорох-полувздых, будто кто-то прятался от нее, а теперь с облегчением перевел дух. Сашенька резко повернулась и успела заметить быструю тень, метнувшуюся под кровать. Собака, неуверенно подумала она. Край покрывала покачивался. «Господи, мое-то какое дело?» — сказала она себе.

Сама не зная зачем, она подошла к кровати, встала на колени, опустила ручную камеру на пол и заглянула под кровать, откинув покрывало и одновременно включив подсветку пилотной камеры.

Бабушка была там. Она лежала на спине, вытянув руки вдоль тела, платочек сбился на затылок. А за нею шевельнулся кто-то бесформенный и голый, и лишь огромные черные очки над оскаленным ртом были из реальной жизни. А в следующий миг это

бесформенное тело распрямилось, и маленькие растопыренные острые пальчики метнулись к глазам Саши...

Не зря ее так долго и так больно учили драться. Пальцы попали в скулу и переносицу, это было как удар гвоздями, ослепляюще страшно, но не ослепило по-настоящему. А ответный, чисто пружинный удар ее отбросил нападающего в сторону, раздался писк: обиженный котенок, ребенок... Саша перекадилась налево и вскочила, спиной к окну — и тот тоже вскочил. Голый мальчишка лет десяти, черные очки и кривой нож на поясе.

— Ты что, с ума?.. — Голос был не ее, и она оборвала себя: не отвлекайся на разговоры...

Мальчишка с места взвился в воздух, точно так же целясь пальцами в ее лицо, она присела, отклоняясь, и удар ногой, нацеленный в голову, пришелся ей в плечо, как раз в пилотную камеру. Опять обиженный писк... Он висел на ковре, как кот, а Сашенька сдергивала камеру с плеча. Как ей мешала эта камера... Произошло одновременно: она вышелкнула камеру из шарнира, а мальчишка подтянул ноги и оттолкнулся ими от стены, как пловец отталкивается от стенки бассейна, и понесся на Сашеньку, переворачиваясь в воздухе, нож был в руке,

и Саша не столько ударила его, сколько отмахнулась, но от этого отмаха и камера (килограмм с граммами), и голова мальчишки раскололись — и в тот же миг острый как бритва нож мягко коснулся Сашиной шеи. Она рухнула, сбитая с ног этим маленьким чудовищем, тут же вскочила — кипятком обдало шею, голова нервно дернулась, ее повело вбок, и тугая струя выплеснулась на потолок.

— Помогите... — это она подумала, а сказать не смогла: воздух свистнул из раны, и Саша с ледяной ясностью поняла, что вот прямо сейчас умрет, если... если не...

Обеими руками она залезла в горячее и сжала, как могла, и наклонилась к двери, к выходу, стараясь не дышать, не дышать... Она вышла на площадку, ноги уже не держали, было страшно и досадно, что вот так...

У нее еще хватило сил вывалиться на улицу и сделать несколько шагов. Потом руки разжались, выпуская кровь на свободу...

Ее нашли минут пятнадцать спустя.

— Так далеко они не пошли бы, — неуверенно сказал Саломатов, посылая мощный луч то вдаль (полная тьма), то в потолок (метров тридцать высо-

ты, какие-то ферменные конструкции, легкие трапы, свисающие пучки проводов, бочонки и барабаны всяческих прожекторов...). — Наверное, свернули куда-то.

— Может быть, — шепотом отозвался Краюхин. Нормально говорить он уже не мог: сорвал голос. — Ну, засранцы, ну, найдем...

— Куда собаки-то делись? — в который раз задал вопрос Золтан. — Рика, Тошка, на-на-на! — Потом он призывно засвистел и оборвал свист, прислушиваясь. — Вода шумит... Откуда здесь вода?

— Надо вызвать собак, — сказал Коваленко. — Без собак здесь делать нечего.

Из огромного зала две рельсовые нитки уходили вправо, в обычный туннель наподобие метрополитеновского. Три так и терялись вдаль, свет не доставал до конца зала. Слева открывались два безрельсовых туннеля, выложенных кафелем: один огромный, два трейлера разъедутся, второй маленький, для пешего хождения. Кроме того, была дюжина лестниц и пандусов, ведущих куда-то вниз...

— Вызывайте, — согласился Краюхин. — Об оплате не заботьтесь...

Во сколько эти приключения нам обойдутся? Тысяч в тридцать? Не меньше... А если бы не Артем,

вдруг спросил кто-то нагло, ты бы стал платить? С ума сошел, подумал Краюхин, такие вопросы в голову пускаешь... А на самом деле? Платил бы — и с легкой душой. Платил бы, подумал он твердо.

А если бы знал, что они мертвы?

Что?!

Ты ведь знаешь, что они... что их... Вспомни веревку.

Нет же. Нет. Не обязательно. Миллион объяснений...

Коваленко взялся за рацию, но еще до того, как начал вызывать оставшихся у входа, раздался зуммер. Вызывали они сами.

— Петр Петрович! Петр Петрович! — было очень тихо, и слова из динамика разносились далеко и отчетливо. — Возвращайтесь скорее! Тут такое!..

— Что именно?

— Убили девочку из телевидения! Но она сняла того, кто ее... Короче, это видеть надо!

— При чем тут мы?

— Так это, наверное, одни и те же — и детей утащили, и ее! Понимаете, это и не люди вовсе! То есть, может быть, и люди...

— Митя. — Коваленко вздохнул. — Ты переутомился, наверное. Ладно, мы возвращаемся, а ты вызови-ка мне двух проводников с собачками и сгоняй за ними вертолет.

— Вы идите, — сказал Краюхин. — Я побуду здесь.

— Анатолий Михайлович, — сказал Саломатов, — не пори горячку. Потом тебя искать...

— Искать меня не придется, — сказал Краюхин.

Через пять минут, оставшись в одиночестве и погасив фонарь, он начал медленно привыкать к темноте.

— ...Айболитик, миленький, выпусти меня отсюда... Выпусти, я домой хочу... Выпусти, меня мама ждет... Она испугается, что меня так долго нет... Айболитик, выпусти, хороший... Ну, пожалуйста... Ты же хороший... Ты же даже этих страшненьких жалеешь... Выпусти, я никому про тебя не скажу...

И так — час за часом. Вроде бы тепло, а ноги замерзли. Будто бы лед под полом. Может, и вправду лед. Крепка решетка, и никак не дотянуться до засова. Его ли эта серая тень? Забрал все, только курточку оставил и ушел. Хорошо хоть одеяло дал. Зачем ушел?

— Айболитик, ты где?.. Выпусти меня, мне страшно... Я пить хочу... Зачем ты меня запер?.. Пожалуйста, хороший Айболитик, выпусти меня отсюда, я к маме хочу, выпусти меня...

Свеча на столе все короче...

\* \* \*

Город взорвался. С полей, с огородов, с ферм примчались люди, толпились перед Советом, многие с детьми, многие с оружием: вилами, дробовиками... Из Тарасовки прилетел вертолет со следователями; выехал, но застрял где-то в дороге автобус с вооруженными полицейскими. Дивизия прислала три десятка сержантов и младших офицеров: с автоматами за спиной, они стояли на перекрестках, прочесывали дворы, заглядывали в подвалы. Это успокаивало. Инспекторов их охранники запихнули в вертолет, но улетать они пока не собирались. Телевизионщики, ставшие героями дня, внезапно размножились: теперь их было человек десять, посерьезневших, в легких касках и бронеках, быстрых и пронырливых. Чьи-то вертолеты кругами ходили над городом. Стахов чувствовал, что и его начинает затягивать темный азарт. Будто начало войны. Ужас и восторг...

Маруся Шелухина, полицейский, рассказала только что обо всем том, что накапливалось за год, — тихо, исподволь: слухи о гигантских крысах, выходящих в лунные ночи из дыр в земле; слухи о том, что ребяташки повадились голыми шнырять по пустырям и в развалинах заводских недостроенных кор-



пусов; постоянное исчезновение каких-то неценных, а потому оставленных без присмотра вещей... И люди, конечно. Вот сегодня: нет нигде Виктора Чендрова с электростанции (с работы ушел, домой не вернулся), и нет Эльвиры Булак, которая из дому ушла, а на работе ее нет, и склад стоит открытый, хотя и было предписано: склады запирать...

На экране в сотый раз прокручивали: в ярком пятне света тело старушки, а из-за него приподнимается и замирает на секунду чудовище: маленькая головка с огромными рубиновыми глазами, за головой плечи буквой V, и все это похоже немного на атакующую кобру; потом голова чуть поворачивается, рубиновый отсвет исчезает, и становится видно, что это не глаза, а странной формы очки; идут — медленно — снизу косо вверх и вперед и чуть влево две тонкие напряженные руки с вытянутыми пальцами, и вслед за руками начинает приближаться голова, плечи опускаются... Смена кадра: мальчишка у стены в позе готовой прыгнуть собаки, зубы оскалены, очки непроницаемы — прыгает, все так же вытянув руки вперед, плывет, плывет по воздуху...

— Маруся, — сказал Стахов, — возьми-ка пару армейских ребят да сходи на этот Эльвири́н склад. Что-то там нечисто...

Дверь за Марусей закрылась и тут же открылась вновь. Вожатая Лиза привела из лагеря Гарика Шваба, пятого из звена Артема Краюхина. Стахову уже позвонили, что Гарик был в курсе преступного умысла четверки, но никому не сказал ни слова. Теперь он был уверен, что его с родителями выкинут вон.

— Ты не реви, — сказал Стахов ушастому белобрысенькому парнишке, испуганному и дрожащему. — Что не сказал — ладно. Ты еще молодой, чтобы различать, когда закладывать друзей грех, а когда наоборот. Со временем поймешь... Ты вот что скажи: почему ты сам с ними не пошел?

— Не знаю... — прошептал Гарик. — Так что, мне ничего не будет? — Он посмотрел на Стахова недоверчиво.

— А ты орден хотел?

— Н-нет... Вы мамку с отцом не выгоните?

— Нет, конечно. Хотя выпороть тебя потом — не помешало бы... Ладно, доживем до потом... а пока рассказывай.

— А чего рассказывать? Боялся я. Все же знают, что подземников трогать нельзя. А Темка говорит: не бывает их! А все же знают, что бывают... Ну и... все. Ветка говорит: слабó в пещеру залезть. Вот. А Темка туда уже ходил, да дойти не смог: болото. А

тут жара... Ну и пошли. Я говорю... вот. А они: никаких не бывает, потому что... и все. А только Сега ружье-то прихватил. Хоть и говорил, что не бывает... А мне сказали, что трус — ну и сиди. А я что? Я не потому что трус, а просто... Ну, я же сам видел! Маленького, как первоклашку, голого, а с ножами. Спарту как раз прогуливал... она залаяла, он в канаву — и все...

— И ты молчал?

— Так все же знают...

— А я почему не знаю? Краюхин-отец почему не знает? Эх, детки! Или уж мы такое говно в ваших глазах, что нам ни доверия, ни... а, да что с вами говорить... В общем, парень, знай: в том, что ребята пропали, не только их глупость виной, но и твоя. Иди пока. Вспомнишь что ценное — скажешь. Мне или тете Клаве, тете Марусе...

— Так не верят же! — закричал вдруг Гарик. — Не верит мне никто! Я же говорил — не верят!!!

— Говорил? — тупо повторил Стахов.

— Ну... говорил... — Гарик судорожно вздохнул, давя рыдание.

— Лиза. — Стахов повернулся к вожатой, внимающей изумленно. — Ты возле детей. Слышала что-нибудь такое: про подземных жителей, про голых малышей?

— Так ведь... они же всякие страшилки все время рассказывают, я уж их отвлекать пыталась...

— Ясно с нами все. Иди, Лизавета. А ты, парень, подожди. Нужно мне, чтобы ты — сейчас, немедленно — поговорил с ребятами и узнал про этих подземников как можно больше. Кто они, чем занимаются... Через, — он посмотрел на часы, — через четыре часа придешь сюда и расскажешь все, что узнал, мне или тому, кто будет здесь вместо меня. Понял? Теперь беги.

Курлыкнула рация. Маруся сообщала, что на полу в мучном складе под слоем муки обнаружена кровь, много крови, очень много крови...

Вначале Артем услышал шорох, потом уловил движение. Комната — целый зал, — где его поместили, освещалась не светодиодами, а какой-то липкой сиреневато-зеленой дрянью, размазанной по потолку и стенам. Свет от нее шел довольно сильный — по сравнению со светодиодами, конечно, — но из-за того, что шел он со всех сторон, казалось, зал полон дыма. Было плохо видно, что в очках, что без очков...

В дальнем конце что-то шевелилось.

Артем сидел неподвижно, закутавшись в почти не греющий брезент. Царь, уличив его в обмане, о

чем-то задумался надолго, а потом велел страже отвести его — гостя! — в этот зал, вкусно кормить и заботиться, но наружу не выпускать. Отступники могут попытаться похитить его или даже убить... Артем чувствовал, что заболевает: дышалось тяжело, глаза казались тюбиками, из которых кто-то что-то выдавливает, кожа будто бы высохла и отстала, прикосновения к ней не ощущались. Замерз. Простыл. Слова не имели смысла. За-мерз. За-кон. За-рок. Рок. Кон. Мерз. Мерзавец. Я. Ну и что?

Подумаешь... Он покосился в угол, где продолжалось шевеление. Не звал я их сюда и силком не тащил... Только там, еще почти наверху, роясь в окровавленных вещах, Артем ощутил вдруг невыносимый ужас утраты. Сейчас ему было почти все равно. Будто оброс корой. Надо выбираться, вот и все. Надо выбираться... Он не пошевелился.

Потом он понял природу шевеления в углу. Светящаяся плесень на стене то погасала, то загоралась. Будто кто-то дул на угли. И шорох. Коротко прокатилось что-то тяжелое. Нехотя Артем встал и пошел в ту сторону. Оказалось, страшно далеко.

По-настоящему болела спина. Будто тупой кол вогнали под лопатку. Плесень вспыхнула ярко, и Артем увидел кошку, катающую консервную банку.

Кошка оглянулась, увидела его, шагнула к стене и пропала. Сразу стало темно.

При новом всплеске света обнаружилась решетка в стене. Приличных размеров решетка, из-за которой шел теплый воздух; пахнувший так, как пахнут при соударении два кремня...

Артему понадобился час, чтобы открутить гайки.

— Он пошел за зверем, — доложили Колмаку.

— Я знаю, — сказал царь.

Наконец Краюхин нашел главный рубильник и распределительный щит. Толстый, в руку, кабель шел к нему из-под земли, и десятки тонких уходили вверх и потом в стороны, разбегаясь и теряясь поодиночке. Теперь следовало как-то снять, сорвать, вскрыть заслонку... Краюхин поковырял в замочной скважине теми ключами, что были в карманах, гвоздем — и стал озиаться в поисках какого-нибудь подходящего железа. И в этот момент в туннеле, из которого он пришел и куда не так давно ушли Саломатов, Золтан и спасатель, началась пальба. Краюхина будто парализовало. Усиленные эхом, гремели наперебой короткие умелые очереди, потом совсем рядом взревел пулемет... Под потолком лопнул прожектор,

стекло падало с поразительным звоном. Раз, и два, и три — рванули гранаты. Потом ослепительный шар летящей ППР вырвался из туннеля, мелькнул мимо и лопнул несколько секунд спустя где-то вдали от щита. Огонь заметно ослаб, било три или четыре ствола. Когда он сорвал заслонку, когда вогнал рубильник между клеммами, когда стал перекидывать в верхнее положение все тумблеры подряд, и где-то что-то вспыхивало, шипело, начинало вертеться, — бил уже один автомат. Краюхин перекинул последний тумблер, оглянулся. Было светло. Как в полдень на пляже. Как на съемочной площадке. Как в оранжерее...

И тихо.

Где-то выл, цепляясь крыльчаткой о кожух, вентилятор. Где-то шумно искрило. Не стреляли.

Судорожно сжимая лом, он быстро пошел, почти побежал по туннелю. Вон морда тепловоза...

Рядом с тепловозом стоял, покачиваясь, человек в военной форме и с автоматом в руке.

Краюхин узнал его только шагов с трех — настолько искажено было его лицо. Искажено, неподвижно, перепачкано сажей и кровью.

— Не надо вам туда, Анатолий Михайлович, — сказал человек в форме.

— Саломатов? — дернулся Краюхин. — Что случилось, Андрей Васильевич?

— Все, — сказал Саломатов. — Их больше нет. Не ходите. Я не хочу, чтобы кто-то это видел.

— Андрей! Да что, в конце концов...

— Победитель детей, — сказал Саломатов и вдруг упал, будто бы ломаясь на части еще в падении. Он ткнулся лицом в гравий, и Краюхин увидел длинную черную щепку, торчащую из-под левой лопатки.

Краюхин нагнулся, подобрал автомат, вынул из подсумка последний магазин. Из кобуры достал пистолет и запасную обойму.

Пошел вперед — туда, где что-то грудями, кучами лежало в тени вагонов.

Она вцепилась в Золтана и не отпускала его, не разжимая рук, и он даже неловко оглянулся: молодые офицеры по одному проскальзывали в щель и исчезали в туннеле. Их было пятнадцать, перебравшихся через болото на броне танка. Брызги жидкой грязи, поднятые вентиляторами машины, превратили и офицеров, и все кругом в глиняные фигуры глиняной страны. Митя, спасатель, тихо ругаясь, протирал экран телевизора, стоящего рядом с переносным пультом космической связи. На экране в сотый



раз прокручивали «последние кадры Саши Куницыной» (титрыплыли вниз). Чудовище приподнималось, бросалось вперед...

Золтан, Золтан, говорила она, да что же это творится? Господи, Золтан, как нам быть? Ну, скажи, что всего этого нет, что это мой бред, скажи, я поверю... Ее не слышно было за ревом заходящего на посадку тяжелого армейского вертолета. Ведь это все, Золтан? Детей нет. Надежды нет. Это ведь все, да?

А он стоял, почти пустой и растерянный, и ему нужно было куда-то бежать и хоть что-то делать, чтобы заполнить эту пустоту собственным движением.

Почему на нашу долю все время что-то достается? Мы что, такие скверные люди? Или мы делаем что-то неправильно, или в нас есть какой-то дефект? Почему нам никто и никогда не дает жить спокойно, а когда наказывают, то наказывают до смерти? Я так не хочу больше... Вадик, Вадик, неужели все? Я так хотела, чтобы ты не узнал того, что прокатилось по мне... мальчик мой бедненький...

Вертолет грузно сел, заглушил турбины, вернулись другие звуки. Золтан мягко и нежно отводил и разжимал ее руки. Мне надо идти, шепнул он, там Ветка... Он не понимает, грустно подумала Алиса. Бедные дети. Мы все хотели как лучше...

— Сейчас собак привезут, с собаками мы их быстро найдем, — сказал Золтан, и Алиса поняла, что он сам не верит своим словам. — Мы перетряхнем всю эту нору...

В этот момент началась стрельба.

Пить хотелось нестерпимо, и потому Артему везде чудилась вода. Когда он полз по трубе, то за стенами ее была вода, он это знал, но не мог пробить трубу ни рукой, ни камнем. И потом, когда труба кончилась и пришлось идти босыми ногами по острым горячим камням, он знал, что вода где-то рядом, и надо лишь точно повернуть. А блуждая меж ребристых горячих труб, идущих от земли к потолку, он слышал журчание в трубах, но крана найти так и не сумел. Запах воды бесил, отнимал последние силы, заставлял озираться, потому что вода всегда оказывалась сзади — и исчезала, когда на нее падал взгляд. Иногда делалось совсем темно, иногда — светлее, но ни разу Артем не видел, откуда берется свет. Потом он услышал звук падающих капель. Он пошел на звук и уперся в гору искореженного бетона с торчащей арматурой. Из трещин и щелей доносился этот звук, и не было никакой возможности добраться до воды — но не было сил встать и уйти. «Неуже-

ли вот так и умирают?» — подумал он. Потом он услышал песню. Безумно далеко, гораздо дальше, чем способен услышать человек, несколько голосов тянуло заунывно: «...поскакал на вра-ага, завязалась крова-авая битва...» Артем пополз, раздирая руки и колени, по обломкам, по железным прутьям. Брезент, в который он заворачивался, мертво застрял, и Артем его бросил. Над горой нависал край косой бетонной плиты, и когда Артем проползал в оставшуюся щель, на него посыпалась мокрая холодная земля, здесь и пахло так: мокрой разрытой землей... А через минуту он обеими руками наступил в лужицу.

Напившись — наполнив желудок скользкими не-смешивающимися ледяными глотками-шариками, — он вдруг почувствовал, что куда-то летит. Все кружилось вокруг и призывало лечь на бок. Но Артем вместо этого встал, придерживаясь за шершавый обломок, и потом долго не мог понять, что это такое у него в руках. Звёнело, но и сквозь звон врывалась в уши песня: «...из груди мо-ло-дой...»

И он пошел туда, на песню.

Здесь был светлый берег реки, и несколько человек, сидя в кружок, тянули тонкими голосами: «...из бу-ден-новских войск...» Артем сел рядом и подтя-

нул: «На разведку в поля-а по-ска-ка-ала...» Люди повернули к нему лица с одинаково открытыми ртами. Что-то двигалось под лицами, как движутся под опущенными веками глаза, и это видно. Дяденька, сказал один из обладателей лиц, ты нашу песню не тронь, это мы ее поем. Это наша песня, хотел возмутиться Артем, но у одного из поющих личико вдруг сморщилось и задралось вверх, и из-под него высунулась маленькая ручка, ухватила за подбородок и вернула лицо на место. «Это бело-о-о-о...» Все остальное стало красным, а потом черным. И зеленым. Трава, подумал Артем, я сижу в траве.

Кузнечики неистово скрипели. Палило, как в печи.

— Толя?..

— Да. — После долгой паузы.

— Почему ты не выходишь?

— Я же объяснял. Веду переговоры.

Краюхин отвечал голосом странным и с таким запозданием, будто кабель телефона тянулся через луну. Это походило на сеансы связи с «Порт-Армстронгом» или «Королевым» — Стахов, старший оператор Центра дальней связи РКА, провел их сотни, пока его не сократили за политический радикализм. И вот теперь он даже оглянулся, чтобы убедиться:

нет, это не зал Центра, а старая железнодорожная насыпь перед стальной заслонкой туннеля, уходящего в сердце горы. Вот если здесь, ткнул пальцем под ноги полковник Юлин, рванет бомба в сто пятьдесят килотонн, эта железка выдержит. А ты — взорвать... А лазером — ну, понаделаем дырок, а дальше? Так вот и будем резать, но это на сутки работа... капли горящего железа от струи плазменного резака разлетались вокруг. Четыре заляпанных грязью саперных танка стояли, до половины выбравшись на твердый грунт.

Тучи вроде бы разогнало, дул упругий северный ветер.

— Толя, можно подробнее?

— Нет.

— Дети хотя бы живы?

— Кажется, да. Не мешайте мне, ладно? И вот что, Федор...

— Что?

— Прикажи саперам, чтобы помощнее заминировали вход. Так, чтобы насмерть могло завалить. Герметически. Радиовзрыватель и передатчик мне сюда. Все понял?

— Зачем это, Толя?

— Дурацкий вопрос. Делайте.

Стахов беспомощно посмотрел на полковника.

— Он говорит, что...

— Я слышал, — кивнул полковник. — Наверное, он прав.

Краюхин сунул телефон в карман, вернулся в вагон. Чтобы поговорить, пришлось выйти. Мощность сигнала маленькая... Пенопластовой заглушки на пусковой не было. Много неясного с этим поездом... и много ходило в свое время легенд вокруг них... Он зачерпнул из ведра густую темно-красную термитную пасту и стал обмазывать боеголовку сверху. Конечно, он не собирался взрывать бомбу — это было невозможно сделать. Слишком много всяческих блокировок. Но ее можно разрушить, добраться до плутония...

До одного из самых токсичных веществ в природе.

Железный сурик и алюминиевая краска хранились рядышком, на «разъезде». Просто в углу. Ведерные банки сурика и бидоны с алюминиевой пудрой. Как специально собранные в одно место. Компоненты термита. Оставалось только смешать...

Через два часа здесь будет ад.

Килограммов десять термита в бумажном мешке он пропихнул поглубже к основанию обтекателя.

Потом спустился к тачке, взял две банки, тоже полные термитом, и отнес их к хвосту ракеты — туда, где на стенке направляющей были скобы. Он прибил банки между направляющей и крышей вагона, примотав их толстой проволокой к ферме и надеясь, что пять сантиметров стеклопластика не окажутся слишком серьезным препятствием для потоков пламени в три тысячи градусов...

Когда прогорит направляющая, а потом стенка ракеты, когда вспыхнет горючее, весь туннель превратится в огромную пушку, стреляющую отравленной картечью, — туда, внутрь горы, в этот мерзкий подземный лабиринт. Газов образуется столько, что частички окиси плутония вдавит во все закоулки, во все тупички и укрытия. Никакие двери, шлюзы, фильтры...

Вы нас держали за скот? Который резать и жрать? Вот вам — скот!

Его начинало трясти, когда он думал об этом, и потому он старался не думать вообще ни о чем.

Царь Колмак ощутил прилив беспокойства. Источник его был где-то впереди и сверху, но впереди не в обычном смысле, не перед грудью, а так впереди, что не обойти. И это была не обычная угроза со

стороны ренегатов, и не от банды, и не от Айболита: те ощущались короткими иглами, выступающими из стен. А здесь было похоже на котел с кипящей водой, который наклоняется, наклоняется... Жар этого котла ощущался всей кожей лица. Пока еще далекий жар.

Да, это было там, на верхнем этаже Города, который поглотила Тьма. Люди Тьмы одолели ренегатов, это было хорошо... но угроза возникала для всех.

Сын Наставника дошел до реки. Добрый знак. Колмак хлопнул в ладоши.

— Пусть Куница и пять воинов поднимутся к месту битвы с людьми Тьмы. Я хочу видеть это...

После гибели Петра Петровича Митяй некоторое время просто ничего не понимал. То есть на автопилоте он распоряжался, кого-то куда-то посылал... и, как впоследствии оказалось, распоряжался разумно и посылал куда надо. Потом подошел весь черный Стахов, дал глотнуть коньяка из фляжки и сказал, что спасателям спасибо, но вот теперь полиция и армия этим занялись, так что... Пятачок перед воротами туннеля был полон людей в форме, сиделись и взлетали с большого понтона вертолеты, вот-вот будет готов наплавной мост... Митяй покивал,



усмехнулся чему-то, потрепал Стахова по плечу — и вдруг понял, что Петра нет и никогда уже не будет.

— Да, — сказал он. — Нам пора сваливать.

— Кто же знал, что так обернется... — виновато сказал Стахов.

Нефиг мешать большим дядькам, думал Митяй, глядя на уходящую вниз и назад скалу выветренно-красного цвета. Было досадно. Теперь мы уже только мешаем... Странную серую фигуру на краю обрыва, на светлом мху, он увидел — и долго не мог понять, зачем этот человек в плащ-палатке машет руками. Потом дошло.

— Валера! — Он повернулся к пилоту. — Сможешь подгрести во-он туда? Подобрать того парня?

— Аск, — пожал плечами пилот.

Струей от ротора человека на обрыве едва не сбросило вниз. Плащ-палатка развевалась, как знамя в шквал: то взлетая, то обвиваясь вокруг древка. Пилот опер машину о землю одной лыжей, Митяй распахнул дверцу: садись! Человек забрался в салон. Откинул капюшон. Он был абсолютно лыс, под истонченной кожей голубели вены. Глаза его прикрывали огромные непроницаемые очки.

— Кто у вас тут самый главный? — Голос его звучал неестественно, будто говорил не он, а невидимый чревовещатель. — Отвезите меня к нему.

— А вы кто? — спросил Митяй, хотя уже догадывался кто.

— Зовите меня Айболитом, — сказал человек. — Настоящее мое имя вам знать не надо. Я оттуда, снизу.

— Дети живы? — сразу спросил Митяй.

— Одна девочка. Остальные мертвы.

— Толя. Толя. Отвечай, Толя... — монотонно звал Стахов.

— Я здесь, — бросил Краюхин. — Помолчи.

— Я и так только и делаю, что молчу! Толя, они же тебе врут! Или... или ты мне врешь, Толя? Что ты задумал? Ты же делаешь там что-то, как я сразу не понял...

— Через пять секунд взрываю вход, — сказал Краюхин. — Пять... четыре...

— Не надо! Ты же обратно...

— Два...

— Ветка жива! А твой...

— Один...

Краюхин вдавил кнопку передатчика и широко раскрыл рот. Толкнуло в лицо, ударило по ушам. Вдоль вагона прокатилась волна ударов: сталкивались буфера. Сам взрыв был почти беззвучен: все поглотила скала.

Слышно было, как падают камни.

Краюхин выронил передатчик из рук. Зачем-то наступил каблуком. Почувствовал жалкий хруст.

Все легли, и Стахов тоже лег. Чуть дрогнула земля. Из щелей между скалой и заслонкой вылетело облачко пыли.

Стахов тут же вскочил, машинально отряхивая плащ. Обернулся к Айболиту. Тот стоял, как стол. Презрительно улыбался. Желто-голубая покойничья рожа.

— Как мы можем получить обратно девочку? И тела других детей?

— Тела — нет, — процедил Айболит. — А девочку можно. Я вам ее отдам. Обменяю.

— На что?

— А у вас есть что-то, на что вы ее не обменяете? — Он усмехнулся серыми губами. — Впрочем, это может оказаться ненужным мне... Если какая-нибудь женщина согласится пойти со мной, то девочку я верну. А в придачу помогу очистить подземелье от крыс. Они мне надоели.

— Вы чудовище, — сказал Стахов, помолчав.

— Да? — удивился Айболит. — Кто бы мог подумать...

— Мы прочедем этот подвал и вывернем его наизнанку...

— Их несколько тысяч, и каждый из них там, под землей, стоит пятерых. Они и наверху-то неплохие бойцы... В подземелье тридцать этажей, некоторые туннели тянутся на полсотни километров. Атомная крепость. Вам и через эти-то ворота не пройти, а там такое на каждом шагу. А я включу освещение, и можно будет просто ходить и собирать их, как картошку. В мешки.

— Мы должны посоветоваться, — сказал Стахов. — Решаю здесь не только я...

— Советоваться вы будете в моем присутствии, — сказал Айболит. — И еще: не тяните. Будет плохо, если крысы обнаружат, что меня нет. Я для них Бог, а боги всегда должны быть на месте.

— Какая гарантия, что вы вернете девочку?

— Гарантия? Никакой, естественно. Вы же не требуете гарантий со своих богов. Я беру женщину, возвращаю девочку, потом включаю свет. Потом все зависит от вас. Но меня вы должны будете навсегда оставить в покое...

— То есть вы требуете абсолютного доверия...

— Можете называть это как угодно, — сказал Айболит, ухмыляясь, — а только все будет именно так, как я сказал, и ни на йоту иначе.

— Здесь нечего обсуждать. — Алиса подошла так, что никто не заметил. — Я иду с ним.

— Что? — повернулся Стахов.

— Это шанс. Другого нет.

— Алиса... — беспомощно сказал Золтан.

Она посмотрела на него, как будто видела впер-  
вые в жизни.

— Новую жизнь устроили, — и рассмеялась. —  
Новый, зараза, город. А получилось кладбище с упы-  
рями. Замок с привидениями. Кто же так делает-то,  
а? Думать мозгом надо было...

Глаза у нее были страшные.

— Алиса... — повторил Золтан.

— Ничего, — сказала она. — Так даже и лучше. А  
то от всяких засранцев-моралистов ни житья, ни про-  
ходу. Правда же, Федор Иванович?

— Что? — ошалело спросил тот.

— Каждый умрет, как сможет. — Алиса улыбку  
еще шире, и это была уже не совсем улыбка. —  
Пойдем, дорогой. — Она подала руку Айболиту.

— Давай-ка, любезный, — повернулся Айболит к  
летчику, — отвези нас туда, где взял. И сразу вниз.  
Предупреждаю: чтоб никто не подглядывал за мной,  
ясно? Это в основном к вам относится, полковник.

— Хорошо, — сказал Юлин.

Пять минут назад ему доложили наконец, что система «Аист» дает полную картинку местности.

Айболит галантно пропустил Алису в салон вертолета, сам сел рядом. Летчик забрался в кабину и увидел, как Золтан, пригнувшись, бежит за спинами людей куда-то и возвращается над самой землей, с автоматом в руке, цепляется в стойку лыжи и делает знак пилоту: молчи!.. Видеть его может только летчик и Алиса, если приподнимется и прижмется лицом к стеклу. Но она сидит откинувшись на спинку кресла и смотрит на того невидимого, кто будто бы сидит рядом с пилотом, и оборачивается, и смотрит на нее...

Вертолет взлетел к вершине скалы, завис над краем обрыва, выбирая место, свободное от искривленных и тонких, но все же берез. Золтан лежал, распластавшись, в промоине. Этот гад его не заметит... Он снова коснулся лыжей земли, сделал знак: выходите! Айболит выпрыгнул сам, принял Алису. Захлопнул дверь. Вертолет свечой ушел вверх, развернулся на сто восемьдесят, завис на мгновение и в полувитке спирали исчез над обрывом.

Стало очень тихо.

— Пойдем. — Айболит взял Алису под локоть. — Нужно торопиться.

Солнце стояло высоко, затянутое дымкой. С разорванными краями облака казались синими. За близким лесом начинались поля, потом видны были крыши города, потом — река под обрывом. По обрыву неровной и лохматой черной шерстяной неразрывной нитью тянулся далекий бор. Если идти пешком, то до наступления темноты как раз и можно дойти до этого бора...

— Да, конечно, — сказала Алиса. — Где бы мы были, если бы не торопились?

За время, проведенное в полной темноте, Ветка превратилась в скулящего щенка. Жутко, толчками, болела рука. Хотелось сосредоточиться на боли, но не получалось. Одна, маленькая, заживо погребенная... под толщей земли и камней... Мама, мамочка, мама...

Много маленьких ножек зашлепало по коридору, и Ветка перестала дышать.

Но ножки уверенно нашли дорогу к ее двери, и взвизгнул засов. Нет, сказала Ветка, вставая. Ее схватили за ноги и уронили. Нет! Не-ет!!! Жесткое и вонючее закрыло ей рот. Она билась насмерть. Потом устала. Ее держали за ноги, за плечи, за голову... Ее уже тысячу раз могли бы убить, но не убивали.

— Ты из тех, сверху, — сказал кто-то на ухо детским голосом. — Ты умеешь лечить?

— Что?

— Ты знаешь лекарства? Доктор ушел, нам нужно взять то, что нужно взять. И не брать того, что не нужно. Понимаешь?

— Да. Только я не знаю... где что лежит...

— Мы покажем.

— А кто болеет? И чем?

— Верхний человек. Он весь горячий. Говорит во сне.

— Да. Я знаю, что нужно взять. Где все это лежит?

— Пойдем. Мы проводим тебя в комнату и оставим, и ты сможешь напустить полную комнату тьмы.

— Ведите, — сказала Ветка. — А потом проводите меня к тому человеку, хорошо?

— Плохо. Доктор увидит, что тебя нет, и рассердится. Накажет.

— Я быстро посмотрю и вернусь. Он не узнает.

Золтан прыгнул неудачно... То есть он попал, куда хотел, но оказалось, что целился он не туда. Промоина была слишком крутая, градусов сорок пять, и после дождя еще совершенно не просыхая. Песок и щебень, наполнявшие ее, тихонько плыли



к обрыву под собственной тяжестью и под тяжестью тела Золтана, и всякая попытка за что-то ухватиться, как-то помешать этому сплыванию приводила лишь к продвижению вниз на дополнительный десяток сантиметров.

Он осторожно посмотрел сначала через левое, потом через правое плечо. Никаких корней, никаких прочно сидящих обломков. Если бы в руках был ледоруб, а не тупой автомат... Он все-таки попытался воткнуть ствол в сыпучку — бесполезно. Плывет, и все.

До края осталось чуть больше метра, наклон увеличился. Золтана охватило нечеловеческое спокойствие. Не закричать, подумал он. Падать молча. Как камень.

Он воевал, и прятался от башибузуков, и замерзал, и лежал на дороге под бомбами — и никогда не чувствовал ничего похожего. Тогда был страх, ярость, желание жить. Сейчас будто бы миг смерти уже позади...

Сзади обрушился целый пласт, и ноги потеряли опору. И вдруг пронзительной любовью ко всему и ко всем переполнило душу. Он чуть не закричал, но не от страха, а от опаляющего счастья. Не закричал

и, заскользив быстро, быстрее, быстрее, начал свое долгое падение.

Айболит и Алиса удалились от края обрыва метров на сто пятьдесят и поэтому ничего не слышали.

На экране пульта телеразведчика видно было, как они идут, как спускаются в заросшую густым кустарником лошину — и вдруг исчезают в ней, и даже тепла тел не ощущают приборы...

Краюхин посмотрел на часы. Было без двух минут восемь. Успел к назначенному самим себе сроку. Ничего не ждем. Он поднялся в первый вагон, поднес огонек зажигалки к осветительной ракете, воткнутой в густое термитное тесто вокруг боеголовки. Сейчас все это загорится, и через полминуты лопнут от жара шнурочки, удерживающие предохранительные скобы гранат, вбитых снизу. Хорошо, что он вспомнил про гранаты, а то черт его знает: вдруг не прогорит керамическая термозащитная рубашка? А так все вдребезги, и беззащитное нутро открыто пылающему железу...

Ослепительно вспыхнул магний, Краюхин зажмурился и отшатнулся. Бросился к хвостовой части ракеты. Забрался по скобам наверх, поджег запал. Здесь тоже модификация первоначального

плана: приспособил ручной гранатомет, были они у двоих... Даже если направляющая не прогорит, ее пробьет кумулятивной струей.

Вскочил в заднюю дверь вагона и не понял, что происходит. Решил: ослеп от магния. Но нет, сзади горело, и отсвет пламени с его силуэтом лежал на стене...

Просто кто-то погасил свет.

Ему прыгнули на спину сверху, с крыши вагона. С силой запрокинули голову назад и перегрызли горло.

Артем раскинулся в жару и бреду. Ветка потребовала воды, и принесли воду в стеклянной бутылке. Она просунула горлышко бутылки между губ, вода попала в рот, и Артем закашлялся и попытался приподняться. Островки сознания у него еще жили. Он выпил почти все, и его тут же вырвало. Ветка знала, что так и должно быть, держала Артема за плечи, подземников вновь погнала за водой...

После этого он ненадолго пришел в себя.

— Ветка... — сказал он, озираясь и ощупывая свое лицо. — Ветка, уходить надо...

Потом он увидел свечу и уставился на нее.

— Огонь, — сказал он. — Везде огонь... Везде огонь! — хрипло вскрикнул он и откинулся без сил. — Ветка, уходить надо, уходить...

Во второй бутылке она размешала шипучий аспирин и витаминный сироп, дала отпить несколько глотков. Потом набрала в большой шприц два флакона метрагила, легко нашла вену и стала вводить лекарство. Старый Шиян по прозвищу Акула научил Ветку попадать в любую вену и в любых условиях, когда ей было еще восемь лет. Они жили в соседних палатках, у Шияна было три с половиной пальца на обеих руках и множество осколков во всем теле. Он был полковым врачом на той войне. Когда шел очередной осколок и не было уже сил терпеть, он звал ее...

— Уходить надо, — тихо, но отчетливо сказал Артем, пытаясь подняться; Ветка прижала его руку к земле, ввела до конца то, что оставалось в шприце; выдернула иглу, согнула безвольную руку в локте. — Уходить... надо...

— Уйдем, — сказала Ветка. — Конечно, уйдем.

Первый доклад от агента-наблюдателя Марии Шелухиной лег на стол начальника спецотдела «Кадр» Главного управления контрразведки полков-

---

ника Коренева в восемь часов сорок пять минут санкт-петербургского времени; в Леонидополе было двенадцать сорок пять. В течение дня доклад обрстал деталями совершенно невероятными, и компьютерный анализ давал не более двенадцати процентов вероятности. Но потом пришел телесюжет, а чуть позже — данные по архивам. Аналитики и интерполяторы из «Эха-2» дали заключение, что в семидесятых — восьмидесятых годах прошлого столетия имели место генно-инженерные эксперименты над человеческой плазмой — именно на территории Петровска-69. В девяносто седьмом году были уничтожены как сама лаборатория, так и вся документация. Возможно, что уничтожение лаборатории проведено было не слишком тщательно... А к четырем часам дня поисковая программа набрела на след еще одного эксцесса тех же бурных лет: с боевого дежурства был снят, но на пункт демилитаризации не прибыл «стратегический поезд», состав с четырьмя пусковыми установками МБР «Тополь». Позднейшие рапорты и заключения комиссий отрицали факт исчезновения, назывались виновники дезинформации... но зацепка оставалась. Кореневу и раньше приходилось копаться в подобных делах: исчезали якобы проданные на лом эсминцы и подлодки,

истребители и штурмовики; счет танков не сходился на сотни единиц, боеприпасов — на тысячи вагонов. Все это потом где-то всплывало, взлетало, взрывалось... И тогда были рапорты и заключения комиссий, отрицавшие саму возможность исчезновения чего-либо. В армии на учете даже пуговицы, что вы, что вы!..

Ракеты «Тополь». Четыре штуки. С боеголовками по шесть мегатонн...

Исчезли где-то на линии Решетнево — Саяногорск.

То есть, вполне возможно, что и в Петровске-69. Там ракеты снаряжали боеголовками, туда же могли и загнать для каких-то нужд...

А раз так, то в первую очередь предположим, что весь шабаш есть не что иное, как внешние проявления некоей операции, затеянной то ли леваками, то ли фашистами, то ли религиозными фанатиками, и направленной на захват и использование этих самых боеголовок...

И Коренев пожалел — в который за сегодня раз! — что в свое время не позволил разместить в Леонидополе следящие видеодатчики. Эти кибуцники-фурьеристы показались ему людьми тихими, мирными, слом-

ленными и обреченными. Пусть тихо поживут, сколько могут...

Основной задачей спецотдела «Кадр» было наблюдение — гласное и негласное — за различными социальными и религиозными изолятами, которые, как известно, являются особо питательной средой для вызревания самых беспощадных идеологий.

В шестнадцать двадцать две по столичному времени спецгруппа «Орион» (борьба с терроризмом, обезвреживание объектов повышенной опасности, освобождение заложников) вылетела с авиабазы «Енисейск-15». Сообщение о взрыве в туннеле застало их в воздухе...

Воздух, до этого неподвижный, вдруг ударил в лицо. Захлопали двери, что-то упало и разбилось со звоном. Ветка вскочила. Уши начало давить, как на глубине. Артем закричал и сел. Подземники метались, визжа. По камню дошел тугой подземный удар, отдался в коленях. Все шаталось. Потом почему-то даже в Артемовых очках стало ничего не видно. Ветка подумала — пыль, но, взглянув на потолок, не увидела нежного свечения светодиода. Что-то случилось. Мир подземных жителей провалился в полную темноту. В подлинную Тьму.

\* \* \*

Краюхин рассчитал все точно, и лишь случайность, граничащая с чудом, несколько сбила его план. Осветительная ракета, которую он использовал в качестве воспламенителя для термита, горела долго, и когда термитный заряд над хвостовой частью «Тополя» уже воспламенился, все еще продолжала гореть. Вспышка термита отбросила ее чуть вбок, и в последний миг догорающий столбик прессованной магниевой стружки пережег нить, удерживающую спусковой крючок гранатомета. Выстрел и взрыв гранаты произошли почти одновременно, и сорок граммов обращенного в плазму циркония иглой прошли сквозь стеклопластик направляющей, сквозь титан и керамику ракетной ступени, сквозь толщу горючего (испаряя и поджигая его) — вплоть до центрального канала двигателя, наполненного воспламеняющим составом. Это было равносильно срабатыванию стартовых патронов, если не считать того, что площадь горения была больше штатной (из-за пробитого кумулятивной струей канала), а отток газов через дюзы затруднен. Ракета выдвинулась на полтора метра, сбросив с боеголовки горящий термит и расшвыряв гранаты, которые взорвались, но



уже на некотором удалении от обтекателя, что хотя и привело к разгерметизации боеголовки, но plutоний, заключенный в вольфрамовую капсулу, так и не обрел контакта с внешней средой...

Взорвались сами ступени. Уже через две секунды после выстрела гранатомета давлением истекающих газов разорвало направляющую, потом вагон. Потом вдоль, как консервная банка по шву, вскрылась первая ступень. Локальное давление в туннеле подскочило до пятисот атмосфер. Шесть вагонов, стоящих ближе к воротам, бросило туда, на завал, на скалы и сталь, и смяло в гармошку. Еще одна пусковая переломилась, как сигарета, заряд ракеты вспыхнул, добавив почти миллион кубометров пламени в течение следующих пяти минут. Восемь вагонов с тепловозом, направленные вглубь, в сторону «разъезда», оказались пулей в стволе. Несмотря на мертвую хватку тормозов, скорость состава на срезе туннеля — там, где он открывался в обширный зал, — составила восемьдесят метров в секунду и продолжала нарастать, поскольку двигатели третьей ступени (вторая взорвалась и отделилась) мертво застрявшего в остовах вагона «Тополя» работали штатно. Пролетев «разъезд», поезд-ракета скрылся в следующем туннеле и через три секунды врезался в бетонную стену.

Проломив ее (от столкновения две оставшиеся ракеты деформировались и вспыхнули), поезд многотонной грудой стали на скорости сто метров в секунду врезался в плотину подземного водохранилища и, проломив ее и изменив траекторию, устремился по наклонному туннелю водовода прямо в машинный зал электростанции.

Это было равносильно залпу всех орудий всех кораблей, сошедшихся сто двенадцать лет назад в Цусимском проливе — в одну точку, в упор...

Свечу, которую нес Айболит, задуло. Он вынужден был выпустить руку Алисы, и она послушно ждала, когда он огромной вонючей зажигалкой затеплит свечу вновь. Тянуло по ногам, временами будто мягкие мышцы касались щиколоток, ощутимые сквозь тонкую резину сапог. Свеча мерцала и металась. Ладонь Айболита просвечивала, но не розовым, а желтым.

— Боялся, ты убежишь, — проскрипел Айболит. — А ты нет. Не убежала. Дочка твоя? Сестра?

— Сестра, — сказала Алиса. Зачем уточнять?..

— Понятно, — сказал Айболит. — За чужую-то какая дура пойдет...

«Ты сволочь, — подумала Алиса. — Тебе не жить, понял, старая ты сволочь? Тебе не жить...»

Чтобы успокоиться, она стала представлять себе, как будет убивать этого козла. Наверняка и без лишней жестокости. Просто убить, и все. Как таракана.

Грубый чудовищный рык, приглушенный камнем, доносился отовсюду.

Царь Колмак созвал народ. Они прибежали и ложились перед ним, пряча лица. Он смотрел поверх. Солдаты ходили вдоль стен, собирая на копья, обмотанные тряпьем, росистую тьму. Без нее, как ни крути, ничего не увидеть в этом мире... Мальчик, наделенный Зрением, был сейчас почти на самом верху и двигался к миру Тьмы. Это был знак. Нельзя противиться судьбе. Время пришло. Царь готовился к этому мигу всю жизнь, но вот ждал знака, не мог начать...

— Люди, — сказал он и откашлялся. — Люди Света, мои люди. Час пробил. Предначертание должно исполниться. Последняя битва, битва сил Света против армии Тьмы началась!..

Обломки состава и электростанции плотно запечатали отводящий канал подземного потока. С этой

минуты подземный город был обречен, но потребуются еще около года, чтобы все его бесконечные помещения оказались затоплены водой...

Остро воняло горелой резиной. Из узкой отдушины над полом била струя горячего дыма. Впереди кричали, будто сгорая заживо. Ветка шла, не останавливаясь, свеча трещала в руке, да подземники позади вдруг замолкли и шлепали босыми ножками часто-часто, Артем на плечах у них стонал и несвязно говорил что-то, потом вдруг объявил: «Пустите! Пойду сам!» — но сам смог пройти шагов сто, и его вновь взвалили на плечи и понесли, шумно дышащего. Ветка не оборачивалась. Она и так знала, что все больше и больше подземников идут за ней, идут в каком-то торжественном трансе...

Оператор «Аиста» засек на инфракрасном экране восемь температурных аномалий — восемь столбов горячего воздуха, выходящего из подземных помещений. В эти места тут же отправились поисковые группы.

Стахов видел, как побледнел полковник Юлин, прочитав шифровку из штаба. Как он огляделся по сторонам почти беспомощно. Ворота, красная скала, серая глина — все было в полосах и пятнах жир-

ной копоты. Трое офицеров попали под удар пламени, прорвавшегося сквозь завал. Их только что вертолетом отправили в госпиталь.

— Что-то новое? — спросил Стахов.

— Да, — с трудом сказал Юлин. — Скорее всего там, — он кивнул на туннель, — была ракетная батарея. И ваш... товарищ... ее взорвал.

— Так. И... что?

— Четыре термоядерные боеголовки. Если произошла утечка плутония...

Это Стахов понимал.

— Надо немедленно эвакуировать...

— Да, — полковник усмехнулся. — Просто если утечка произошла, то нам с вами эвакуироваться поздно.

— Видимо, Краюхин как-то узнал, что дети мертвы. И решил отомстить...

— Я так и подумал, что этот мерзавец врет. — Полковник кивнул вверх и в сторону горы. — Не следовало, наверное...

— Алиса с ним справится, — сказал Стахов. — Она через такое прошла, вы и представить себе не можете.

— Ну почему же, — сказал полковник, — могу.

\* \* \*

О том, что этот туннель существует, знал только Колмак. И только он знал, как его открыть. Еще, конечно, Доктор. Но сейчас он был не в счет. Колмак бежал впереди всех, вода журчала под ногами, догоняя. Следом бежали солдаты, за солдатами — женщины и дети. Весь его народ бежал молча, зная, что бежать придется долго, ничего не видя в ровном сплошном свете. Редко-редко пятна росистой тьмы дрожали на стенах.

Конвертоплан Су-208 с группой «Орион» на борту ходил кругами над местом инцидента. Тарас Пархоменко, командир группы, держал связь одновременно с Петербургом, со штабом близлежащей армейской дивизии и с руководством спасательными работами на месте. После взрыва в туннеле необходимость в специалистах класса «Орион» вроде бы как отпала — угроза захвата террористами ядерного оружия перестала быть даже гипотетической. Тем не менее он все не решался отдать приказ о возвращении: странные существа, запечатленные телекамерой, могли оказаться куда большей опасностью, чем левaki, вооруженные нейтронными фугасами.

— Гаттаров, Бёргер, Яшко, — назвал он командиров штурмовых групп. — Давайте вниз, парни. Перекройте лаз, которым ушел Айболит с заложницей. Активных действий пока не вести, внутрь не лезть.

Сорок секунд спустя три десантные капсулы скользнули вниз.

— Бесик, — сказал Пархоменко пилоту. — Ты нас посадишь вон там, на насыпи.

— Тарас Андреевич... — жалобно пропел пилот.

— Нэ спорь, малтшик.

Айболит ухмыльнулся:

— Вот это встреча! Не ждали, зайчики?

Подземники сгрудились сзади, неразборчиво пищали. Ветка снова почувствовала, как болит рука. Огромный воспалившийся зуб вместо локтя... Артем стоял рядом, шатаясь.

— С дороги, — сказал он вдруг незнакомым голосом. — Это наша земля.

— Что?! — весело изумился Айболит. — Похоже, меня слишком долго не было с вами.

— Ты уже ничего не можешь, — сказал Артем. — Тебе не под силу открыть ворота тьмы. Ты — ложный бог.

— А это мы сейчас узнаем, — сказал Айболит и вынул из-за спины огромный пистолет...

Алиса будто сквозь сон смотрела долгий скучный фильм. Кто-то куда-то идет: низкие потолки, тусклый отсвет на стенах. Встреча, разговор. Плоско и равнодушно...

Проснулась она мгновенно. Перед ней в двух шагах стояли Иветта и Артем! Артем почти голый, грязный, взлохмаченный. Иветта в каком-то брезенте, из-под полы нелепо торчит загипсованная рука... За ними, в полной почти темноте, угадывается шевеление. Свеча в руке Айболита, свеча в руке Ветки. Ослепительный свет... И вдруг Айболит отпускает ее руку и достает из-за пояса ракетницу! Пять минут назад Алиса видела это в деле... вот что ее отключило, вогнало в ступор... как они кричали, как они кричали, выцарапывая себе глаза, бросаясь на стены...

— Дети! — закричала она. — Это же дети!!! — и бросилась вперед, и повисла на руке с ракетницей, сгибая ее вниз, выкручивая... впилась зубами в восковое запястье... Свеча погасла, погасла вторая... нет, лицо Ветки мелькнуло туманным пятном...



Будто лошадь лягнула ее в живот, и все исчезло в огненной волне боли. Алиса попыталась за что-то уцепиться, но руки соскользнули...

— Убейте его! — крикнул Артем, падая вперед.

Подземники шли вслепую. Алиса лежала под стеной, фонтан искр бил из ее тела, и она будто бы пыталась зажать его руками. Айболит сам был ослеплен: тряс головой, словно освобождаясь от капюшона. Потом он шагнул и уперся в стену. Кто-то с хрюканьем вцепился ему в ногу, кто-то повис на плечах. Мелькнул нож, еще нож... Айболит закричал тонко, упал. Над ним сомкнулись.

Последние прожектора установили уже после захода солнца. В городе ввели патрулирование: полиция, офицеры дивизии, вооруженные горожане хмуро бродили по улицам. Всех, живших на окраинах, срочно переселили в центральные квартиры. Детей не было ни видно, ни слышно.

Артем то приходил в себя, то проваливался под твердый горячий лед. Плачущая Ветка... красная крепостная стена, с которой он валится, валится... Вет-

ка поит его чем-то, еще укол... это не шприц, это огромный петух с железным хоботком, глаз рубинов и зол, крылья делают мах, и мах, и мах! Взлетает, вытягивается стрелой и пропадает в небе... здесь узкая труба, и надо ползти самому, да, смогу, конечно, смогу... холод и вонь. Ах, как они шли /за ним, как они верили ему...

— Да, конечно. — Юлин сделал шаг в сторону, как бы уступая командное место. И Пархоменко слегка позавидовал ему, и тут же завидовать стало некогда...

— Тарас Андреевич! — взревело в наушниках. — Идут! Видим и слышим! Идут! Много!

— Далеко?

— Метров сто осталось... Так, стоят, говорят что-то... не пойму... нет, не пойму. А воняет-то как оттуда!

— Спокойно, Ахмед. Сейчас подойдут вертолеты.

— Что делать, если полезут? Стрелять?

— По обстановке. Я отвечаю за все.

— Тарас Андреевич!

— Ну?

— Они люди? Или не люди?

\* \* \*

— Стойте... — Артем опять встал на ноги. Его держали под локти, за плечи. — Стойте. Туда нам нельзя... И оставаться нельзя. Ничего нельзя... — Он засмеялся. — Ничего себе, попали. Ветка, ты им скажи, у меня мозги заклинило. Ведь перестреляют же всех...

— За что? — сказала Ветка. — Никого не тронут. Мы скажем, что это другие. Не те, которые... а другие. Так мы скажем.

— Думаешь, ты хитрая? — снова засмеялся Артем. — Они же и правда другие. Ты не знала? А, ты же их не слышишь... Эй, люди! — крикнул он и тут же сорвал голос. — Идем... наверх. Только кому мы там, в жопу, нужны?

Ветка почувствовала вдруг, что жидкий холод наполняет ее грудь. Не просто страх, что-то более основательное, долгое, пожизненное. Будто перед предательством, подумала она. Подземники стояли молча и смотрели из-под рук. Она прикрывала пламя свечи здоровой рукой, но и это было для них чересчур ярко. Как они будут под небом?..

Их действительно никто не ждет, поняла она с ужасом. Артем прав. Никто не будет знать, что с ними делать. Я их выведу, а там...

Но и оставаться они не могут. Их дом горит...

Вернуться вниз, подумала она. Помочь им, чем можно. Доктор жил с ними...

Нет. Я не смогу.

— Идемте, — сказала она с усилием.

Стало еще холоднее.

Вот она, эта дверь... Колмак сам налег на ржавый штурвал — он подался со скрежетом. Солдаты подобострастно оттеснили своего царя, закрутили колесо. Створки двери начали медленно расходиться. С той стороны посыпалась труха. Стало лучше видно: за дверью все стены были покрыты росистой тьмой. Гулкие железные лестницы вели вверх, десятки лестничных пролетов. Колмак шел первым. Ржа съела металл наполовину, но он своим видением проникал в суть железа и знал, что оставшееся выдержит. Где-то далеко шел мальчик. Колмак не переставал его чувствовать с тех самых пор, как увидел впервые. И чувствовал все сильнее... Мальчик подходил к другому выходу и вел за собой часть народа, и это было знамением.

На верхних этажах чувствовалось чужое угрожающее присутствие. Колмак потянул носом воздух и рассмеялся. Два десятка молодых мужчин, не по-

желавших быть воинами. Банда. Бежавшая от всяческой власти. Не хотелось оставлять их, но не хотелось и останавливаться. Он чувствовал их, забившихся в углы и тупики. Никто не устоит перед солдатами царя.

Никто.

Ветка выбралась первой — и задохнулась от воздуха и слез. Свеча погасла в ее руке, и горячий парафин полился на одеревеневшие пальцы. Черные листья шелестели вокруг, черная трава стояла до плеч, пахло дождем. Ветку тихонько толкали, обходя. Потом рядом оказался Артем, обхватил ее за плечи, почти повис.

— Вышли, — сказал он. — Вышли, да?

Подземники все прибывали. Сколько же их, подумала Ветка. Боль снова стала что-то значить. «Сейчас мне помогут, — подумала она, — сейчас сделают что-то. И всем-всем помогут. Это же наши. Наши».

В следующий миг тьма стала светом. Ярче солнца огненный круг вспыхнул перед лицом. Ветка закричала, и все вокруг тоже закричали. Треск, будто ломались связки сухих прутьев, был нестрашен, и удары над головой, от которых вниз сыпались листья, ветки, вершины деревцев, тоже были нестраш-

ными. А страшен был крик. Ветка не вышла из ослепления, но как-то сбоку вдруг увидела на миг сверкающий стеклянно-стальной скелет доисторического чудовища, который рос, поворачивался боком, потом пастью... блики и языки пламени плясали на нем, огненный круг над хребтом вспыхивал и гас...

— Ветка, ложись! — издалека вторгся голос Артема. — Ложи-ись!!!

— Да что же это? — вслух изумилась Ветка. — Уберите же все!

Маленький подземник вдруг молча ткнулся ей в живот и замер, дрожа. Ветка обхватила его здоровой рукой, шагнула вперед, шагнула тяжело, волоча и себя, и его, маленького, но тяжелого, и вдруг повалилась на спину, так он ее толкнул... эй, ты что? — подземник дергался и мычал, а потом вдруг стал мягким, Ветка с трудом выбралась из-под него, рука утонула в горячем. Весь его бок был сплошная рана.

Ветка стояла на коленях.

— Что вы делаете? — кричала она.

В гуле и грохоте не было слышно людей. Сквозь лиловые пятна проступали лица. Вертолеты ходили по головам. Ветка поднялась. Расставила руки сломанным крестом. Живые и убитые лежали у ее ног вперемешку.

— Не смейте стрелять! — кричала она. — Не смейте стрелять! Не смейте...

Артем поднялся перед нею. Так они и стояли, а навстречу им шипели прожектора и опасно приближались одинаково истонченные светом люди...

Царь Колмак вышел из лаза первым. Солдаты — за ним. И он, и многие из солдат впервые ступали в верхний мир, но он прекрасно знал, что именно встретит здесь. Солдаты тройками растекались по сторонам и исчезали между домами. Великая битва Света с Тьмой начиналась...

«Вас больше, — подумал Колмак. — Вас всего-навсего больше...»

— Я, наверное, останусь, — сказала Хелен Хью Григоровичу. — Кому-то надо остаться, и лучше, если это буду я. Мы еще не сталкивались ни с чем, подобным этому...

— Мне, собственно, тоже не обязательно улетать, — пожал плечами Григорович. — Доклад можно переслать по мэйлу. Тем более, как я понимаю, прежняя наша миссия уже неактуальна.

— Пожалуй, — согласилась Хелен Хью. За стеклом салона вертолета светились окна домов, про-

жектора на краю летного поля, высокие фонари на каких-то башнях. Город был иллюминирован, как для праздника. — Я никогда не чувствовала себя менее готовой к принятию решений...

— Придется создавать какие-то лагеря для них, какие-то обиталища. А потом? В сущности, это вторая разумная раса на Земле. Хоть и созданная искусственно. Разумная и враждебная человечеству. Или я не прав?

— Не знаю, — сказала Хелен Хью. — По первому впечатлению мне показалось, надо их всех немедленно уничтожить. Вы никому не скажете о моем первом впечатлении, Максим?... Смотрите-ка! — Она приподнялась.

Погасли окна в одном доме. Потом в другом, в третьем...

— Ух ты... — прошептал охранник, стоящий у открытой двери. Он попятился и сел, обхватив живот.

— Пилот, взлет! — крикнул Григорович.

Оглушительный удар в борт. Молочно-белым от трещин стало вдруг стекло.

Охранник лег, перебрал ногами и вытянулся.

С натугой завывли турбины. Медленно-медленно начал раскручиваться винт.



Две серые тени беззвучно скользнули в салон. В черно-зеркальных очках одного Хелен Хью увидела свое отражение...

Ветке сделали укол, потом еще укол, и теперь она смотрела на мир, как из аквариума, полного годной для дыхания воды. Ее перенесли в вертолет, и вертолет тоже был аквариумом, потому что весь был из стекла, и даже пол под ногами был стеклянный. Ее пытались положить, как Артема, но лежать она почему-то не могла. Все качнулось и поплыло назад, ей дали телефон, мама плакала, все обойдется, прости меня, Ветка не могла говорить, язык был восковой. Внизу плыли огни, город сиял. Потянулась гирлянда шоссе. Город оставался позади, Ветка смотрела на него и не могла оторваться. В горле встал ком. Огни города гасли, гасли, гасли, как угли костра, заливаемые ночным дождем.

*1986, 1994*

# СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РИНЬ

*Победивший наследует все...*

Откровение Иоанна Богослова

**У**бран стол был богато, но безвкусно: телефонный аппарат литого червонного золота с отделкой из темного саозского камня — личный подарок Императора О, золотой письменный прибор с фигурой Георгия Победоносца, пронзающего копьем нечто среднее между бизоном и крокодилом, пресс-папье из разрезанного вдоль большой оптической оси кристалла голубого нордита с вплавленным в него макетом Московского Кремля, платиновые часы в виде Спасской башни, платиновая же зажигалка — миниатюрная копия памятника Минину и Пожарскому, и, наконец, огромного размера механический календарь с барельефными портретами Императора Всероссийского Александра Петровича и царицы Елизаветы Филипповны. Календарь был двойной: земной и местный. На Земле сегодня

было шестнадцатое мая 2147 года. Здесь: одиннадцатый день месяца Ринь, года династии О четыреста шестьдесят шестого. И там, и здесь заканчивалась весна.

Телефон мягко мурлыкнул. Юл подвинул поближе микрофон и взял наушник.

— Слушаю вас внимательно, — сказал он на Понго.

— Пшхардоссу, — сказали на том конце провода на Понго, но с совершенно рязанским акцентом. — Хильдастро во Руссо-кха птрох?

— Вполне, — сказал Юл по-русски.

— Здравствуйте, — с облегчением вздохнули там. — Это единственная фраза, которую мне удалось запомнить. Я — Петров, я только что прилетел, и мне сказали в порту, чтобы я позвонил в российское представительство третьему секретарю, и дали этот номер...

— Их нет никого сейчас, — сказал Юл. — Я вот сижу, жду.

— А вы, простите?..

— Я переводчик. Седых. Юлий Седых.

— Ага... То есть в чем дело, вы не знаете?

— Вроде бы нет... А вообще — кто вы?

— Ну, как сказать — я биохимик, а командирован Этнографическим обществом Мельбурна...

— Так вы не россиянин?

— Нет. Поэтому я и удивился...

— Я понял. Вспомнил. Вам нужен Филдинг?

— Да, и я...

— Слушайте, я вам все объясню. Филдинг и вся его группа сейчас в поле, километрах в ста отсюда. С тем пунктом очень плохое сообщение, но сегодня туда идет грузовик — отсюда, из представительства. Через два часа. В порту вас ждет машина из посольства, но вы скажите водителю, чтобы он вез вас не в посольство, а сюда — иначе не успеете. У вас большой багаж?

— Ну... лаборатория. Из одежды кое-что...

— В легковую машину поместится?

— Да конечно же. Это сумка и портфель.

— Понятно. Я вас тут встречу. Может сложиться так, что к Филдингу мы поедем вместе. До скорого.

— Спасибо.

— Ну, что вы.

Петров дал отбой, и Юл попытался по телефону дозвониться до посольства — бесполезно, телефонная связь в столице была из рук вон. Тогда он вызвал научного атташе по «жучку» — микроимпульсной рации. Специальным договором с Императором О работникам посольства, торговых представительств, представительств Российской Империи и

прочим землянам запрещалось использование технических средств, превосходящих здешний уровень. Контрразведка бдительно следила за этим. Но засекать миллисекундные радиоимпульсы было пока не в ее силах.

— Привет, Бад, — сказал Юл, переходя на английский. — Как дела? Мне только что позвонил Петров, биохимик, которого вызвал Филдинг. Я сказал ему, чтобы он сразу, не заезжая в посольство, ехал сюда. Я правильно сделал?

— Правильно, — сказал атташе. — Передай ему, что я очень рассчитываю на встречу в скором будущем.

— Что нового о здоровье Кэт?

— Подтвердилось, — вздохнул атташе. — Итак, Юл, мне очень жаль, но тебе придется поехать туда.

— Так я и думал.

— Ты ни в чем не нуждаешься?

— У меня все с собой, как у доброго паломника.

— Хорошо. Как это по-русски: желаю удачи?

— Именно так, черный. Спасибо. Надеюсь, скоро увидимся.

— Надеюсь, червяк. Счастливой дороги.

Юл поиграл своим «жучком», разглядывая его, будто видел впервые в жизни. «Жучок» был выпол-

нен в виде брелока для ключей: маленький зеленый крокодилчик. Почему-то рассыпались мысли, и собрать их пока не удавалось. То, что надо ехать, неожиданностью не оказалось. Отдохнуть от грязного, шумного, душного даже весной города — тоже неплохо. Предстоящая встреча с отцом Александром? Неприятно, конечно, видеть человека, которого ты взял и незаслуженно обидел — обидел сильно и зло... впрочем, не так уж и незаслуженно... Нет, Юл, сказал он сам себе, это не важно, отождествляет ли человек себя со своим государством или нет — важно, чтобы ты его не отождествлял. И если отец Александр полагает себя ответственным за бытие Православной Российской Империи, то это вовсе не значит, что он действительно в ответе за все, что там происходит... Нет, не только это. Что-то еще не позволяло с легкой душой забраться в огромную кабину грузовика и отправиться на встречу с природой, в окрестности Долины Священных Рощ Игрикхо. Юл сунул крокодилчика в карман. Разберемся по ходу дела...

С мягким жужжанием откатилась дверь, и появился священник отец Дионисий, хозяин кабинета, тот самый третий секретарь представительства,

которому должен был позвонить австралиец Петров. В задумчивости остановился он на пороге, не решив еще, видимо: входить в кабинет или отправляться дальше по каким-то своим секретарским делам. Отец Дионисий был красив, как онейроп. Возможно, он был вообще самым красивым мужчиной, которого Юл видел в реальной действительности. Был он также умен, и ходили слухи о его трениях с архиепископом. Сейчас он смотрел на Юла в упор — и не видел его.

— Здравствуйте, Павел Андреевич, — напомнил о себе Юл.

— Ох, извините, Юлий Владимирович, — вернулся к действительности отец Дионисий. — Здравствуйте! Смотрю на вас и не вижу...

— Есть проблемы?

— Проблемы... проблемы — это слишком мягко сказано... Игриkho продолжают свое. Трех младенцев украли даже в столице...

— За сто километров? — не поверил Юл.

— Для них это ночь пути. Двух девочек и мальчика. Мальчика не успели даже окрестить... И — ничего не сделать...

— Вспомните — четыре года назад...

— Не совсем... не совсем так... четыре года назад... — Он замолчал, нахмурившись, прислушиваясь к чему-то в себе, но Юл знал, чего он не договорил.

Четыре года назад не было «Купели».

— Да, Павел Андреевич, — сказал Юл, — что там с моим делом?

— Вы уж извините — не получилось у меня ничего. Не позволили. Даже слушать не стали. Вы же их знаете — иной раз упрутся...

— Когда-нибудь я просто вырою подкоп под библиотеку, — сказал Юл. — И тем самым открою себе неограниченный абонемент. Вы не знаете — там полы деревянные или каменные?

— Надеюсь, что вы шутите, — сказал отец Дионисий.

— В каждой шутке есть доля шутки... — проворчал Юл. — А если попробовать прямо сказать, что это необходимо для того, чтобы разобраться с проблемой студентов?

— Именно так я и поступил, — сказал отец Дионисий.

— А нельзя ли... мм... попросить архиепископа?..

— Попросить? Попросить можно... — Отец Дионисий не то усмехнулся, не то поморщился. — Вы



не обидитесь, если я прямо скажу, что Его Преосвященство никогда не станет хлопотать за нехристя, да еще по фамилии Седых?

— А вас это не смущает — и фамилия, и что нехристь?

— Это моя работа — общаться с иностранцами. Кроме того... кроме того, я понимаю, что за месяц работы в книгохранилище мы узнаем больше, чем за все годы нашего пребывания тут.

— Так, значит, я могу рассчитывать на вас?

— Я сделаю все возможное. Но вы же знаете — с повторной просьбой можно обращаться только после следующего пустого дня.

— Когда им нужны антибиотики, они забывают о регламентации, — проворчал Юл. — Это дней через пятьдесят?

— Через сорок восемь, если быть точным. Кстати — вы не помните, когда сегодня будет прохождение «Европы»?

— Было утром и будет около полуночи. Да, вам ведь звонил некто Петров...

— Он прилетел?

— Прилетел, и я сказал ему, чтобы он приезжал сразу сюда.

— Спасибо, — сказал отец Дионисий. — С этими Игрикхо я совсем забыл про него. И вот еще что: переводчица группы Филдинга заболела...

— Да, мне сказал атташе. Я готов. Но — вы-то как будете обходиться без переводчика?

Отец Дионисий сделал неопределенный жест.

— Обратимся к Мрецкху. Да и, Бог даст, отец Афанасий вот-вот на него поднимется.

— Настоящая эпидемия, — сказал Юл. — Отец Афанасий, Боноски, Селеш, Хомерики, теперь вот — Кэтрин... Остались Ким и я.

— Что и доказывает. Юлий Владимирович, что вы такой же переводчик, как я — онейроп, — отец Дионисий широко улыбнулся и пояснил: — Шучу.

— Вы не знаете, в таком случае, чей именно я агент? — прищурился Юл. — Омска, Ростова или, может быть, Петербурга?

— Я приношу вам самые искренние извинения, — сказал отец Дионисий. — Я глупо пошутил. Простите меня.

— Дело в том, — сказал Юл, — что я слышу эту шутку уже не в первый раз.

— Вы имеете в виду тот инцидент с отцом Александром?

— И его тоже.

— Что поделаешь... Вы должны простить нас: россиянам трудно расстаться с представлением, что каждый подданный Конфедерации просто обязан быть шпионом.

— Да уж... — неопределенно хмыкнул Юл. Это он знал не понаслышке: во все свои приезды в Москву он ощущал плотный и наглый, на грани фола, прессинг во всем диапазоне: от примитивного уличного топтания и обысков в номере в его отсутствие до попыток тотального эхосканирования — так что приходилось постоянно, не снимая, носить на голове обруч охранителя. Все впечатления о Москве были приправлены головной болью и зудом от плотно сидящего обруча. Гаррота, вспомнил Юл нужное слово.

— Так я пойду, встречу Петрова, — сказал он, вставая.

— Да, пожалуйста, — сказал отец Дионисий. — И если у него окажутся лишние вещи — оставьте их в своей комнате, хорошо?

Юл вышел из здания в тот самый момент, когда в ворота въезжал кремового цвета лимузин — изготовленная на Земле имитация здешней марки «Золотое дерево». Не успела машина остановиться, как

из нее выкатился кругленький, упругий, дочерна загорелый человечек в белой безрукавке и шортах.

— О! — сказал он. — Ну и жарыща тут у вас! Это с вами я говорил по телефону?

— Со мной, — сказал Юл. — Где ваш багаж?

Ночь здесь всегда, в любое время года, наступала мгновенно. По серпантину взбирались в полной темноте. Шофер Цуха, из «детей дождя» — так назывались подкидыши к воротам Дворца, очень интересная социальная группа, имевшая даже свой язык, впрочем похожий на Понго; их воспитывали так, что ни солгать, ни подвести хоть в малом они просто не могли; они работали или служили там, где эти качества были необходимы, а на карьере рассчитывать не приходилось, — Цуха вел машину медленно, всматриваясь в сверкающее, как река на восходе, полотно дороги; с некоторых пор все дороги, редущие к Священным Рошам, два-три раза в год посыпали битым стеклом, дабы босые паломники...

— Камень, — сказал Цуха.

Камень — толстенная плита размером с письменный стол отца Дионисия — лежал посредине дороги. Весу в нем было никак не меньше тонны. Пока Юл скреб подбородок, размышляя, что делать, Цуха

снял с крыши кабины щит из досок, и втроем они положили щит так, чтобы получился пандус. По этому пандусу Цуха провел грузовик. Доски похрустывали и поскрипывали, но выдержали пятнадцатитонную машину.

— Крепкое дерево, — с уважением сказал Петров.

— Что он говорит? — спросил Цуха.

— Он говорит, что крепкое дерево, — перевел Юл.

— Да, — сказал Цуха. — Очень крепкое. Серое дерево очень крепкое. Очень крепкое и очень дорогое. Скажи ему.

— Дюймовая доска из этого дерева не пропускает пушечную пулю — сказал Юл. — Раньше из него делали латы, щиты...

— Опять камень, — сказал Цуха.

— На этот раз не пришлось выходить из машины: камень лежал на краю дороги, и можно было протиснуться. Цуха прижал грузовик к скале, стал медленно, по сантиметру, проводить его мимо камня — и вдруг газанул, с ревом и скрежетом продрался на свободу, погасил огни и вслепую, наугад проехал метров сто.

— Что с тобой? — спросил Юл.

— Сейчас, — сказал Цуха, — шевельнулась земля...

Позади раздался короткий обвальный гул, удар. Грузовик подпрыгнул.

— Боже мой, — прошептал Петров. — Что это?

— Змея Гакхайе, — сказал Юл. — Под этой дорогой погребена великая змея Гакхайе. Когда начинается ночь, змея вспоминает, что пора идти на охоту...

Цуха, открыв дверцу и встав на сиденье, всматривался поверх кузова в то, что происходит сзади. Потом сел, завел мотор, включил фары и повел машину быстро, как только мог. Лицо его блестело от пота.

— Вам вольно шутить, — начал было Петров и оборвал себя: сзади опять донесся — теперь далекий — обвальный грохот.

— Успели, хвала Создателю, — прошептал Цуха на языке «детей дождя»: с артиклями и редуцированными гласными; та же самая фраза на Понго могла привести прямиком в петлю, так как означала бы: «Мы вздрючили Создателя».

— Они сами падают? — спросил Петров.

— Иногда сами, — ответил Юл.

— А у меня окошко разбилось, — пожаловался Петров. — Я его локтем задел, а оно выпало.

Только сейчас Юл почувствовал, что кабина полна свежего холодного воздуха.

— Ничего, — сказал он. — Скоро приедем. Не замерзнете?

— Какое там, — сказал Петров. — А скажите, пожалуйста, вот когда мы выезжали из города, справа был такой длинный парапет...

— Это нижняя стена Дворца.

— Да какая стена — мы вдоль этой штуки почти час ехали.

— Размеры дворца — сорок пять на пятнадцать километров, — сказал Юл. — Вот, смотрите. — Он пальцем на ветровом стекле нарисовал вытянутый овал. — Это дворец, а это — столица. — он обвел кружком нижнюю треть овала. — Такие вот тут масштабы власти.

— Да-а, — сказал Петров. — Это должно впечатлять.

— Это и впечатляет, — сказал Юл. — А вы разве, когда ехали из порта, не обратили внимания на дворец? Из центра города — очень красивый вид. Холм, стена, шпили — глазурь, золото...

— Не обратил, — сказал Петров. — Я все как-то на близлежащее...

— Ну, и?..

Петров пожал плечами:

— Так ведь — из окна машины.

— А все-таки?

— Тревожно, — подумав, сказал Петров.

Юл молча кивнул.

На перевале остановились отдохнуть. Цуха открыл капот, обошел машину, попинал скаты. Потом сел на землю, скрестив ноги и упершись локтями в колени, и замер. «Дети дождя» владели многими секретами, в том числе и методикой быстрого отдыха; пятнадцать минут в такой позе заменяли им часов шесть крепкого сна.

— Ну и небо, — сказал Петров сипло. — Ну и небо же...

— Вон Солнце, — показал ему Юл. — Видите: квадрат из ярких звезд, и прямо над ними...

— Маленькое, — сказал Петров. — Невзрачненькое... Вы давно здесь?

— С перерывами — шесть лет. Земных. Местных — пять.

— И только переводчик?

— Поначалу — только. Потом увлекся... Вообще-то здесь трудно не увлечься чем-нибудь — интересно же неимоверно. И людей не хватает: квота. Сто



сорок четыре землянина максимум, а кого, мол, и сколько — сами решайте. И тут уж начинаются протекции и прочие выкручивания рук. И в результате в российском представительстве сорок девять человек, церковников — пятьдесят семь, а в посольстве Земли — двадцать. В торгпредствах — по одному, редко по два человека. Чтобы вас принять, Филдинг кого-то из своих отправил на «Европу»... и ничего же не сделаешь. Дворец недостижим...

— Да, Филдинг писал, что обстановка здесь сложная.

— Сложная — не то слово. Непонятная — и нет информации. Смотрите: на планете три материка и чертова прорва островов, все это площадью с Евразию. Природные условия восхитительные. Но зона цивилизации ограничена каким-то магическим кругом: девятьсот—тысяча километров от столицы, не более. Вне этого круга — покинутые города. Пятьсот лет назад покинутые, тысячу лет... Смотрите — «Европа».

Прямо над ними медленно плыла неровная цепочка ярких звезд. Перевалила зенит, засветилась красным и померкла.

— Вошла в тень, — сказал Юл. — Вам хоть показали планету сверху?

— Нет, — сказал Петров. — Сразу сунули в какую-то летучую жестянку...

— Жаль. Сверху все это очень красиво. Атмосфера здесь не слишком плотная, но богатая кислородом, магнитное поле сильное — полярные области светятся, как неоновые лампы. Мы, к сожалению, почти на экваторе, а уже с сорок пятого градуса широты такие полярные сияния — о-о!.. Да, я отвлекся. Население все этнически однородно, а языков насчитывается восемь. Ну, Понго — всеобщий. Потом — мужской и женский, причем считается, что перевод с одного на другой невозможен. Язык «детей дождя». Два языка монахов Терксхьюм — детский и взрослый. Детский у них общий с языком Служителей Священных Рош, а потом — перестают понимать друг друга. Если надо объясниться, объясняются на Понго. Ну и дворцовый язык — единственный, которого я не знаю. Читать могу, а как он звучит... — Юл пожал плечами.

— То есть вам тут интересно, — сказал Петров.

— Дико интересно, — сказал Юл. — История здесь запрещена, но, судя по такой структуре языков, этой цивилизации не меньше двадцати тысяч лет. Раскопки дают примерно такую же цифру. На Земле фараоны начинали думать о пирамидах, а здесь уже

был бензиновый двигатель и электричество. Ничего, напоминающего компьютер, у них нет до сих пор. В библиотеке Дворца, по нашим прикидкам, двести миллионов томов. Доступ в библиотеку закрыт. Выдают только книги времен текущей династии. Понимаете, рядом с какими кладами мы ходим?

Цуха медленно встал, вытянулся струной, совершил ритуал пробуждения несколько неумовимо быстрых сложных движений. Молча полез в кабину.

— Поехали, — сказал Юл Петрову.

Петров еще раз посмотрел на небо, покачал головой и сел рядом с ним.

Юл проснулся и вскочил — куда-то надо было бежать. На стене плясали отсветы огня. Ничего не понимая, он скользнул к окну, налетел в темноте на что-то твердое и угловатое — и тут только сообразил, что он не дома и даже не в представительстве. Он в странноприимном доме православной миссии. В гостинице. На второй кровати спал и посапывал Петров. За окном, шагах в пяти, стояли в позе ожидания монахи Терксхьюм с факелами в руках. Странно: полный хоулх монахов — ночью? В самый разгар Бесед? Потом он увидел архимандрита отца Александра, идущего им навстречу. Монахи приняли позу

приветствия. Переводчик им был не нужен: все иерархи Терксхьюм и многие простые монахи говорили по-русски. Окна с толстыми мутноватыми стеклами звуков не пропускали, и узнать, о чем будет идти речь, Юл не рассчитывал. Иерарх шагнул вперед, и хоулх мгновенно перестроился: теперь вместо клина стояло маленькое, три на три, каре. Это означало, что дело, которое привело сюда монахов, чрезвычайно важное. Иерарх, встав перед отцом Александром, принял позу почтительности, но тут же переменил ее на позу беседы равных. Юл не видел его лица и не видел, разумеется, знака на налобной повязке, но по быстроте перемены поз понял, что это не простой иерарх из близлежащего монастыря, а иерарх иерархов... либо окхрор из Дворца... Отец Александр слушал его, все более каменея лицом, потом на секунду упустил контроль над мимикой: закусил губу и нахмурился. Иерарх сказал ему еще что-то, сделав жест сохранения тайны, отец Александр согласно кивнул, и оба они пошли по дощатой дорожке к зданию епархиального управления. Хоулх остался на месте; монахи стояли в позе готовности, держа древки факелов двумя руками. Факел был штатным оружием монахов Терксхьюм. «Терксх»

и означало «факел»; «юм» — что-то близкое к «благодати»...

На подоконнике стоял кувшин с сорокатравником. Юл налил полный стакан, выпил. Сорокатравник был великолепным адаптогеном. Надо будет предложить Петрову, а то такая перемена мест: Австралия — «Фридом» «Европа» — столица — миссия... спит как сурок, даже не шевельнулся ни разу. Бывают такие... крепыши... никакой сорокатравник им не нужен. Юл, морщась от полынной горечи, выпил еще один стакан. Монахи стояли не шевелясь. В позе готовности они могли стоять сутки, не уставая и не теряя боеспособности. Судя по всему, у Терксхьюм была бурная история.

До восхода солнца оставался час, ложиться не имело смысла. Юл, не одеваясь, подтащил кресло и сел так, чтобы видеть хоулх. Петров сказал, что первым впечатлением его было: тревожно. Да и как иначе, если на ярких, пестрых улицах города нет ни женщин, ни детей, а есть только мужчины, которые либо стоят — в одиночку, группами, — либо прохаживаются... и, конечно, тысячи взглядов вслед лимузину... Несколько последних дней и столица, и провинциальные города, и села — все жили под

страшным гнетом слухов о предстоящем массовом похищении детей.

Четыре года назад было примерно то же, и, пока не кончился месяц Ринь, все сходили с ума и метались, но тогда это было сумбурно, беспорядочно... И когда истек последний, восемнадцатый, день этого короткого страшного месяца и подвели итоги, оказалось: девятнадцать младенцев действительно было похищено, а пять десятков их истребили преступные матери, знавшие, что человек, рожденный в этом месяце, принесет страшные беды и себе, и родным, и земле, по которой он ходит. Все они были преданы анафеме как язычницы и ведьмы, и не было, наверное, ни одной проповеди, в которой не проклинались бы языческие кровавые обряды, и вот прошло четыре года, и вновь настал месяц Ринь, и все вернулось к исходной точке...

Сидеть было жарко, кресло грело как шуба. Юл встал, подошел к кондиционеру. Кондиционер работал, но надо было долго держать руку у раструба, чтобы почувствовать прохладу. Упало напряжение в цепи. Видимо, опять перебои с соляркой... Хоулх стоял, как скульптурная группа, и коптил небо факелами.

За без малого полтысячи лет своего правления династия О провела две реформы: перевод языка Понго с иероглифического на звуковое письмо (постепенно на это же письмо перешли и все другие языки, кроме дворцового) — около двухсот лет назад; и принятие христианства в его ортодоксальной версии — тридцать лет назад. Тем самым был нанесен тяжелый удар господствовавшему ранее язычеству — поклонению Игрикхо; Терксхьюм же, к которой христианские догматы подходили, как ключ к замку, расцвела пышным цветом. Юл не знал, какие именно подводные течения привели к заключению Братского Союза; только теперь Терксхьюм признавалась идентичной православия, а все, исповадовавшие ее, — православными христианами; обряд Юмахта — пролитие на новорожденного соленой воды и нанесение крестообразной ранки на грудь в память о сыне Создателя Ахтаве, принявшем мученическую смерть от мечей язычников, — этот обряд засчитывался за крещение. Понятно, что такое внезапное возвышение — из безвредных еретиков в духовные лидеры — не оставило иерархов Терксхьюм равнодушными; у Юла были подозрения, что роль равноправной части в двуединстве им скоро наскучит. Очень похоже, что в прошлом уже существовало по-

добное двуединство — двуединство поклонения Игрикхо и Терксхьюм. Это Юл понял, разбираясь с манускриптами на дворцовом языке и обнаружив, что буквы алфавита Понго созданы на основе редкоупотребляемых иероглифов константного ряда. Теперь совершенно по-новому читались некоторые стихи, обрели иной смысл географические названия, имена. Но особенно преобразился календарь. И если буквы, составляющие слово «Ринь» — имя одного из древних пророков Терксхьюм, — прочесть как иероглифы, то получится «жертвоприношение младенца»...

До принятия христианства — то есть еще тридцать лет назад — в этом месяце, бывающим раз в четыре года, в Священных Рощах Игрикхо приносились в жертву все новорожденные. На пне свеже-спиленного дерева Игри крошечное тельце разрубали на шесть частей ударами кривых ритуальных мечей из синего железа. Акт жертвоприношения длился шесть с половиной минут: от момента, когда солнце коснется горизонта, и до его исчезновения с небосвода. Каждый дротх — группа из трех служителей низшего ранга и одного Посвященного — успевал за это время умертвить до пятнадцати младенцев. К утру на пнях не оставалось даже пятен крови: Игрикхо



уносили, выскребали, вылизывали все. И так — до дня восемнадцатого, когда пни-алтари обкладывали смолистыми поленьями и сжигали... дымом горящего, вернее, тлеющего дерева Игри пропитывались одежды всех, толпами стоящих вокруг костров, и дым этот был таков, что прикосновение его сохранялось до зимних месяцев, и носящий эту одежду обладал многими привилегиями, о которых и помыслить не мог рядовой подданный Императора О. Это странно, поскольку местные жители не распознавали запахов; ни в одном из языков не было даже самого понятия «запах»...

Шестнадцать лет назад Великим Указом Императора О человеческие жертвоприношения были приравнены к убийствам. Но никто не рискнул бы сказать, что они прекратились.

В остальное время Священные Рощи тоже не пустовали: многочисленные паломники бродили по тропам, размышляя, и многие предавались медитации у деревьев Игри, на которых, как огромные серые морщинистые груши, висели Игриkho. Юл бывал в Рошах — и с Филдингом, и до него, — и каждый раз приходилось тащить себя туда за шиворот, а потом еще подгонять пинками; даже залив ноздри тетракаином, чтобы анестезировать обонятельные рецепто-

ры, и вставив фильтры, нельзя было полностью защититься от прожигающего насквозь, как нашатырь, запаха Игрикхо; запах этот, кажется, впитывался порами кожи, вцеплялся в глаза, оставался на языке... Потом не спасали ни горячая вода, ни самые сильные дезодоранты — неделю, а то и две недели смрад преследовал, настигая в самые неподходящие моменты: например, когда отбираешь в оранжерее мастера Аллюса цветы для Кэтрин и хочешь понюхать незнакомую орхидею... Юл встал и начал одеваться. Жаль, не успел познакомить Петрова с Аллюсом — обоим было бы интересно. Мастер Аллюс — известный ювелир, поставщик Дворца, меценат, книжник, с немалым риском достававший для Юла древние тексты, стихийный естествоиспытатель, подвергший сомнению догматы обеих религий в монографии «Презумпция непрерывности», — очень настойчиво просил своего друга Юлия Седых при первой же возможности познакомить его не только с работами земных ученых-естественников, но и с самими учеными, как только они ступят на землю Империи О. Сделать это было очень непросто по разным причинам. На памяти Юла Петров был первый естественник, который появился здесь не под маской гуманитария; что-то сработало — или не сра-

ботало? — в недрах канцелярии Малой Прихожей Дворца. Юл натянул брюки, сунул ноги в сандалии и уже почти вышел из комнаты, когда боковым зрением уловил движение за окном. Возвращались... так... действительно, окхрор, лицо знакомое, видел где-то на церемониях... и с ним — вот это да! — иеромонах отец Никодим, офицер безопасности российского представительства... Интересно, подумал Юл, отступая в темноту комнаты, он-то что тут делает? Не к добру... Хоулх перестроился и принял окхрора в себя. Развернулся и заскользил к выходу. Отец Никодим, подумал Юл. Он же Григорий Федорович Костерин, сорок четыре года, бывший полковник Охраны, переведен сюда с глаз долой после громкого скандала: убийства при попытке похищения сотрудницы Сибирско-Балтийской торговой компании Тамары Сунь. Замять скандал не удалось, Конфедерация требовала выдачи преступников, и в результате тот, кто стрелял, получил двадцать пять лет строгой изоляции и покаяния, а тот, кто организовал акцию, отправился на новое место службы — по иронии судьбы, на корабле той самой «Сибатко». Сейчас он стоял, весь в черном, и по мере удаления хоулха все более сливался с темнотой...

Кэтрин спала. То, что болезнь поражала перводчиков чаще, чем кого бы то ни было, объяснялось просто: они — пять—семь человек — контактировали с местным населением больше, чем все остальные земляне, вместе взятые. Местные же буквально фонтанировали летучей органикой. Болезнь была, в сущности, атипичной аллергической реакцией на какой-то конкретный, хотя и неустановленный антиген. При необходимости человека можно было за два-три дня поставить на ноги, используя общие иммунодепрессанты. Но этого предпочитали не делать: снижать напряженность иммунитета в здешних непростых условиях было рискованно. Больной же от болезни не страдал, скорее, наоборот: возвращаясь из многодневного сумеречного полусна, он рассказывал о чрезвычайно ярких и насыщенных событиями снах — еще более ярких, чем онейропии... или не рассказывал. Кэтрин шевельнула рукой, что-то пробормотала; под веками двигались глаза. Ей предстояло пробыть в таком состоянии самое малое две недели. Колокольный звон поднимет ее, она приведет себя в порядок, поест — все это автоматически, никого не замечая; когда запас простейших действий исчерпается, она снова ляжет в постель.

Юл провел рукой по ее волосам и вышел, плотно прикрыв дверь. Остановился на галерее, ловя лицом потекший из щелей в куполе предутренний ветерок. Потом заскрипела лестница, Юл хотел обернуться, но догадался, кто это, и оборачиваться не стал.

— Здравствуйте, Юлий Владимирович, — сказал отец Александр, встав так же, как стоял Юл: опираясь локтями о перила и на таком расстоянии, будто между ними стоял невидимый третий. — Как ночевали на новом месте?

— Здравствуйте, Александр Михайлович, — сказал Юл. — Ночевал? Спасибо, нормально. Жарко только — отвык.

— Ваш сосед спит совершенно безмятежно, — сказал отец Александр. — Завидное здоровье.

— Завидное, — согласился Юл. — Мы куда-то идем?

— Идем, — сказал отец Александр. — Сейчас будет готов завтрак... — Он вздохнул. — Этой ночью Игрикхо похитили самое малое четырнадцать детей... наверняка больше, потому что из многих мест сообщения еще не пришли. Попыток похищения было около сотни. И в двух случаях похитителей удалось захватить.

— Игриkho? — удивился Юл.

— Представьте, нет. В одном случае — бродяга, в другом — служители Рош. Сейчас мы с вами направимся на Круг Посвященных. Туда их и привезут.

— Кто привезет — Терксхьюм?

— Нет, крестьяне, прихожане отца Филарета — помните его?

— Помню, — сказал Юл, — отчего же...

— А почему вы решили, что Терксхьюм?

— Просто для них это такой подарок... — Юл замялся было, продолжать или не продолжать, и решил продолжать, — что они вполне могли бы преподнести его себе сами.

— Такое предположение, — начавшим звенеть голосом произнес отец Александр, — просто оскорбительно!

— Возможно, — согласился Юл. — Но оно логично. И вообще: у вас не возникает впечатления, что готовится нечто большее, чем просто принятие мер безопасности для детей? Не может быть, чтобы у вас такого впечатления не возникало...

— Юлий Владимирович, — сдерживаясь, сказал отец Александр, — а не кажется ли вам, что вы... мм...

— Переступаю черту? — подсказал Юл.

— Что вы разговариваете со мной, как богатый дядюшка с нищим племянником? Да, мы бедны, а вы богаты, да, мы целиком зависим от вашего благорасположения — да, да, да! Но не забывайте, что мы ступили на этот путь сознательно, имея целью сохранить Господа нашего Иисуса Христа в душах... извините.

— Это вы меня извините, — сказал Юл. — Поймите, я встревожен не меньше вас, и когда чувствую, что от меня что-то скрывают...

— Да не скрывают, — поморщился отец Александр. — Просто пока ничего достоверно не известно. Слухи, обрывки слухов... может, сейчас, на Кругу...

Но и на Кругу ничего стоящего узнать не удалось. Из трех захваченных Служителей один умер по дороге, а двое были без сознания. Посвященные утверждали, что преступные Служители таковыми не являются, поскольку давно изгнаны из рядов. Терксыум утверждали обратное. В подчеркнуто корректных репликах, которыми обменивались стороны, сохранилось множество мутных намеков и ссылок на скользкие обстоятельства. Юл переводил, пытаясь ухватить все смысловые пласты, часто не успевал за разговором, отец Александр переспрашивал, и это

еще больше сбивало темп. Своего «жучка» Юл на-строил на передачу, информация шла в посольство, и после полудня, уже на обратном пути, Юла вызвал Лейкунас, офицер безопасности. Он сказал, что посольство окружено многотысячной толпой и в толпе замечены лица, имевшие отношение к «Купели». Одновременно поступают сведения, что большинство активистов «Купели» покинули столицу. С «Европы» сообщают, что замечено движение нескольких пешеходных колонн в направлении Долины Священных Рош. Лейкунас просил Юла принять меры к тому, чтобы до наступления темноты разместить группу Филдинга на территории миссии; посол уже обратился к архиепископу с соответствующей просьбой. Компьютерное моделирование ситуации, произведенное на «Европе», дает восьмидесятипроцентную вероятность религиозного мятежа, «варфоломеевской ночи» в местном антураже: физическое уничтожение Служителей Священных Рош совместными усилиями Теркхьюм и «Купели» при сочувственном нейтралитете Дворца. Из-за условий рельефа эвакуация группы Филдинга и прочих незаинтересованных землян непосредственно на «Европу» практически невозможна. Планы эвакуации прорабатываются.



Та-ак... Юл почувствовал, как заломило между лопаток. Ах, черт... думать, приказал он себе. Думать. Он вызвал Филдинга и передал ему распоряжение Лейкунаса. Филдинг сказал, что он уже в курсе и пусть Юл не занимает частоту. Юл сунул крокодильчика в карман и ускорил шаг, нагоняя отца Александра. Солнце стояло в зените, небо было белое, дорога тоже была белая, и мягкая белая, как мука, пыль лениво поднималась над дорогой на высоту колен и так и висела, не оседая. Под ногами нервно дергалась черная клякса тени. И черная, гордая, как знамя, фигура отца Александра шагах в ста впереди, отделенная от Юла дрожащим маревом, была совсем из другого мира.

На хозяйственном дворе миссии оживленно обсуждались утренние события. Оказывается, Петров сумел, объясняясь когда на пальцах, когда в пределах той сотни русских слов, которыми владели подчиненные завхоза, монаха отца Сергия, — сумел очаровать их и, каким-то образом пролавирировав между ритуальными запретами, взять у всех пробы крови, соскобы кожи и слизистой, и даже — совершенно невероятно — слюну и волосы. Оставив прислугу в состоянии приятного, приподнятого обалдения, он

с садовником, прихваченным в качестве толмача и проводника, отправился в монастырь Бойбо... Юл выслушал все это, покрутил за цепочку «жучка», забытого Петровым в комнате, и пошел к отцу Сергию выпрашивать мотоцикл. Разумеется, потребовалось разрешение архимандрита, и в путь Юл отправился, имея за спиной пассажира: инок Георгия, в миру Олега Улько, двадцатипятилетнего крепкого парня со скупыми движениями мастера рэджо. С ним Юл был в предельно близких отношениях — то есть на «ты». Олег не скрывал, что Юл ему интересен не только сам по себе, но и как праправнук того самого майора Седых, который остановил гражданскую войну. Юл не исключал, что интерес инок подогрет отцом Никодимом, но семейную легенду рассказал.

В сентябре девяносто седьмого года, когда фронты замерли в неустойчивом равновесии и дело должно было вот-вот дойти до обмена ядерными ударами — пальцы уже лежали на кнопках, — к Казанскому вокзалу подошел воинский эшелон и две роты морских пехотинцев, прибывших на нем, почти без боя захватили здание вокзала, станционные службы и прочее — и тут же вынесли на руках из вагонов и установили на перронах и по-

мещениях вокзала какие-то контейнеры. Майор Седых, командовавший всем этим безобразием, позвонил по телефону в Генштаб и заявил, что в его, майора Седых, распоряжении имеются двадцать два ядерных заряда мощностью от сорока до шестисот килотонн и что он намерен детонировать их, если Временный комитет граждан и Генштаб в течение трех суток не начнут переговоры с сепаратистами. Переговоры не начались, и тогда со станции вышел тепловоз, толкая перед собой один вагон. Доставив вагон на тридцать восьмой километр, тепловоз вернулся; предупрежденное окрестное население в панике бежало. Ровно в двадцать один час облака над Москвой озарились голубым нестерпимым сиянием, и землю потрянуло; ударная волна, от которой повылетало немало стекол, и мощный гул добавили генералам ощущения реальности происходящего; наконец, над горизонтом медленно встал освещенный закатным солнцем кошмарный гриб... ветер дул от города, и смертельный след не лег на кварталы, но на триста километров к юго-востоку люди не селились потом лет двадцать... Утром группа генералов и высших священнослужителей вылетела в Астрахань; через три недели был подписан договор о мире и

границах. После этого ядерные заряды были де-монтированы и увезены, а сам вокзал окружен полком «Пересвет»; бой длился двое суток. Морские пехотинцы и их командир погибли. На следующий день все они поименно были преданы анафеме; тела их погребли бесчестно. На некоторых фресках Страшного Суда майор морской пехоты Седых изображен в огненном озере по соседству со Львом Толстым... Все это, конечно, весьма отличалось от текста «Предания о новом Искарите», одной из первых глав «Повести о восприятии земли Русской» — официального курса истории Православной Российской Империи... как там: «И воссташа Россы на зверя средиземного, поганого, ведомые Словом Божиим...» Юл испытывал почти физиологическое отвращение к «Повести...» — к ее бессовестной лжи в большом и малом, к бездарной стилизации под старину — и в то же время никак не мог не возвращаться к ней высмеивая, издеваясь, но возвращаться... это было что-то болезненное. Шестьдесят миллионов убитых и умерших в годы гражданской войны... и как оправдание крови — двенадцатиметровой высоты стальная сетка вдоль границ... Новый Иерусалим со стенами из ясписа...

Последний участок дороги к монастырю Бойбо был слишком крут, мотор не тянул, и иноку пришлось идти пешком. Это было километра два. Юл, безбожно газуя и рискуя сжечь сцепление, вылетел под стену монастыря и тормознул юзом: навстречу ему двигалось странное шествие, и он не сразу понял, кто это и что это. В аккуратных светло-серых костюмах: рубаша до колен и широкие штаны, босые, брели, попарно взявшись за руки, какие-то толстяки... одутловатые, плохо выбритые бледные лица... студенты, сообразил наконец Юл. Вот, значит, где они теперь. Заглушив мотор, он стоял и смотрел, как они проходят мимо него, не видя, не глядя, и только один, восхищенный блеском хрома, с шумом втянул слюни... Факт существования этих людей был не то чтобы запрещен к упоминанию — просто об этом неприлично было говорить. Пять лет назад эти люди — тогда семнадцатилетние выпускники монастырских школ — отправились на Землю, учиться в Московской и Владимирской духовных академиях. Год спустя за ними стали замечать некоторые странности, а потом началась стремительная деградация, и когда они вернулись, то были уже полными идиотами. Где-то в недрах Дворца содержалась еще одна подобная же группа — те начинали учиться в уни-

верситетах. Судьба их ничем не отличалась. По слухам, в той группе были мальчишки императорской крови — впрочем, как посмеивался мастер Аллюс, «они там, во Дворце, все немножечко родственники». И, вспомнив Аллюса, Юл вспомнил и то, как Аллюс, поблескивая хитрыми глазками, рассказывал о перипетиях своего последнего паломничества в Священные Рощи. Но, мастер, сказал тогда Юл, как же это совмещается: ваше свободомыслие и паломничество, да еще с приключениями? Именно, сказал Аллюс, стало еще интереснее, молодежь просто в восторге. Раньше это было для меня только отдыхом, а теперь и отдых, и воспитание духа... это как ваш альпинизм. И что, многие занимаются таким альпинизмом, спросил Юл. Вы не поверите, магистр, сказал Аллюс, но — поразительно... молодые-то уж точно — все; это мы, старые задницы, кто ленится, кто боится, кто слушается попов... Не в силах оторвать взгляд, Юл смотрел вслед уходящим: по узкой каменистой тропе под стеной монастыря, в обход — он знал — горы и затем вниз, в сырое тенистое ущелье, открывающееся в Долину Священных Рощ... Это нельзя было назвать догадкой, скорее, предположение, одно из многих, но... слова «слабоумный» в Понго не было, было «Ведомый Создателем», и прове-

ритель догадку было почти невозможно, земных ученых к «Ведомым» и близко не подпускали, — но связать деградацию студентов с невозможностью посещать Священные Роши можно было и без исследований... и, вспомнив хозяйственный двор миссии, Юл подумал вдруг, что Петров мог преуспеть и здесь.

Так и оказалось. Петров быстро нашел общий язык с иерархом, осмотрел нескольких студентов, у двоих взял анализы и со своим проводником-садовником отправился в обратный путь. Так по крайней мере он сказал иерарху. Ну, что же... Поблагодарив иерарха, Юл дождался инок. Тот, весь мокрый, но ничуть не запыхавшийся, взбежал на гору — преподнес ему известие. Олег развел руками: бывает, мол... Ехать круто вниз было труднее, чем круто вверх, вся нагрузка приходилась на слабую переднюю вилку, и Юл сосредоточенно всматривался в дорогу, чтобы не напороться на какой-нибудь ухабчик, поэтому протянутую поперек дороги веревку заметил поздно — слишком поздно для того, чтобы остановиться, и можно было только положить мотоцикл на бок, что Юл и сделал... их крутнуло раза два, а потом из придорожных кустов посыпались непонятно кто, человек семь, а Юл никак не мог встать, потому что зацепился штаниной за мотоцикл, и все его

последующие действия были действиями заинтересованного наблюдателя. Он впервые видел рэддо, как оно есть. Мастеру рэддо в общем-то безразлично, сколько у него противников. Олег сначала оборонялся, а когда нападавших осталось трое, перешел в наступление сам. Те тоже владели какими-то приемами — слегка, а потом один из них выволок из-под полы меч. Кривой ритуальный меч. Олег, сморщившись, сделал движение руками, будто хлопнул в ладоши, и в руках у него оказалась тонкая цепочка. Один из нападавших вдруг повернулся и прыгнул в кусты. Тот, что с мечом, сделал выпад — цепь обвилась вокруг клинка, движение — и меч взвился вверх, еще движение — и половина лица нападавшего превратилась в сплошную рану. Взмахнув руками, он стал падать. Последний из нападавших попятился и запутался в мотоцикле. Нет, захрипел он, глядя на приближающегося Олега, нет, нет!..

— Бандиты, я думаю, — сказал Юл. — Хотели захватить мотоцикл.

— Христиане? — спросил отец Александр.

— Нет, язычники. Но не Служители, без этих... — Юл показал на левое плечо, — без насечек.



— Зря вы того не привезли, — сказал отец Александр. — Хотя, конечно, все правильно — не оставлять же там инока... Надо было вам взять «трайтер» с коляской.

— Ну, тогда бы мы с вами не беседовали сейчас, — сказал Юл. — «Трайтер» не положишь на бок, и были бы мы с иноком сейчас... — Он чиркнул себя ладонью по горлу. — Попробуйте еще раз. — Он кивнул на телефон.

Отец Александр взял наушник, послушал. Передал наушник Юлу. В наушнике была гробовая тишина. Отец Александр включил настольную лампу. Волосок лампы медленно нагрелся до вишневого цвета.

— Надо начинать искать, — сказал Юл. — У нас еще три часа светлого времени. Грузовик, три мотоцикла...

— Я не могу рисковать людьми, поймите, — сказал отец Александр. — Вы же видите: банды какие-то, вообще — непонятно что...

— Рисковать, — подчеркнул Юл. — Подготовленными и разбирающимися в обстановке людьми. Или жертвовать, — он опять выделил голосом, — ничего не понимающим, угодившим в самую кашу человеком. Есть разница?

— Разница есть... — Отец Александр поднялся, медленно подошел к телеграфному аппарату. Мерцала красная лампочка, зеленое окошко оставалось темным. — Разница есть, а напряжения нет... а нет напряжения, нет и информации... Пойдите. Вы умеете работать на ключе?

— Азбуку-то помню... — Уже поняв идею, Юл вскочил со стула и оказался рядом с аппаратом. Если не хватает напряжения для телетайпа, то ключом и на слух... Он перекинул все тумблеры в положение «передача», и на девять аппаратов, расположенных в окрестных монастырях, ушло сообщение: «Миссия просит сообщить что известно русском Петров Петров пропал сегодня дороге Бойбо прием». Отозвались семь аппаратов. Телеграфисты, поняв, что имеют дело с новичком, старались передавать медленно. Юл механически записывал, отложив расшифровку на потом. Приняв все, он поблагодарил и попытался вызвать два оставшихся монастыря — бесполезно. Во всех пришедших телеграммах было одно: о Петрове никто ничего не знал. Неотозвавшиеся монастыри, Тмечеш и Сый, находились, насколько Юл помнил...

— Дайте карту, — сказал он.

Так. Долина Священных Рош — будто тень от восьмипалой иссохшей руки со скрюченными пальцами. Вот монастырь Бойбо, крупнейший из всех... вот миссия, дорога — полукругом, в обход двух «пальцев». Напрямик — много короче... и с Петровым садовником, который это знает. И есть тропа, и есть подвесные мосты через ущелья, и проходит тропа как раз между монастырями Тмечеш и Сый... именно по этой тропе уводили сегодня студентов, вспомнил Юл. Он поднял глаза и встретился взглядом с отцом Александром.

— Надо ехать, — сказал Юл. — На грузовике — вот до сюда, и тут уже пешком минут сорок. Успеем до темноты.

— Ну, что же, — сказал отец Александр. — Только одно условие: я поеду с вами.

— Разве же это условие? — сказал Юл. — Это же именины сердца.

Цуху нашли в странноприимном доме: он помогал устраиваться людям из группы Филдинга. Женщинам и девятидесятилетнему Филдингу нашли место в комнатах, восемь же мужчин и с ними четверо иноков, уступивших свои койки, должны были расположиться во внутреннем дворе. Здесь же было свалено снаряжение. Вообще-то в таком доме: два

этажа, двенадцать комнат, множество каморок и кладовок, галерея, внутренний дворик четыре на шесть метров — могло разместиться, да и размещалось когда-то, человек сто; но сейчас, после простора и комфорта, начавшееся уплотнение тревожило как-то по-особенному — первые признаки надвигающейся непогоды... Перед панно, изображающим крещение Императора О святителем Севастьяном, Цуха возился с примусами; части разобранных трех или четырех примусов лежали перед ним на листе фанеры, и он протирал их тряпочкой, прочищал трубки, продувал форсунки. Увидев вошедших Юла и отца Александра, он молча положил все и встал. Он сразу понял в чем дело, без слов. Такие уж они были, «дети дождя»...

С лязгом откатилась дверь, и в свете факелов возникли трое: иерарх Терксхьюм и два мирянина, все в черных нагрудниках с белым крестом — знаком «Купели». Отец Александр опустил руки, но не сдвинулся с места.

— Я требую, чтобы о нас доложили окхрору Чевху! — громко и четко произнес он. — Я епископ этой епархии и не могу допустить такого обращения со мной и моими спутниками!

— Окхрор Чевкх нет между нас, — медленно сказал иерарх. — Мы буду держать вас здесь ночь и день. Ничто не угрожает. Но мы не могу обеспечить вашу жизнь не в эти стены. Пребывать вам порознь. Таково требование правил. Ваше помещение будут готов скоро.

Дверь закрылась.

— Я и не знал, что вы епископ, — сказал Юл.

Отец Александр растирал кисти рук, морщился. Юл потер костяшками пальцев ссадину на щеке; ссадина не столько болела, сколько чесалась.

— Это как к вам теперь обращаться: Владыко? — настаивал Юл.

— Я еще не епископ, — сказал отец Александр. — Я временно исполняю обязанности... — Он усмехнулся чему-то. — Посвящение должно было состояться на будущей неделе.

— Должно было? А что случилось?

— Раз уж они убили Чевкха...

Юл хотел было возразить — слова застряли в горле. Он прокашлялся — не помогло. Стены были каменные, и на каменном карнизе горела толстая, в руку, витая свеча. Под потолком шла узкая, как бойница, отдушина. Снаружи было темно.

— Юл, — позвал из угла Цуха; он сидел в позе отдыха, но не дремал. — Что такое по-русски: «воят каат казла»?

— Что? — не понял Юл. Потом до него дошло. — Это ты от кого такое слышал?

— Слышал, — сказал Цуха. — И, знаешь... мне показалось тогда, что вы не любите нас. Терпите, но не любите. Это так?

— Нет, — твердо сказал Юл.

— Я не говорю про тебя. Я говорю про всех. Что вы все, больше или меньше, терпите. И это обидно. Многие обижаются.

— Вот как... — покачал головой Юл. — Тебе это надо было давно сказать. Слушай, я буду объяснять. Вы видите — глазами. Слышите — ушами. Чувствуете вкус — языком. Так? А мы еще и носом, когда дышим, чувствуем... вкус воздуха. И в разных местах и вокруг разных людей и предметов он разный. Ты понимаешь меня?

— Наверное, — сказал Цуха. — А вокруг нас он неприятный. Так? Поэтому вы морщитесь?

— Он слишком сильный. Ты же морщишься от яркого света?

Цуха ничего не сказал, задумался. Потом развел руками:

— Удивительно. А в остальном мы так похожи...  
Загремела и открылась дверь.

— Выходи, — сказал иерарх, указывая рукой на Цуху.

Цуха встал, шагнул к двери. Повернулся, подошел к Юлу, особым жестом сжал его руки. — Брат, — сказал он, глядя Юлу в глаза; с этой секунды Юл был принят в «дети дождя». Быстро вышел, как бы нечаянно толкнув плечом иерарха. Дверь встала на место, и за дверью глухо завозились.

— Я понимаю, к чему вы клоните, — сказал отец Александр. — Что постановка вопроса, кто лучше: А или Б, — порочна сама по себе. Христианин лучше мусульманина, ариец лучше еврея, рабочий лучше заводчика — все это было и ни к чему доброму не привело? Так? Но в нашем случае это сопоставление не годится, потому что у нас не А и Б. У нас А и ноль. Зеро. Пустота. И какое бы сопоставление ни взять: «больше», «лучше», еще как-нибудь, всегда А будет преобладать над пустотой.

— Лихо, — сказал Юл. — То есть я — это пустота.

— В этом смысле — да.

— Независимо от того, в какого именно бога верит мой визави?

— Бог един, — терпеливо сказал отец Александр. — Различны лишь имена.

— Это сейчас, — сказал Юл. — А до подписания Великой Конкордации?

— Сомнение и гордыня, — горько произнес отец Александр. — Сомнение и гордыня — вот что нас разделяет.

— Именно так, — сказал Юл. — Вы это отмечаете, мы на это опираемся. Может быть, мы устроены по-разному, и то, что для нас основа жизни, для вас — яд?..

— Сатанинское искушение, — сказал отец Александр. — И овладело столь многими... Печально.

— В таком случае Сатана крайне непредусмотрителен. Ведь именно благодаря тому, что сомнение и гордость присущи большей части человечества, вашей церкви удалось удвоить число прихожан — за счет здешних неофитов, кажется, чересчур страстных в вере... как, впрочем, и положено неофитам... тихо...

По коридору кого-то проволокли.

— Не к нам, — сказал отец Александр.

— Не к нам... — эхом отозвался Юл. — Вы в первый раз в тюрьме? — спросил он отца Александра.

Отец Александр вздрогнул:



— Я? Да. Да, первый, конечно... А вы?

— А я сидел однажды. Три дня. У вас.

— За что же?

— Непочтительное высказывание в публичном месте... неопытный еще был, неосторожный...

— Но тогда, наверное, не в тюрьме, а в монастыре?

— Какая разница...

— Но, Юлий Владимирович! — воскликнул отец Александр. — Как можно сопоставлять — убежище и узилище?

— Мне показалось, что разница только в названии, — сказал Юл. Конечно, вы видите оттенки... А мы, поверьте, просто не обращаем на эти оттенки внимания. Лишение свободы — что еще надо?.. Вообще России не везет со свободой: то крепость, то тюрьма, теперь вот — монастырь... но в монастырь идут добровольно — а когда человек рождается в монастыре, всю жизнь в нем проживает и умирает, так и не увидев ничего кроме... это уже должно называться как-то иначе. И потом: если вера внедряется такими мирскими способами... может у вас человек, заявивший, что он атеист, поступить хотя бы в технический вуз?

— Тихо, — сказал отец Александр. — Вы слышите?

— Стреляют, — сказал Юл. — Далеко.

Несколько минут они прислушивались к стрельбе. Потом все стихло.

— Будете продолжать? — спросил отец Александр.

— Нет, — сказал Юл. Ему вдруг стало все равно.

— Так вот: может быть, вы и правы. Может быть, это только так выглядит со стороны, а может быть, верно и по существу. Не знаю. Но дело в том, что иного пути нам просто не дано. И это — последний шанс, причем не для нас, а для вас, для всех гордецов и сомневающихся. Или жизнь будет переустроена в духе Евангелия, или просто прекратит течение свое. Не мне вам рассказывать, что творится в безбожной части мира — насилие над самим естеством, взять хотя бы сны по заказу, как их?..

— Онейропии, — подсказал Юл.

— ...эти проживания во сне других жизней, бесконечно греховных... и становится ясно, что альтернативой духовному возрождению мира будет не нынешнее ваше богатство и мощь, а всеобщее озверение и вырождение. Через двадцать лет, через пятьдесят — но неизбежно.

— И миссия России — это возрождение совершить?

— Ваша ирония ни к чему. Более того, даже у вас в высших кругах понимают это, потому что помога-

ют нам. Должен сохраниться резерв духа, который даст человечеству возможность выстоять и остаться тем, чем было замыслено: общностью подобию Божьих...

— Новый ковчег, значит, — сказал Юл. — В океане греховности. И то, что мы даем вам деньги, энергию, продовольствие, возим вас на своих кораблях по планетам — это все во имя сохранения вашей духовности? Интересная мысль. Хотите, я открою вам вашу же величайшую государственную тайну? Вы слышали что-нибудь об Обители святого Александра Суворова?

— Не помню, — сказал отец Александр.

— Есть такая обитель — внепархиальная. К северо-западу от Царицына. Берут туда только мальчиков-сирот пяти, самое большое семи лет. Там они и живут до самой смерти — всю жизнь в стенах. А под землей там заложены термоядерные заряды, и монахи дежурят при подрывной кнопке. Мощность зарядов достаточна, чтобы всю Евразию засыпать радиоактивным пеплом, да и на Америку кое-что попадет... Теперь вам понятно, почему Конфедерация так лояльно к вам относится?

— Этого не может быть, — тихо сказал отец Александр. — Этого просто не может быть — того, что вы рассказали...

— Наведите справки. Только осторожно.

— Это чья-то ложь, которая...

— Туда время от времени приглашают инспекторов Конфедерации — наверное, чтобы мы не теряли остроту восприятия... Мой отец был там дважды. Монахи довольно ехидно говорили, что пример его прадеда оказался чрезвычайно полезен.

— Теперь — к нам, — сказал отец Александр.

Дверь отъехала. Юл встал.

— Ваше преосвященство, — сказал иерарх. —  
Прошу ваше.

Отец Александр встал, повернулся к Юлу и иноку, поднял руку, благословляя.

— Господи, помилуй нас... — прошептал он.

Юл задремал и проснулся. Казалось, прошла минута, но руку он успел отлежать намертво — рука мотнулась и стукнула его по груди, тяжелая и бесчувственная, как деревяшка. Было тихо — так тихо, что слышалось попыхивание свечи: на фитиле образовался длинный нагар, пламя дергалось и коптило. В руку горячо и больно пошла кровь. Юл сидел неподвижно, стиснув зубы. Наконец рука обрела подвижность, хотя и оставалась еще тяжелой и горячей.

Шевельнулся Олег, застонал. С него наручники не сняли — боялись. И тут опять загремела дверь.

Она отъехала немого, и в щель кого-то втолкнули. Человек упал ничком, закрывая лицо и голову руками — и тут же камеру наполнил резкий, разрывающий ноздри смрад Игрикхо. Юл вскочил, зажимая рот и нос. Олег закрылся руками и смотрел, ничего не понимая спросонок. Человек медленно перевернулся на бок, подтянул колени к животу и с минуту лежал так, не двигаясь и, кажется, не дыша. Он был оборван и страшно, фантастически грязен. Потом он со всхлипом втянул в себя воздух и выстонал:

— О-о-о, дья-авол...

По голосу Юл его и узнал. Это был Петров.

— Владислав Аркадьевич? — наклонился над ним Юл. — Что с вами сделали?

— Кто это? — спросил Петров со страхом. Ладоней от лица он не отнял. — Юлий Владимирович? Что вы тут делаете?

— Представьте себе — ищу вас. Но — что с вами? Вас били?

— Похоже на то... Посмотрите, что у меня с глазами. — Он с трудом убрал руки.

Вокруг глаз были черные круги, веки вздулись и запеклись кровью. Юл осторожно — Петров напрягся и застонал — кончиками пальцев раздвинул веки. Ничего нельзя было разобрать: какой-то рубиново блеснувший студень...

— Ни черта не видно, — сказал Юл. — Тут только свеча.

— Чем-то хлестнули по глазам, — сказал Петров. — Я не понял, чем.

— Цепью, чем же еще, — мрачно сказал Юл. — Ладно, главное, что не вытекли, все остальное поправимо. Больно?

— Больно, конечно. Еще ребро... вот здесь...

Юл потрогал. Под пальцами хрустело.

— Кто же это вас?

— Не знаю. Окружили, кричали... потом отвели куда-то Вещу...

— Это садовник?

— Да... и чем-то меня по глазам... Мне кажется, его убили.

— И где же все это происходило?

— Там — в Рощах.

— Вы пошли в Рощи? Без фильтров? Как же вы выдержали?

— Да... ничего. Выдержал. Запах и запах. Ничего.

— Что же вы рацию-то забыли, — сказал Юл. — Разве же можно так?

— Забыл, — сказал Петров. — Быстро собрались — только в монастыре и вспомнил. Слушайте, — он попытался сесть, — надо же как-то сообщить...

— Знают, что мы здесь, — сказал Юл. — Утром выцарапают. Или днем.

— Да нет, я не про это, не про нас. Послушайте: мне Филдинг описывал здешнюю ситуацию и просил проверить кой-какие предположения... гипотезы... Я и проверил. И все сходится, понимаете?

— Нет, — сказал Юл. — Я ничего не знаю о предположениях Филдинга. Он со мной не делился.

— Ну, значит... мне-то он все описал детально... Ладно, слушайте. Эти животные, Игрикхо, выделяют огромное количество летучей органики, и в этот букет входят амины, необходимые для работы «трезубца» — есть у здешних людей такая железа... а «трезубец» вырабатывает гормоны, которые регулируют энергетику нейронов мозга... понятно, да? Им все время от времени нужно дышать этим запахом — который от Игрикхо. Но это не все. У Игрикхо детеныши появляются раз в четыре года, и к двум годам они проходят критическую фазу развития... для того, чтобы начать созревать, им надо полу-

чить извне гормоны роста, которые их организмы не продуцируют...

— Понял, — сказал Юл. Сдавило горло. — Эти жертвоприношения — это... это...

— Да, — сказал Петров. — Звено симбиотической цепочки.

— Извините, — прошептал Олег, — это значит?.. Да как же это может быть — такое?..

Ему не ответили. Отвечать было нечего.

— Что же делать-то, Господи? — спросил он. — Что же нам теперь делать?!

— Днем бы раньше, — с тоской сказал Юл. — Днем бы раньше... мы бы раскрутили Дворец, и еще можно было бы спасти... Не все, — поправил он себя, — но кое-что — можно было бы... Ввести в Долину солдат...

Все это бесполезно — он знал, — но все равно: протянуть еще немного, продержаться... и, может быть, удастся что-то придумать, что-то придумать, не бывает же так, чтобы не было выхода...

— Это мы во всем виноваты, — сказал вдруг Олег и заговорил, захлебываясь и ударяя в пол скованными руками: — Мы виноваты, мы дали им наше понятие греха, не зная, кому даем... не понимая, что происходит здесь, мы думали, что этот мир во всем



подобен нашему... Боже, если Ты наказываешь нас, то почему Ты не пожалеешь их?.. Что делать, что делать, что делать?..

— Поздно, — сказал вдруг Петров, и Юл подумал: да, поздно. Не успеть. Он вспомнил то, что мельком успел заметить в монастырском дворе, когда их вели сюда. Это конец. Уничтожением Служителей они не ограничатся — и это будет конец. Игрикхо живут только в этой долине. Больше нигде. Покинутые города... а теперь уходить будет некуда. Все, все. Конец. Торжество гуманизма над древними суевериями. Конец.

От погони он оторвался, потеряла его погоня, и те, которые шли по мосту, не знали о побеге — а то, конечно, обратили бы внимание на шум падения... второй раз, и опять метров с семи, хорошо, на осыпь... если бы и теперь на твердое, не поднялся бы... Не останавливаться, не останавливаться... колени болят, но не останавливаться, иначе не дойти... не дойти... Было почти светло, светлее, чем в лунную ночь на Земле: ребята на «Европе» развернули солнечный парус, и свет от него как бы случайно накрыл Долину Священных Рош. Спасибо, ребята, догадались, без света было бы совсем худо... вы только не переусерд-

ствуйте там, не затейте каких-нибудь десантов... Юл хорошо представлял себе, что происходит сейчас там: на «Европе», в посольстве, в российском представительстве, в Малой прихожей Дворца. Рацию бы мне, рацию, рацию, крокодилчика моего зелененького... монах, обыскивавший его, отстегнул от пояса Юла цепочку с брелоком, а когда Юл запротестовал — усмехнулся, с силой оторвал крокодилчика от колечка с ключами и, глядя Юлу в глаза, протянул ключи... Здесь, на дне ущелья, тоже была тропа — хорошо утоптанная, но узкая, и Юл понял: Петров где-то ошибается. На секунду ему стало легко. Ведь семьдесят миллионов человек, это по двести тысяч ежедневно, чтобы побывать здесь хотя бы раз в году каждому... на четыреста квадратных километров Долины — по пятьсот человек на квадратный километр... Нет, здесь такой плотности не было никогда... Юл вошел в ритм и двигался «волчьим скоком» двести шагов бегом, двести шагом. И в этом ритме в памяти прокручивались Песни Паломника — именно прокручивались, написанные синей тушью на желтой шелковой ленте... и вдруг остановились и вспыхнули новым смыслом: «Отец, два возраста священных у твоего чада, два возраста, лежащих между магическими числами: с семи до одиннадцати, имену-

емый Нежным, и с семнадцати до девятнадцати — то возраст Испытания... Чадо твоё в Нежном возрасте укрывай для сна своим плащом паломника, и пусть он видит в снах Рошу, где растут Священные Деревья... Когда же придет срок Испытания, направь его на дорогу, но больше не иди с ним сам...» Теперь все стало на свои места, и припомнился кстати старинный манускрипт: медицинский трактат о железе «трезубец», где говорилось, что в возрасте семнадцати-девятнадцати лет «железа налита кровью и соками так, что стесняет сердце, и лишь дальняя дорога может разогнать кровь...» Главное дойти, подумал Юл, главное — дойти... он уже примерно знал, как будет действовать: шеф контрразведки Дворца Министр Дьюш — очень неглупый человек... очень неглупый...

Ущелье оборвалось сразу, Юл даже не заметил этого, а почувствовал другое: стало теплее. Странно, густой смрад не мешал ему дышать, не перекрывал горло, как это бывало, — просто существовал, и все. Может быть, потому, что нарастал постепенно, а может быть, потому, что другого пути все равно не было. Несколько раз впереди между деревьями возникал красно-желтый свет факелов, но Юл легко уходил от встречи: проснулись, наверное, какие-то древ-

ние инстинкты, и сквозь боль проступила телесная радость — от этого ночного, но светлого леса, от пружинящего мха под ногами, от реальной, но преодолимой опасности... он чувствовал себя странно — легким зверем — и очень свободно, так свободно, как, наверное, никогда в жизни... «Вера — как, впрочем, и сама жизнь — живет и развивается сама по себе, не имея ни цели, ни смысла, и тот, кто желал бы приспособить ее для разрешения мирских проблем, извратил бы природу ее...» Тушхет, мыслитель реформатор первых лет династии О, мог бы стать здешним Ганди, но — не успел... «Нельзя отнять у золота его блеск; но если сможешь ты отнять его и нанести на стены дома своего, чтобы сделать красиво, то будет у тебя только блеск на стенах, а вместо золота — ноздреватый камень; и усмехнется над тобой Создатель...» Читайте Тушхета, отец Александр, и вы почувствуете дивный вкус сомнений... впрочем, вы, возможно, уже усомнились, да и может ли честный человек жить, не сомневаясь?..

Он хотел проскочить между двумя группами с факелами, понял, что вылетит сейчас на открытое место, хотел вернуться — там тоже уже были факелы. Он попал в кольцо. Сохраняя в себе звериное, притиснув к земле, скользнул к купе деревьев Шу, протис-

нулся между мохнатыми стволами, приник к ним. Теперь его нельзя было увидеть с трех шагов.

Деревья Шу стояли на краю поляны, а в центре поляны росли деревья Игри: как обычно, два больших, а вокруг — с десятков поменьше. Деревья Игри напоминали длинные толстые морковки, растущие наоборот — корнем в небо. Из стволов под прямым углом торчали голые сучья, и только на концах их, как метлы, курчавились ветви с тонкими сухими листьями, шелестящими даже при полном безветрии. На сучьях висели Игрикхо — их было множество. По краю поляны стояли и ходили люди с факелами, звучала неразборчивая речь и изредка — брань. Потом все зашевелилось, факелы стали подниматься и опускаться, задавая какой-то ритм, а потом Юл увидел — в полусотне шагов от себя — группу иерархов Терксихьюм и с ними — отца Александра! Было там еще несколько православных священников, но Юл на них не смотрел. Он стал выбираться из своего убежища, и тут грохнул первый выстрел, пауза — и началась пальба.

Люди с факелами и ружьями окружили деревья и стреляли вверх, и Игрикхо, как перезрелые плоды, срывались с сучьев и падали вниз, на лету раскидывая руки и ноги и становясь безобразно похожими

на людей, потом кто-то, надрываясь, кричал: разойдитесь, разойдитесь! — и сквозь толпу потащили телегу с бочкой, взревел мотор помпы, и из шланга хлынула огненная струя, и три дерева сразу запылали огромным костром. Игрикхо, горя, посыпались на землю и бросились бежать сквозь толпу, раздавался нечеловеческий вой, снова затрещали выстрелы... один из Игрикхо бежал прямо на Юла, упал и стал корчиться — сквозь охватившее его пламя было видно, как лопается кожа и расползается плоть, — но он был еще жив и пытался ползти...

Юл как сквозь воду видел, как наплывает на него — неровно, колыхаясь и покачиваясь, — группа иерархов с отцом Александром среди них, как поворачиваются в его сторону головы и как движутся — медленно, преодолевая сопротивление — люди. Факелы пылали, и справа с ревом взлетело вверх пламя горящих деревьев. За иерархами стояли еще кто-то, и Юл не сразу понял, что это студенты — «ведомые Создателем»; факелы и ритуальные синего железа мечи были у них... и то ли показалось, то ли правда — среди многих лиц он узнал отца Никодима, но это было совсем неважно... Юл стоял перед отцом Александром и должен был немедленно, прямо сейчас ему все объяснить, но отец Александр

смотрел сквозь него, и в глазах его плясало пламя... в безумных, широко открытых глазах... «Остановитесь! — закричал Юл. Остановитесь!!!» Отец Александр смотрел на него и не узнавал. В последней надежде прорваться к нему Юл протянул к нему руки, а мысль метнулась сразу в двух направлениях: позвать отца Никодима и объяснить ему все и обратиться к иерархам и попытаться растолковать, как бы трудно ни было, что такое запах, гормоны и все остальное... Он повернулся к одному из иерархов — и тут боковым зрением увидел мгновенный синий выскерк и почувствовал томящую боль в плечах... и земля подлетела, и ударила в лицо, и повернулась, замерев косо над головой. Небо, полное звезд, было под ним, и в небо это падал огненный поток, скручиваясь спиралью, и по одному краю неба занималось от пылающих факелов, а на другом краю неба стоял великан, воздевший руки так, будто кричит кому-то далеко. Только лица у великана не было, и это было мучительно неправильно. А потом небо стало вздуться громадным нарывом — великан сделал шаг. Черный огонь разрывал небо изнутри, и готов был прорваться, и прорвался — великан сделал еще шаг и стал падать вперед, — и хлынул, затопляя все в мире. И из шеи великана ударили черные струи.

И Юл закричал в ужасе и бросился бежать, но двигаться не смог и крика своего не услышал...

— Скотоложец, — сказал иерарх, трогая носком сапога голову, лежащую в траве. — Можешь пойти и вздрючить сам себя. Ты хотел, чтобы мы продолжали скормливать своих детей этим скотам. Но Создатель распорядился иначе...

Отец Александр не слышал его. Он мучительно старался понять, чего от него хотят эти люди вокруг. Слишком много огня, слишком много огня, огонь мешает сосредоточиться...

Инок Георгий посреди темноты, воздев к небу скованные руки, молил:

— Вразуми, Господи! Вразуми, Господи! Вразуми, Господи, вразуми, вразуми!..

Ответом было молчание.

К концу шел двенадцатый день священного месяца Ринь. Новый день наступал только с восходом солнца...



**-А** не вздремнуть ли нам, сэрры? — спросил Серега. — Еще ж долго светло будет.

— Да, правда, — подхватила Наташа. — Кто хочет, я могу постелить. А, Юрий Максимович? Как вы?

— Спасибо, Наташенька, не надо, — сказал Юрий Максимович. — Я, если захочу, так прямо тут, в кресле, ты же знаешь...

— Я поставлю раскладушку, — сказал я. — Кто захочет, ляжет. А то, правда, еще долго ждать.

Элла встала из-за столика, отложила журнал.

— Я лягу, — сказала она. — Голова просто раскалывается.

— Форточка открыта, — сказал Серега.

— У меня не поэтому, — сказала Элла.

Я поставил раскладушку за занавеской, разделявшей пополам единственную комнату Наташиной квартиры. На кровати, укрывшись с головой, спал Руслан — последнюю неделю ему приходилось ра-

ботать по полторы смены, и он не высыпался катастрофически.

Мы, остальные, обходились кто как. Элла брала работу на дом, Серега был дворником, Наташа числилась где-то переводчицей и действительно временами что-то переводила, но, главным образом, проживала потихоньку полученную при разводе долю за «Жигули» и мебель. Мне было проще всего: мастерская располагалась в подвале кинотеатра и имела отдельный вход. Никто не контролировал, когда я прихожу на работу и когда ухожу, — были бы афиши в срок. Иногда мы там и собирались, в мастерской, еще когда нас было четверо, а у Наташи возник короткий, но бурный роман с ее тогдашним сослуживцем и ей позарез нужна была квартира. Потом роман иссяк, а к нам прибилась Элла, не выдерживающая подвала, — там душно, и Юрий Максимович со свежими еще воспоминаниями о перенесенном инфаркте, поэтому мы собирались теперь только у Наташи — шведской семьей, как острит Серега. Он острит часто и не всегда умело, но это его особенность, а не недостаток. Он холостяк, как и я, Элле двадцать два, и по некоторым причинам замуж ее совсем не тянет, Юрий Максимович пенсионер и одинок, и труднее всех, как это ни стран-

но, приходится Руслану, у которого жена и две дочери, и всех их он любит, и все они любят его, но выдерживать эти наши штучки нормальному человеку ой как нелегко, тем более что жена Руслана все еще верит во всемогущество медицины и, так сказать, народной медицины; время от времени Руслан отправляет их к теще в Нальчик и перебирается к нам «со скотом, двором и имуществом». Как-то так получилось, что сегодня первое новолуние, которое мы встречаем вшестером, а новолуние, надо сказать, — это пик наших мучений. Если не считать, конечно, предгрозового затишья.

Темноты я боюсь с детства — все, говорят, боятся, только у других проходит, а у меня вот не прошло, — но только четыре года назад эти страхи стали какие-то особенные, а три года назад я увидел объявление в «Недельке»: «Женщина двадцати шести лет, боится темноты, познакомится с мужчиной, имеющим этот же недостаток» — и телефон. Я позвонил, потом пришел и таким вот образом познакомился с Наташей, Серегой и Толиком — был у нас еще и Толик, весь какой-то тоненький и блесый, тем же летом он утонул, купаясь, а может, и не выдержал — как раз на новолуние дело было... Мы порассказали друг другу о себе, еще тогда подиви-

лись, как это синхронно у нас началось, но значения этому не придали, больше интересуясь подробностями видений. У меня, собственно, подробностей было мало — просто искажение форм и положений предметов — «дисморфия», только это вызывало такой нечеловеческий ужас, который словами не передать. Толику мерещились членистоногие, в духе искушений святого Антония, Сереге — атрибутика детских страхов: Черная Рука, Красный Череп, Белые Перчатки, ведьмы, мертвецы и прочее, причем если он переживал это в одиночку, то к утру у него на горле остались синяки — так сильно было самовнушение. Наташу оплетали невидимые, но очень хорошо осязаемые щупальца, чудовище пряталось в углах, в щелях, под мебелью, где угодно; вернее, это были не щупальца, а пищеварительные ворсинки, потому что тело ее начинало растворяться: становилась прозрачной и исчезала кожа, обнажались мышцы и сухожилия и так далее. Наташа очень не любила говорить об этом, в отличие от Сереги, который часто рассказывал о своих приключениях, — как мне кажется, через силу; это была бравада, но не перед нами, а перед самим собой. Руслана же преследовали спруты, медузы и прочая придонная сволочь. Элла о своих видениях рассказала одной Наташе, но по

ночам она кричала, и можно было понять, что ее мучает. Юрия Максимовича достала минувшая война — а может быть, и не только война; сам он молчал, но однажды Серега принес магнитофон и крутил Высоцкого, и когда дошло до «Баньки» — помните это: «Истопа ты мне баньку по-белому, я от белого света отвык...», — Юрий Максимович заплакал и сказал: «Нет, ребята, вы мне объясните, откуда этот пацан все знает, откуда?..» Потом я долго ждал продолжения разговора, но продолжения не последовало. Вот такими мы были.

Бог знает, как Наташа догадалась, что в компании переносить страхи будет легче. Она и сама затруднялась сказать, что ее на эту мысль натолкнуло. Может быть, ничто и не наталкивало, просто захотелось нормального человеческого сочувствия, утешения, а кто его мог дать, кроме своего? Для прочих людей мы психи, больные, с ними о наших делах лучше не заговаривать. Есть, конечно, исключения, но так мало... Сколько я об это обжигался, и Наташа — взять ее отношения и с мужем, и с теми мужчинами, что были после. А уж о Руслане и говорить не приходится: жена его любит безумно, а понять не может. А кажется, что проще: вместе нам легче, и не просто легче, а почти совсем легко. И видения ста-

новятся не такими глубокими, и понимание остается, что это все-таки галлюцинация, а главное — страх почти пропадает. Потому-то мы так и вцепились друг в друга. Но, с другой стороны, почему, скажем, мне не пришло в голову искать компанию? Или, если женщины более чутки, то — Элле? А ведь ту бесконечную фразу на неизвестном языке тоже первой стала слышать именно Наташа, мы еще ничего не слышали, а она уже различала отдельные слова и пыталась записывать...

Элла осторожно легла, потеряла виски, чуть-чуть покачала головой, сморщилась:

— Ужасно...

— Дать тебе чего-нибудь? — спросил я.

— Стрихнину, — сказала Элла.

— Слишком мучительно, — сказал я. — Лучше вина.

— Потом только хуже будет, — сказала Элла. Это правда — опьянение вначале несколько сдерживало страх, но потом плотину прорывало...

— Немного, — сказал я. — К ночи все выветрится.

Я сходил на кухню, налил полстакана «Эрети» и дал Элле. Она выпила, как микстуру, и откинулась на подушку.

— Попробую уснуть, — сказала она.

— Валяй, — сказал я. — Мы не будем шуметь.

— Мне все равно, — сказала Элла. — Раз в нашей комнате устроили танцы, а я все проспала и ничего не слышала. Знаешь, Вадь, предчувствие у меня сегодня какое-то премерзкое...

Время, как всегда вечерами, текло медленно. Наташа с Серегой сели играть в шахматы, Серега проигрывал и злился; Юрий Максимович читал, временами он откладывал книгу и устремлялся взором куда-то далеко.

— Что читаете? — спросил я его. Он показал обложку: это был «Властелин спичек» Леона Эндрью.

— Страшненькая вещь, — сказал я.

— Страшненькая, — согласился он. — Но не до конца. Обратите внимание, Ланкастер манипулирует своими подданными умело и даже изящно, но однообразно, опираясь только на их низменные инстинкты...

— Но ведь иначе, наверное, и нельзя.

— Можно. Можно, можно... Дружба, любовь, патриотизм, верность, честь... материнство... Все может стать той веревочкой, за которую будут дергать.

— Да, — сказал я. — Это страшнее. Даже думать не хочется.

— Мне тоже не хочется, — сказал Юрий Максимович. — Но думается... Знаете, Вадим, — сказал он после паузы, — я ведь начал читать по-настоящему лет пять назад — после больницы. Раньше и времени не было, и отношение было соответствующее: мол, литература — она литература и есть, в жизни все по-другому, по книге жить не научишься, в книгах все как в книгах, а в жизни — как в жизни. И вообще, работать надо, а читать — это уж как получится. А что, нас так и воспитывали. Даже в школе, хотя там, может быть, ставили совсем иные цели. Это только сейчас я понял, что между упрощением с дидактической целью и вульгаризацией никакого различия нет. Учебники всегда — дрянь, учиться надо по первоисточнику.

— Так точно, — согласился я.

Мы еще поговорили о литературе.

— Это же кошмар, как преподают, — горячился Юрий Максимович. — Я, например, считаю себя просто ограбленным. Кто-то решает не только, какие книги можно читать, а какие нельзя, но и как понимать прочитанное, а это, если хотите, преступление. Я уже говорил, что только последние пять лет читаю всерьез и чувствую, что проживаю еще одну жизнь. Выходит, если бы не инфаркт, у меня было бы од-



ной жизнью меньше. Вы-то хоть освободились от давления школьной программы?

— У меня была тройка, — сказал я. — Я вечно спорил с учителями.

— Молодец, — сказал Юрий Максимович.

— Оппортунисты, — сказал Серега, поднимаясь. — И оппозиционеры. Все бы вам спорить. Берите пример с простого народа. С меня. Вот я проиграл сейчас полведра чищенной картошки и иду платить проигрыш. Кто-нибудь составит мне компанию?

— Я и составлю, — сказала Наташа, — кто еще?

— Ну уж нет, — сказал я. — Не будем превращать фей в кухарок. Идем, Серега. А вы бы задали ей перцу, Юрий Максимович? Восстановите попранную мужскую честь!

— С удовольствием, — сказал Юрий Максимович. — Защищайтесь, мадам!

На кухне мы сели друг напротив друга, поставили ведро посередине и стали чистить картошку.

— Что-то невмоготу мне сегодня, — тихо сказал Серега. — Давит, как перед грозой. Как там по прогнозу?

— По прогнозу не будет. Может, окно открыть?

— Не надо, комары налетят. Вывелась, говорят, какая-то новая порода комаров, которые в полете не

жужжат и не помирают от дихлофоса. Живут в подвалах.

— Это что, — сказал я. — Вывелась новая порода людей, которые просты в обращении, как дураки, и почти так же полезны, как умные. Живут где попало...

— Н-да... — сказал Серега и задумался. Даже картошку перестал чистить, так и застыл с недочищенной в руке.

Потом мы поставили кастрюлю с картошкой на плиту и пошли в комнату. Юрий Максимович спал в кресле, Наташа вязала.

— Ну как? — ревниво спросил Серега.

— Три-ноль, — сказала Наташа. — Мужская честь спасена.

— Куда мы без стариков? — пробормотал Серега.

Я посмотрел на Наташу. Чем-то ее вид мне не понравился. Днем она всегда чуть-чуть, ну самую малость, переподтянута, всегда на самоконтроле, и только когда садится вязать, позволяет себе расслабиться. У нее удивительно уютный вид, когда она вяжет. А сейчас она сидела прямо, и руки были напряжены, и концы спиц — желтые шарики — подрагивали.

— Тебе что, нехорошо? — спросил я.

— Нет, ерунда, — сказала Наташа. — Так...

Я подсел к ней, обнял за плечи.

— Вечер такой тяжелый, — пожаловалась она. —  
Хоть бы ночь скорее, что ли...

— Новолуние, — сказал я.

— Не в первый же раз, — сказала она. — Но не  
припомню, чтобы так муторно было. Поплакать бы...

— Поплачь, — сказал я.

— Не получается. Я уже пробовала. Вадь, погладь  
меня по голове...

На кухне зашипело, Серега сорвался с места и  
побежал туда. Что-то он там делал, полилась вода,  
потом все стихло; Серега не показывался.

— Деликатный, — прошептала Наташа.

— Ага, — сказал я и поцеловал ее в глаза, сначала  
в один, потом в другой. — Какие они у тебя пу-  
шистые...

Она опустила голову, прижалась ко мне щекой и  
судорожно всхлипнула. Я обнял ее еще крепче.

— Заведи себе жилетку, — глухо сказала она. —  
Мне будет куда плакать.

Я гладил ее волосы, щеку, шею и чувствовал, как  
она понемногу оттаивает. Наташа плакала редко и  
совсем не по-дамски; так, как она, плачут парни-

подростки, стыдясь и прячась. А сейчас она просто сидела, замерши, не дыша, только слезы лились и лились, и со слезами изливалось внутреннее ее напряжение, и руки уже успокоились, и, может быть, понемногу становилась на место душа...

— Ну, ничего, ничего, — шептал я ей. — Привыкнем же когда-нибудь, ко всему человек привыкает, и мы привыкнем, вот увидишь, будем жить, видишь, как хорошо приспособились вместе...

Я говорил и знал, что вру, что приспособиться можно действительно ко всему, только не к чувству страха. К опасностям, к самому нечеловеческому существованию, и чему угодно, за счет того, что страх притупляется. А у нас он каждый раз новенький, с иголочки — пожалуйста... А вторым планом проходило удивление, досада, злость: да что на нас всех накатило-то сегодня? Переждем, как обычно, переждем, ведь все же вместе, а вместе никогда не бывает уж очень страшно, даже в новолуние, даже перед грозой, когда кажется — ну, все...

— Может, пойдем в мастерскую? — спросил я Наташу.

— А ты хочешь?

— Глупая девчонка, она еще спрашивает...

— А сколько времени? Девять скоро... Нет, давай сегодня здесь пересидим, вместе со всеми, а под утро пойдем, ладно?

— Утром они сами все разойдутся.

— Тем более. Понимаешь, мне чудится, что сегодня будет что-то такое... лучше нам быть всем вместе, понимаешь?

На кухне снова завозился Серега, потом позвал:

— Есть-то будем сегодня, кошмарники? Картошка готова. Проснулся Юрий Максимович.

— Что, время уже? Ах, картошка... Сейчас, Сережа, я ведь чуть не забыл, мне ребята рыбы привезли, какая-то американская селедка, рыбина почти на три килограмма, и посол хороший, вот мы ее сейчас с картошечкой...

Я пошел будить Эллу и Руслана. Элла спала, подложив обе руки под щеку и чуть приоткрыв рот, и было ей сейчас по виду лет тринадцать. Я провел пальцем по ее щеке, она тотчас открыла глаза и улыбнулась.

— Какой мне чудный сон снился! — сказала она. — И зачем только ты меня разбудил?

— Вставай, — сказал я. — Юрий Максимович принес какую-то новую рыбку, сейчас дегустировать будем.

— Прекрасно! — сказала Элла, вскочила, смешно, по-клоунски подтянула брючки и побежала умываться. Руслан, как и полагается, спал богатырским сном. Расталкивать его было бессмысленно, он только переворачивался на другой бок и лягался. Я сразу прибег к последнему средству: принес полстакана холодной воды и тоненькой струйкой полил. Он заворочался, задвигался, закрутил головой, но все же открыл глаза.

— Фу... — забормотал он. — Сейчас... погоди...

— Я-то погоду, — сказал я. — И даже погожу. Картошка годить не станет, вот в чем беда.

— Змеи, — сказал Руслан.

— Прекрати ругаться, — сказал я. — Это неприлично.

— Я не ругаюсь, — сказал Руслан. — Навет и клевета. Я никогда не ругаюсь.

— Вставай, — сказал я.

— Угу. Уже встал. — Он сел на кровати, покачиваясь и тараща глаза. — Уже совсем встал.

— Ну и тяжело с тобой, — сказал я и пошел на кухню. Ели мы всегда там. В комнате был только маленький столик, не то журнальный, не то кофейный, а в кухне — большой и удобный стол-«книжка». Мы поужинали — рыба действительно была пре-

восходна, Юрий Максимович знал в этом толк и имел связи. Руслан остался мыть посуду, а мы перешли в комнату и расселись: Элла, Наташа и я на диване, Юрий Максимович в кресле-качалке, Серега в обычном кресле; между ним и Эллой сядет Руслан — как ему нравится, на полу, прислонясь к стене. Так мы образуем круг, чтобы в нужный момент взяться за руки. Так мы сидели и ждали. Сумерки постепенно сгущались, начаться могло в любой момент, но не начиналось, прошел и занял свое место Руслан, и медленно-медленно тянулось время.

— Спой, Наташа, — попросил Серега.

— Правда, Наташенька, спой, — поддержал его Юрий Максимович.

Руслан молча встал и принес гитару. Наташа взяла гитару, провела пальцем по струнам. Оглядела нас, подумала и начала: «На земле бушуют травы, облака плывут, как павы, а одно, вон то, что справа, — это я, это я... И нам не надо славы. Ничего уже не надо мне и тем, плывущим рядом, нам бы жить, и вся награда, нам бы жить, нам бы жить... А мы плывем по небу...»\* Она очень любила эту песню, Наташа, и часто пела ее именно в такие вот серьезные моменты, а эти начальные строки нравились ей больше

---

\* Вадим Егоров.

всего, остальное, говорила она, обычное, но вот эти, первые — это почти гениально. Бывают такие строчки, которыми и жив поэт, — жив для себя, не для других, — а порой и втайне от других... «Мимо слез, улыбок мимо облака плывут над миром, войско их не поредело — облака, облака... И нету им предела». Потом она спела еще «Двадцатый век засчитывайте за три», и «Проступают нерезко из глубин потаенных...», и «Кавалергарды, век недолог» для Юрия Максимовича, он ее очень любил, и «Казачью» Розенбаума для Сереги, а темнота все не наступала, она начала: «Говорят, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей...» — и когда дошла до припева, мы подхватили: «Под бодрое рычание, под грустное мычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании...»\*, мы орали громко и немзыкально, назло темноте и страху, но когда взошли до слов: «Ах, было б только с кем поговорить!» — почувствовали, что дыхание кончилось, и Серега сказал, оборвав пение:

— Началось.

...Где-то далеко пробили часы. Стало трудно дышать, воздух будто бы обрел вязкость и не желал

---

\* Юнна Мориц.



проходить в легкие, его приходилось проталкивать насильно. Юрий Максимович сунул под язык таблетку. «Включите свет», — попросил кто-то. Я знал, что это не поможет, но встал и пошел к выключателю. Пол оказался вдруг где-то далеко внизу; я смотрел на него, как с пятого этажа; голова закружилась. Выключатель оказался вывернут наизнанку — не выключатель, а форма для отливки выключателя. Я несколько раз провел по нему пальцами, прежде чем что-то щелкнуло, и загорелись лампы. Свет медленно потек от них, желтый и сырой, как яичные макароны. Я, балансируя руками, чтобы не упасть, вернулся на свое место. Все сидели, замерши, плоские, как будто их вырезали из больших фотографий. Свет вдруг стал накаляться, стал белым, потом голубым, ослепительным; потом опять померк. Все переплавилось в этом сиянии — не только люди, но и все вокруг тоже стало плоским, черно-белым и очень зернистым, будто эту фотографию отпечатали с чересчур большим увеличением. Родился и вырос высокий звон, нити его спускались с потолка и набивались в уши, скоро уши оказались наглухо заложены, а звон не прекращался, стали зудеть кончики пальцев, нити натягивались, и руки мои потихоньку начали подниматься вверх, безвольные, как руки ма-

рионетки, да ими они, в сущности, и были, причем сработанные наспех, грубо, в потеках клея, а вместо большого пальца левой руки торчал коричневый сухой сучок. На границе слышимости зазвучала знакомая безначальная и бесконечная фраза на неизвестном языке, голос повелительно выговаривал четкие, как команда, слова, и, повинаясь модуляциям этого голоса, стали напрягаться и расслабляться нити, управляющие руками, и руки стали совершать какие-то движения, как бы пробуя себя на подвижность. Потом они замерли, перевернулись ладонями вверх, и их развело в стороны. В правую мою руку легла ледяная совершенно кисть Юрия Максимовича, в левую тыкались и никак не могли попасть тонкие Наташины пальцы; я скосил глаза — это оказалось страшно трудно сделать, — но увидел только пальцы по-отдельности, лишь через несколько секунд они собрались в кисть, почему-то канареечно-желтую и прозрачную; как я ни силился, я не мог различить ничего, кроме кисти, она существовала совершенно отдельно от тела. Потом внезапно наваждение прошло — кто-то последний взялся за руки, круг замкнулся. По-прежнему трудно было повернуть голову, по-прежнему свет ламп существовал как бы сам по себе и не рассеивал мрак, но нити пропали, и все

мы обрели нормальный облик, хотя бы внешне. Наташа откинулась на спинку дивана, распрямила в колене ногу и посмотрела на нее, убеждаясь, что все в порядке; Элла, оказывается, до сих пор сидела согнувшись, скорчившись, и теперь потихоньку распрямлялась, тяжело и часто дыша, на этот раз она выдержала и не кричала; Руслан был совершенно спокоен, будто ничего и не происходило, его выдержке я всегда завидовал; Серега смотрел в пол; Юрий Максимович, держась за наши руки, тихонько раскачивался в кресле, голова его была запрокинута, раза два он глубоко вздохнул. Но фраза на неизвестном языке продолжала звучать, и мы знали, что это только передышка. Она могла затянуться надолго, но тем хуже было бы потом. Минуты тянулись томительно, рождаясь и умирая на наших глазах, и мы ничего не могли сделать, чтобы помочь им. Громче и громче звучала фраза, потом комната, в которой мы сидели, отделилась от дома и, кружась и покачиваясь, стала подниматься косо вверх, все быстрее и быстрее, и внезапно я понял, что она прикреплена к ободу взбесившегося чертова колеса, высокого, до звезд и выше; на фразу наложилась музыка, не всегда совпадавшая со словами, и эти несовпадения ранили, как осколки стекла. Не сразу я понял, откуда

взялись эти осколки, и только потом я увидел, что одна из стен разбита вдребезги и через нее видны горы, опрокинутые за горизонт, и ленточка заката, потом все это уплыло вниз, сразу потеплело, надвинулся и разошелся в стороны бархатный пыльный занавес, мелькнули чепцы, дилижансы и розы, свечи, горящие и погашенные, глубокий туннель, уходящий в крепостную стену, лиловые пальцы, листающие черный концертный рояль как книгу, из которой сыплются разноцветные буквы; одна большая, вычурно выписанная не то «К», не то «Н», уцепилась за край страницы и висела, дрыгая ногами, с ноги сорвалась туфелька и упала мне на колени, навстречу нам ринулся бесконечный, с крутыми поворотами коридор, туфелька вдруг стала раскаляться и жечь мне ноги, я стряхнул ее на пол, но пропустил момент, когда взлет сменился падением. По рукам прошел электрический ток, прошел медленно и несильно, но пальцы рук свело, и мы не смогли бы их расцепить, даже если бы и захотели. Свистел и завывал ветер, в лицо летели желтые листья, искры и мертвые бабочки, потом падение замедлилось, и комната замерла в неустойчивом равновесии, то есть это была не совсем комната, потому что у нее не было стен, просто кто-то, смеясь, поддерживал мебель в

прежнем положении, а вокруг был непроглядный мрак, темень, хмарь. Фраза на неизвестном языке звучала все громче, ослепительно громко, слова били по голове, как палочки по барабану, и вдруг перед нами на уровне лиц из ничего возник зеркальный ртутный шарик, который рос, колыхаясь наподобие медузы, и в его глубине мы увидели себя, только там мы почему-то стояли, а не сидели, подняв вверх сомкнутые руки; снова начался взлет, ватная тяжесть навалилась сверху, и что было на этом витке, я не запомнил, похоже, что ничего и не было, только дым, едкий, как от плохого угля. Потом комната ухнула вниз, да так, что дыхание остановилось, и опять замерла, но на этот раз еще страшнее, потому что стены были, но они были только коростой, тонкой коркой, по которой змеились трещины, а из трещин проглядывало что-то невыносимо горячее, неистовое, веселое, готовое ворваться и испепелить; шар возник сразу, толчком, и так же толчками стал увеличиваться, раздуваться, будто протискивался откуда-то, и все громче звучала та фраза на неизвестном языке, все громче и все повелительнее, и тут я впервые почувствовал, как вдоль позвоночника ударила горячая струя, прошла через затылок и уперлась в переносицу, чужие пальцы, ставшие вдруг нетерпе-

ливыми, выдавливали ее из меня, как из тюбика, от напряжения я почти ослеп, но увидел, что в зеркале отражаемся вовсе не мы — там стояли кружком и взявшись за руки люди с крысиными головами, и именно они произносили эту бесконечную фразу на неизвестном языке! Что-то там еще было, позади них, но я не понял, что именно, потому что опять начался взлет. Накатила и схлынула зеленая волна, я перевел дыхание и посмотрел на шар, но не увидел его, и не потому, что его не было, а просто на него нельзя было смотреть. Разноцветными бусами протянулись и повисли слова, много слов, целые моря и кладбища слов, они свивались спиралью вокруг того коричневого сгустка, в который превратился шар, когда на него нельзя стало смотреть, и сгорали, сгорали, сгорали; на смену им прилетали другие, они летели на него, как бабочки на огонь, и бабочки тоже летели, еще живые, они умрут только в позапрошлый раз, умрут и смешаются с искрами, это длилось долго, слишком долго, невыносимо долго, достаточно долго, чтобы понять, что это никогда не кончится, и это не кончилось бы, но ворвался ветер, подхватил горящие страницы и унес, и мимо проплыли огромные рыбины, лениво шевеля плавниками, глаза у них были размером с апельсин и слегка косили, потом

открылась равнина, и по ней в шахматном порядке маршировали колонны солдат, и низко-низко над землей, клубясь, летели облака, потом край равнины завернулся и начал скатываться, как ковер, под ковром был паркет с вылетевшими плашками, в плашках были проделаны ходы, там обитали люди размером с муравьев, они любили, ссорились, сходились и расходились, у них была интересная и насыщенная жизнь, и они не знали еще, что паркет собираются ремонтировать; однажды хозяйка помыла полы, и у них возникли легенды о потопе; потом потоп прекратился, воды схлынули, и на берегу осталась масса самых удивительных предметов, но я почти ничего не успел рассмотреть, потому что комната вновь понеслась вниз, вновь захватило дух от стремительного падения, а фраза на неизвестном языке звучала все громче, и вихрем снесло пепел с шара, чужие слова били по голове, оглушая и ослепляя, заставляя подчиняться, подчиняться с радостью и восторгом, с восторгом освобождения от всего человеческого, горячая струя, пронзая все тело, изливалась из переносицы и била в шар, в эту пленку, теперь я понимал, что это пленка, а за ней стояли, взявшись за руки, шестеро, а за ними по шесть в ряд стояли, стояли, стояли, подавшись вперед, крысы,

крысы, крысы, крысы с человеческими туловищами, с человеческими руками и ногами — крысы, много, страшно много крыс, и все они рвались сюда, в наш мир, к нам, а мы отсюда помогали им проваться, я понимал это каким-то неподчиненным еще им уголком сознания, но этот уголок не был властен надо мной, меня мяли и выжимали чужие руки, и из последних сил я старался прожечь эту преграду, что стояла между ними и мной, прожечь ее и пустить их сюда, в наш мир, это и было смыслом всей моей жизни, собрать все силы и еще, еще, еще сильнее, чтобы лопнула преграда, еще сильнее, ну сильнее же!!!

И вдруг все прекратилось. Шар еще оставался, но он стремительно мутнел и съеживался, и вот он пропал совсем, ничего после себя не оставив, ничего больше не было, ничего не звучало, горел свет, встала и прошла мимо меня Наташа, встал Серега, они что-то делали, потом Наташа сказала мне: «Ну, что же ты», а Элла стояла и зажимала рот руками. Серега с Русланом перенесли Юрия Максимовича на диван, Наташа придерживала ему голову, Элла пыталась поить его водой, а потом побежала вызывать «скорую», но пульса у него уже не было и сердце не билось. Совершенно не помню, как приезжал



врач, хотя потом мне сказали, что именно я с ним объяснялся.хлопоты по похоронам взял на себя Руслан — он знал, как это делается. Я зашел к своему другу Сидоренко, кладбищенскому скульптору, и договорился с ним о памятнике — чтобы быстро и недорого. Ночи мы переживали по отдельности. На похоронах было довольно много людей, и только там мы узнали, что наш Юрий Максимович полковник в отставке и Герой Советского Союза. На кладбище мы последний раз собрались впятером.

С кладбища мы поехали к Наташе — мы с ней вдвоем. Мы знали, что остальные не придут. Мы страшно устали друг без друга, поэтому обнялись сразу, только войдя в комнату. Мы торопились, потому что был вечер и надвигалась темнота, мы торопились и говорили разрозненные слова и потому не успевали сказать что-то главное — и так и не успели, мы торопились и ласкали друг друга почти лихорадочно, никогда такого не было с нами, и никогда еще не было такой горечи, — наверное, тела уже прощались, пока души искали утolenия. Потом мы лежали, взявшись за руки, и ждали, когда наступит темнота, и она наступила.

...Все началось сразу, по пробитой уже дорожке. Звонящие нити грубо стянули наши руки, а в ушах

загрохотала та бесконечная фраза на неизвестном языке, и сразу же появилась ртутная точка, рывками, судорожно, конвульсивно протискивающаяся в наш мир; теперь они считали, что мы у них в руках и можно не церемониться, они не пытались маскировать свои намерения, и были правы, наверное, только вот злости они не учили. У меня был уже не только страх, была и злость, и не только у меня, а и у Наташи. Было нечеловечески трудно разорвать руки, но мы их разорвали, пусть для этого мне пришлось упереться ей в грудь ногой — мы их разорвали все-таки, Наташа отлетела к стене и осталась сидеть, вероятно, ее тут же оплели щупальца, а я оказался на полу и замороженно смотрел, как сидящая на кровати божественно красивая женщина превращается в грубо размалеванный гипсовый барельеф; потом в ямочке между ключицами что-то шевельнулось, и приоткрылся глаз, черный, недобрый и внимательный, и взгляд этого глаза был тяжел и осязаем. С трудом я встал и засунул ноги в джинсы, в бездонные колодцы штанин. В уголках рта Наташи гипс треснул, и она сказала: «Уходи». И еще она сказала: «Завтра». Ощущая на себе взгляд ее третьего глаза, я вышел в коридор, на ощупь нашел дверь и вывалился наружу. Не знаю, как я оказался в подвале, в деревянном

подвале, этот дом недавно еще отапливался печами, какой-то инстинкт меня туда привел, а может быть, понимание, что надо забиться сейчас подальше и от простых людей, и от нас: вдруг кто-нибудь не выдержит и побежит искать помощь... Никакими словами нельзя передать, что наваливалось на нас этой ночью — ни до, ни после не было ничего, что могло бы с этим сравниться. Бог знает, выдержали ли бы мы повторные штурмы такой мощи, только и они, наверное, тоже не всесильны...

Рано утром я вернулся в квартиру; Наташа еще спала — лицом вниз, поверх одеяла. Я укрыл ее и прошел на кухню. Там я искал и нашел сигареты, никто из нас не курил, но Наташа иногда покупала для гостей. В свое время я бросил всерьез и надолго, но сейчас было можно. Так я сидел и курил одну сигарету за другой, хотелось подумать, но думать-то как раз было не о чем, все было предельно ясно, и табак меня не брал, покружилась только голова, и все... Потом под окном фыркнул мотоцикл, я выглянул — приехал Серега. Было без десяти одиннадцать. Я просидел пять часов.

Серегу я встретил на лестнице. Утром он, очухавшись, обмотал шею шарфом и поехал проверять нас. Эллу он нашел совершенно уничтоженной, она

плакала и говорила, что жить так больше не может. Он посидел чуть-чуть у нее, понял, что это ей в тягость, сходил в аптеку, взял валерьянки и брома, бром не хотели давать без рецепта, но он уговорил аптекаршу, он кого хочешь уговорит, напоил Эллу этой гадостью, сам принял — и правда, чуть полегчало — и поехал к Руслану. Дверь не открывали, он стал ломиться, вышла соседка и сказала, что Руслан Иванович среди ночи выпрыгнул из окна, причем совершенно тверезый, остался живой, но переломал все кости и теперь лежит в больнице. В больнице Серегу к Руслану не пропустили, но вышел врач и сказал, что состояние серьезное, но не угрожающее, сломаны бедро и таз, пролежит долго, и неплохо бы было, чтобы родственники и друзья подежурили ночью около него, и вот Серега приехал, чтобы посоветоваться: как быть?..

Мы с ним съездили в больницу, взяли телеграфный бланк с печатью и дали телеграмму в Нальчик: «Валя зпт Руслан попал больницу сломал ногу ничего страшного зпт приезжай когда сможешь Сергей Вадим». Мы дали такой текст, чтобы Валя не впала в панику, — с ней это бывает. Потом мы еще раз заехали к Сидоренкам. Сидоренко хорошо устроился, его хозяйство ведут сразу две женщины, жена и

сестра жены, за это мы зовем Сидоренку Султаном; сестры были лучшими подругами Руслановой Вали и потому находились в курсе наших бед. Они, конечно, решили, что именно они и будут сидеть с Русланом до тех пор, пока не приедет Валя, да и потом ей нужна будет помощь, и сразу стали обсуждать, чем кормить Руслана, и Серега предложил себя и мотоцикл в полное распоряжение Сидоренок, чтобы съездить на рынок или даже в какую-нибудь деревню за свеженьким, а я пошел к Наташе. Мне совсем не хотелось идти, я боялся идти, но предложения не идти не было, и смысла оттягивать не было, да и времени не было тоже...

Когда я вошел, Наташа жарила котлеты.

— Где ты был? — спросила она не оборачиваясь.

— Руслан выбросился из окна, — сказал я.

— Живой? — спросила она.

— В больнице, — сказал я. — Бедро и таз.

— Это надолго, — сказала Наташа. — А как Элла?

— Элла плачет, — сказал я. — Серега напоил ее бромом.

— Бедная девочка, — сказала Наташа. — Тоже долго не продержится... Ты будешь есть?

Я вдруг почувствовал тошноту — то ли от голода, то ли от бессонницы, то ли все-таки накурился.

— Буду, — сказал я. — Только я попью сначала чего-нибудь.

Наташа налила в стакан оставшееся вино. Стакан запотел. Вино было терпкое и, кажется, чуть солоноватое.

— Я никакого гарнира не делала, — сказала она. — Хочешь, вермишель отварю?

— Не надо, — сказал я.

Поели мы молча. Наташа собрала тарелки и положила их в мойку.

— Спасибо, — сказал я.

Наташа не ответила.

Я обратил внимание на пепельницу. Окурков в ней прибавилось. Наташа тоже не выдержала. Я постоял у окна, потом прошел в комнату. Наташа сидела на диване, обхватив колени руками. Я погладил ее по голове. Она поморщилась:

— Не надо, Вадим.

— Почему не надо?

— Не надо. Не хочу.

Я сел с ней рядом — рядом, но не вплотную.

— Ты видел Руслана? — спросила Наташа.

— Серега разговаривал с врачом, — сказал я.

— Ясно, — сказала Наташа и замолчала. Я поймал себя на том, что сижу в самой детсадовской позе:

спина прямая и руки на коленях, но никак по-другому сесть не мог, это было бы неестественно. Пусто было в голове, пусто и холодно в том месте, где должна быть душа. Завтра начнется новая жизнь, но это не трогало, потому что сегодня кончится старая и единственная.

— Неужели все? — тихонько спросила вдруг Наташа; она спросила это недоверчиво, а губы ее обиженно скривились, как будто она хотела заплакать, но я знал, что она не заплачет. — Неужели на самом деле все?.. — Я промолчал. Наташа вскочила и стремительно прошлась по комнате. — Господи, хоть бы... — Она не договорила, остановившись у окна. Что-то там происходило, за окном. — Дождь, — сказала она, обернувшись. — Наконец-то...

Только теперь я услышал звон капель о стекло. Туч не было, и продолжало светить солнце, и с чистого неба падали крупные веселые капли. Мы стояли и смотрели на дождь. Слепой дождь — это к счастью. Потом я спохватился и открыл окно. Арбузный запах свежего дождя и мокрой пыли ворвался в окно и закружил по комнате.

— Как жалко... — вздохнула Наташа. — Как все могло быть по-другому. И ведь никому не скажешь, не предупредишь...

Это верно, подумал я. Именно не расскажешь и не предупредишь. Это они продумали как следует.

— Как хорошо нам было бы вместе...

Дождь перестал внезапно, как и начался, от асфальта поднимался пар, на нем появились сухие пятна, хотя с деревьев еще капало. Под окном вдруг раскричались воробьи, а над домом напротив встала радуга — невысказанно яркая и сочная, добрая, теплая, умытая...

— Ты умеешь стрелять? — спросила Наташа, спросила еще тогда, ничего, конечно, не зная о будущем, о наших судьбах и о судьбах многих других, оказавшихся причастными...

— Умею, — ответил я.

— И я умею, — сказала Наташа. — Наверное, скоро нам всем понадобится это умение.

— Ты думаешь... — начал было я, но Наташа перебила:

— Скоро нам всем придется много стрелять. Они ведь не отступят так просто. Сейчас они наверняка дрессируют кого-то еще, как дрессировали нас. С нами им просто не повезло. А дрессировать они умеют отлично. Просто отлично.

— Знаешь, — сказал я, — мы могли бы видеться с тобой хотя бы днем.



— Нет, — сказала Наташа. — Нет, конечно. Так я очень быстро тебя возненавижу. А я не хочу. Ты же понимаешь.

— Понимаю, — сказал я. — Я тоже не хочу. Лучше я уеду куда-нибудь. Правда, так будет лучше.

— Какой-то кошмар, — беспомощно сказала Наташа. — И ведь ничего не сделаешь... Ну почему так, Вадик? Почему мы такие несчастливые! Сначала... да что говорить... измучили совсем... Потом... Вдруг показалось наконец, что все хорошо, что можно жить, все хорошо, совсем все, только-только... и это отобрали... Ну почему именно мы? Господи, ну за что именно мы?..

Надо уезжать, подумал я. Уезжать немедленно, на восток, на север, к черту на рога, куда угодно, лишь бы дальше, потому что невозможно так — быть рядом и не иметь возможности помочь, невозможно — в одном городе, с вечным риском случайной встречи... Кто мог знать, что события пойдут в разгон и уехать я так и не успею?.. И такими вдруг мелкими показались мне наши ночные страхи перед подступившим расставанием и одиночеством... Наташка...

— Наташка, — сказал я. — Это же не насовсем...

— Да, — сказала она, — Хоть бы уж скорее, что ли...

Этажом ниже готовились к вечеринке: из распахнутого окна доносились звон посуды, патефонная музыка, веселые старушечьи голоса; там и жили-то не то две, не то три старушки, вполне еще бодрые, у них была тьма подружек, собирались они часто и по разным поводам и по вечерам очень даже неплохо исполняли русские народные и популярные советские песни. Я пропускал эти звуки мимо ушей, пока одна из хозяек не принялась, стоя у окна, делиться с кем-то из тугоухих гостей: «Психические оне! Психические, говорю! Темноты боятся. И он, сердешный, боялся да и добоялся — инфракт. Инфракт, говорю! Крепкой такой мужчина и из себя видный, а вот поди-ка ты. Утром его на носилках несли, я в дверь-то и подглядела, да ничего не увидала: простыней закрыли, стало-ть...»

— Вот так, Наташка, все и объяснилось: психические мы, — сказал я. — Все просто.

— Все просто, — сказала Наташа глухо. — Сходить с ума от любви — это удел психических. И почувствовать беду — тоже удел психических. И кричать, зная, что тебя не услышат. И бояться темноты. И поджигать костер, на котором стоишь. И отрубить себе руку, когда не можешь разжать пальцы...

— Ты только держись, — сказал я. — Мне легче будет, если я буду знать, что ты держишься.

— Я продержусь, — сказала она. — Теперь ведь точно знаем, почему и зачем...

Дом напротив нас был весь ярко высвечен закатным солнцем, и окна его пылали, будто плавясь от немыслимого жара, но, ей-богу, никаких предчувствий эта картина у меня тогда не вызвала, была только тоска, одна только тоска, глубокая, бездонная, черная...

— Наташа, — позвал я.

— Я здесь, — сказала она. — И я люблю тебя. Я тебя так давно люблю, что даже не помню, когда начала. Наверное, я всегда любила тебя. Даже когда еще не родилась. И, Господи, как долго я тебя искала. И как долго тебя еще ждать...

Она смотрела на меня потемневшими глазами, и я поцеловал ее — в последний раз. Губы ее были сухие. Губы и глаза. Приближался час наступления темноты.

— Иди, — сказала она. — Теперь иди. Иди и не оглядывайся. И не говори ничего. Я не выдержу больше. Не оглядывайся на меня. Если надо будет — не оглядывайся. Иди.

Где-то били часы. Били медленно, размеренно, с оттяжкой.

С тех пор я не выношу боя часов.

...А судьбы свои мы выбираем все-таки сами, выбираем вслепую, наугад, и ничего в них уже не изменишь, и Бога нет, чтобы свалить на него ответственность и вину за выбор, и даже пройдя сквозь огонь и выйдя из огня, помним о несказанных словах и о потраченных зря минутах, и о том, что не оглянулся вовремя или, наоборот, не выдержал и оглянулся, как Орфей на пороге ада. Мы осуждены на память, и в этом наше проклятие и наша гордость.

На земле бушуют травы...

*1985*

## ИЗ ЖИЗНИ СЕРОГО ВОЛКА

**-Н** у перестань же, — сказал Волк. — А еще царевич. Сопли утер хоть бы...

Царевич рыдал. Сгушались сумерки.

— Там же написано было: «Коня потеряешь», — увещевал Волк. — Написано ведь? Написано. Так чего же ты?

Царевич прорыдал длинную, полную боли и укора фразу, из которой Волк разобрал только три слова: «темно», «дорога» и «задница». Волк почесал в затылке: служебный долг подсказывал ему одно, милосердие нашептывало другое. Каждый раз Волк зарекался слушать этот шепот и каждый раз не выдерживал.

— Садись, что ли... — смущенно сказал он; царевич с готовностью полез ему на спину. — Э-э! Только без шпор!

Быстрым скоком они махнули в тридевятое царство. Там была зима. Поперек дороги стоял огромный амбар, вернее, пробитая в снегу дорога вела прямо к амбару: Волк поскребся в дверь.

— И кто тама? — голосом Бабы-Яги спросили за дверью.

— Да я это, открывай, старая, — сказал Волк. — Холодно, ч-черт...

— Апеть? — удивилась Яга. — Ты ж третьеву дню прибегал.

— А что делать? — вздохнул Волк. — Едут ведь и едут как заведенные.

— И чиво ж тебе, жалобный, надо-ть? — прищурившись пропела Яга.

— Как всем, так и ему, — сказал Волк. — Чего же еще?

— Малай жентельменский набор, стало-ть? — сказала Яга.

— Большой, — сказал царевич.

— Ну, выбирай, — сказала Яга. — Прямо и на право.

Царевич пошел вдоль стеллажей, осматривая разложенное на них.

— Ну чё ты наповадился их возить? — вполголоса выговаривала Баба-Яга Волку. — Тебя для чё поставили? Трудности им создавать должен, чтобы остолопы эти в самостоятельную жисть войтить, как положено, могли. А ты заместо этого чё творишь? На блюдечке с каемочкой все преподносишь. И так

без меры упростили процедуру, скоро начнем в постельку им добро подносить, чтоб прямо с утра, как глазоньки раззявят... Потребители.

— Не ворчи, старая, — слабо отбивался Волк. — Знаю, что неправильно, а что я могу сделать? Душа-то не кирпичная. Уйду я к чертовой матери, не буду, не могу, пусть им другой кто коней режет...

— Отпустили тебя, как же. Назвался чемпионом — полезай в рюдюкюль. Вон он идет... касатик. Чё выбрал, молодчик? О, самы клевые, самы клевые, век сносу не будет... И яблочки чё надо, свежие, только завезли. И шапочка по головушке, и невидима-то совсем...

— А Василиса где? — спросил царевич.

— А вот оне, на полочке, выбирай, кака по вкусу будет: черенькие, рыжанькие, белесенькие, а вот — так совсем не поймешь какая...

— Рыжанькие, — передразнил царевич. — Фигуру-то как посмотреть? Нарядили, как не знаю кого.

— А так и смотри, как есть. Шшупай, шшупай руками, не бойсь, не схлопочешь. А рукам не веришь, так этикеточка вот, а на ней вайтлз написан, все как есть...

— Вот эту заверни, — сказал царевич.

— М-да, — сказал Волк.

Яга поставила фиолетовый штемпель в паспорт Василисы, подала царевичу.

— Месяц гарантии, — сказала она.

— Всего-то? — скривился царевич. — А дальше что?

— А там — как обращаться будешь, механизма тонкая, уходу требует, это тебе не часы «Севани».

— Поехали, — сказал царевич Волку.

— Палочку волшебную забыл, — сказал Волк.

— Уж это-то я не забуду, — сказал царевич и похлопал себя по карману.

— А платить-то как будем? — спросила Яга.

— Папа заплатит, — через плечо бросил царевич.

— Апеть папа, — вздохнула Яга. — Ну, скатертью дорожка.

— Отдыхай, старая, — сказал Волк. Царевич промолчал.

Они вернулись к коню. Конь уже попахивал и в пищу Волку не годился.

— А дальше? — спросил царевич.

— Дальше ты сам, — сказал Волк.

— Я заплачу, — сказал царевич. Ударение в слове «заплачу» получилось какое-то двоякое, и Волк стал врать. Врал он бессовестно и вдохновенно.

— Заколдовано там. Камнем с тобой станем. Сюда ехал — видел камень? Это мой дедушка запрета не



послушался. Теперь вот стоит, и дождь его сечет, и снег засыпает, а я даже подойти к нему не смею... — и Волк шмыгнул носом.

— Ладно, — поверил царевич. — Дальше и на такси доеду.

Он взмахнул волшебной палочкой, и появилась карета с шашечками на дверцах. Царевич забросил в багажник мешки, посадил Василису, и карета умчалась.

Волк забрался под куст и уснул. Разбудил его ворон.

— Ты чего спишь? — ткнул он Волка клювом. — Твоего-то уже... того...

— Ну и пусть, — сказал Волк.

— Как это «пусть»? Ты что, сказку забыл?

— Теперь все не по сказке. И я тоже. Я заболел. Я бастую. Он страйк. — Волк забрался глубже под куст. — И вообще, ты что, сам не можешь его оживить? Родники тебе показать?

— Не по правилам же, — сказал Ворон.

— Я бастую, — повторил Волк. — Лети, а то съем.

Он проспал до полудня. Разбудил его конский топот.

— Зачастили, — пробормотал Волк.

Он выглянул из-под куста. По пробитой тропе на гнедом мерине ехал прилизанный мальчик. Волк перевернулся на спину. Конь и всадник ехали теперь вверх ногами, и если они теперь оторвутся от тропы, то упадут прямо в небо. Это было исключительно забавно.

— Давай-давай, — сказал им вслед Волк. — А то понравилось, понимаешь...

Потом на брюхо ему села бабочка. Он поиграл с ней немного, потянулся и длинно зевнул. Грело солнце. «Вот я и дожил наконец до настоящей сказки», — подумалось Волку.

**П**уна, как могла, освещала кремнистую тропу. Лес здесь подступал вплотную: давил, трещал, гукал, свистел, а когда тропа поворачивала так, что луна скрывалась за кронами, в зарослях кто-то начинал тяжело ворочаться, и конь хрипел и рвался, а рыцарь крепче сжимал рукоять меча и напряженно всматривался в темноту.

Луна уже цеплялась краем за льдисто поблескивающий горный пик, когда сквозь чернь листвы впереди рыцарь увидел оранжевый отсвет костра.

Костер горел прямо на тропе. Перед ним, глядя в огонь, сидел человек. Услышав шаги, человек поднял голову и стал всматриваться напряженно и тревожно, и рыцарь понял, что глаза человека полны светом огня и не видят его, облитого темнотой, — и шагнул в отброшенный костром свет.

— Здравствуйте, человек, — негромко сказал он.

— Здравствуйте, рыцарь, — сказал человек. — Садитесь поближе. Вы устали, наверное?

— Я уже не надеялся выбраться, — признался рыцарь, переводя дыхание.

— Как же вы так — в Лес и без огня? Неосторожно.

— Я промочил спички на переправе, — сказал рыцарь, снимая с коня седельные сумки, щит, копье, запасной меч и седло. — Но я самоуверенно решил, что успею выйти к горам засветло.

— Я вам дам спичек, — сказал человек. — У меня много.

— Вы живете здесь? — спросил рыцарь, озираясь.

— Я здесь работаю, — сказал человек. — Я сторожу Круг Света.

— О-о!.. — Рыцарь с уважением осмотрелся. — Круг Света... Я думал, это легенды.

— Нет, не легенды. Раньше Кругов было много, по всей тропе. Теперь, наверное, остался только мой.

— Почему же так?

— Кому они нужны в наше время... Позвольте, однако же, полюбопытствовать: вы собираетесь сражаться с драконом?

— С драконом? — Рыцарь изумленно поднял бровь. — С каким драконом?

— Ну как же: здесь еще водятся драконы. Они, правда, совсем не те, что раньше водились в Доли-

не, помните: огромные и страшные, и по-настоящему опасные... Да вот, к примеру, тут рядом есть пещера — утром я вас отведу, — где живет дракон. Он ничего не соображает, одно крыло у него парализованное, а огня не больше, чем от паяльной лампы. Вы его убьете... У вас ведь волшебный меч?

— Волшебный.

— Ну, тогда это вам вообще не будет стоить никаких усилий... Вы его убьете, а потом наймете какую-нибудь газету, и она распишет, что дракон был ростом с шестиэтажный дом, о двенадцати головах и страшно свирепый.

— А... зачем все это?

— Ну то есть как зачем? Многие так делают. Прослыть драконоборцем, знаете ли, не так уж плохо. Да и премия за него какая-то положена, хоть и небольшая, правда... Но подождите! Если вы не за драконом, то куда же?

— Я иду к Перевалу.

— Вот как... — Человек надолго замолчал. Молчал и рыцарь. Потом человек поднял голову и посмотрел на рыцаря, но посмотрел уже как-то по-иному. — К Перевалу давным-давно никто не ходит, — сказал он.

— Я знаю, — сказал рыцарь. — Я только не знаю почему?

— Потому, наверное, что из тех, кто ушел, ни один не вернулся. Никто не знает, что с ними случилось...

— Неужели это правда: не вернулся никто?

— Никто из тех, кто ушел за Перевал. Некоторые доходили до Перевала и возвращались обратно. Теперь они живут в Долине и пишут мемуары. А из тех, кто ушел дальше, не вернулся никто.

— Что же могло с ними случиться?

— Что угодно... Может быть, они погибли. Может быть, просто не нашли обратной дороги — так, говорят, бывает. А может быть, за Перевалом время течет медленно, как на небесах, и пока они там оглядываются по сторонам, у нас уже прошло три десятка лет. Никто этого не знает, рышарь... Слушайте, я давно не был внизу. Расскажите, как там?

— Там? Там странно. Все живут так, как будто ни разу не видели моря и никогда не слышали о Перевале. Море продолжает наступать, все строят дамбы, но ведь на пути воды можно насыпать еще вал, ну, пять валов, ну, десять — когда-нибудь земли уже просто не хватит, и в один прекрасный момент море прорвет последнюю дамбу и хлынет в Долину, и вот тогда-то им всем придется вскакивать среди ночи и ломиться сквозь Лес, и бежать к Перевалу, побро-

сав, наконец, все свои драгоценные деревяшки и тряпки...

— Да, — согласился человек. — К Перевалу можно идти только налегке. И то, что вы говорите про бег сквозь ночь, верно — все в нашей жизни свершается в порядке катастрофы. Такова, видимо, наша природа... Но неужели Перевал настолько никому не интересен?

— По-моему, в него просто никто уже не верит. Кому он, в конце концов, нужен?

— Ну, вам-то ведь нужен?

— Я просто неумеренно и болезненно любопытен — в этом корень моих бед... Нет, я не все рассказал. Существует, конечно, Институт Перевала, там люди работают, делают науку...

— Науку? Но ведь Перевал из Долины не виден, а сюда никто из ученых не поднимался...

— Им и незачем подниматься. Они изучают Перевал на моделях. Для этого не нужно подниматься. Достаточно знать, что он принципиально возможен. Они читают античных авторов, пишут диссертации, ставят эксперименты, у них интересная и обеспеченная жизнь... Зачем им сам Перевал?

— Н-да... — протянул человек — Вы хотите есть, рыцарь?

Рыцарь прислушался к себе.

— Хочу, — сказал он и встал.

— Нет-нет! Оставьте в покое ваши сумки, запасы вам еще пригодятся. Здесь вокруг полно мясной травы и сырных грибов, и хлебных цветов, а листья деревьев — превосходные специи. Сейчас я угощу вас таким жарким... Удивительное это существо — Лес.

— Но и опасное, наверное?

— Бывает. Это если его не любить или бояться. А я живу с ним в мире. Он очень нервный и очень гордый — Лес. И слабости свои старается никому не показывать. По-моему, его, как и мы когда-то, забросила в Долину злая сила. Как и мы, он шел к Перевалу — и не дошел... — Человек нервно замолчал и стал подкладывать в огонь обломки сучьев.

— Или дошел, но не весь, — подхватил рыцарь. — Частью дошел, честью остался. Может быть, поэтому он такой нервный и гордый?

— Может быть, рыцарь, может быть...

— Вы были на Перевале? — Вопрос был короток и зол.

Человек долго не отвечал.

— Был, — сказал он наконец. — И повернул назад.

— Что там? — жадно спросил рыцарь.



— Там длинный и прямой спуск, — сказал человек. — И синий туман. Густой синий туман. Сколько людей ушло в него... И мои друзья — все. Я долго ждал их, хотел пойти за ними — и не решился. Но жить в Долине я больше не смог...

— Пойдемте со мной, а? Правда, пойдемте. Мы догоним их, найдем ваших друзей, поможем им, если они нуждаются в помощи, разделим их радость, поддержим в горе... Пойдемте!

— Нет, рыцарь, — сказал человек, — я не пойду. Здесь мое место, у моего Круга Света. Поймите, я просто не могу. Я выгорел изнутри, осталась одна оболочка. Все, что я могу, — это помогать таким, как вы, тем, кто еще куда-то идет... Так что не смотрите на меня — идите. Поешьте вот и идите. Через час взойдет солнце, и Лес пропустит вас.

— Замечательное жаркое, — сказал рыцарь. — Вы настоящий мастер.

— Да... хоть в чем-то. И возьмите спички, огонь вам еще пригодится.

— Спасибо, — сказал рыцарь, седлая коня.

— Господи, — вдруг с мукой в голосе проговорил человек, — ну как узнать, что там, за Перевалом, как узнать! Ведь нельзя же вот так, не зная...

— Там длинный и прямой спуск, — сказал рыцарь. — И синий туман, скрывающий всех, входящих в него.

— Вернитесь хоть вы, — сказал человек. — Пожалуйста, вернитесь.

— Я постараюсь, — сказал рыцарь. — Я очень постараюсь вернуться и все рассказать.

— Врете вы все, — с тоской сказал человек. — Не вернетесь вы. Эта дорога ведет только в одну сторону...

*1983*

**О** том, что одеваться надо нарядно, Руська вспомнил в последний момент.

— Мама! — позвал он. — Слушай, нам Галя Карповна вчера сказала, что вместо уроков мы пойдем в театр и надо надеть что-нибудь такое...

— Галина Карповна, — автоматически поправила мама, не отрываясь от плитки. На сковородке скворчали картофельные оладьи. — Подожди, а какой такой театр?

— Не знаю. В театр да и в театр. Какая разница?

— Всегда предупреждали... — нахмурилась мама. — Что же ты вчера-то молчал?

— Забыл, — вздохнул Руська.

— Забыл... ах, ты же...

— Да ну, чего особенного?

Подумаешь, в театр, подумал он. Бывали мы уже в театрах, и ничего...

— Может, и ничего, — мама как бы подслушала мысль; она смотрела куда-то в угол и хмурилась, — а может, и чего... и отец ушел...

— Да ладно тебе. — Руська не понимал, из-за чего, собственно, расстройство. — Ты мне лучше дай какую-нибудь денюгу, я там в буфете чего-нибудь посмотрю...

— Господи, — сказала мама. — Добытчик ты наш...

Оладьи, понятно, подгорели. Впрочем, Руська именно такие и любил, но мама почему-то всегда старалась делать бледные, мягкие. Оладьи он запил большой кружкой приторного морковного чая.

— Вот это наденешь, — сказала мама.

— Он колючий, — запротестовал Руська. — И жаркий.

— Потерпишь, — отрезала мама.

— Но ведь в театр же...

— О Господи, — сказала мама предпоследним голосом. — Не будешь забывать вечерами... сказал бы вчера, попросила бы Радугу Валерьевну, чтобы написала тебе освобождение...

Это уже было настолько ни к селу ни к городу, что Руська перестал сопротивляться — даже мысленно — и натянул «секретный» свитер. Секретным свитер был потому, что в него мама ввязала сплетенный косицей волос, так что от некоторых чар и от дурного глаза свитер оберегал неплохо.

— А вот это — на шею, — сказала мама и завязала на семь узлов шелковую веревочку. — Будут отбирать — отдай. И говори, что нашел.

— Что я, совсем маленький, что ли? — обиделся Руська. — Учишь, как все равно...

— Большой ты, большой, — сказала мама. — Поэтому и говорю. С малого какой спрос...

Ха! Возле школы уже стоял автобус, и Галя Карповна махала рукой из двери. Класс плющил носы о стекла.

— Вечно ты, Повилихин, приходишь в последнюю минуту, — с пол-оборота завелась Галя Карповна. — Ты да Хромой, двое вас таких гавриков...

— Не опаздываю же, — резонно возразил Руська.

— Я сколько раз говорила: приходить за пятнадцать минут до начала уроков! Звонок не для вас, звонок для учителя! — И что-то еще в том же духе.

Руська молча обогнул ее с наветренной стороны и двинулся по проходу, ища место. Ничего нового он услышать не надеялся.

— Ксива есть? Ксивы нет. До свидания, — пробормотал он негромко, но так, чтобы его слышали. Машка Позднякова, соседка по двору и по алфавиту, фыркнула.

— С тобой не занято? — спросил Руська.

— Садись, — сказала Машка: — Она все равно не придет.

— Откуда ты знаешь?

— Я все знаю. Вот ты знаешь, например, куда мы едем?

— Ну?

— В Кремль!

— Как — в Кремль? Вчера же говорили, что в театр...

— Ты и поверил, глупышка?

— В лоб дам, — пообещал Руська.

— Ну и как хочешь, — обиделась Машка, хотя уж не ей обижаться. — Вон — мест много...

— Подожди. А зачем в Кремль? Что там делать?

— А то ты не знаешь?

— Чего?

— Чего-чего. Не слышал ни разу, что ли?

— Слышал, — неохотно сказал Руська. — Только все это как-то... как-то не так... Мама рассказывала: их возили торжественно, отбирали самых-самых... они цветы дарили, рапорт читали...

— Говорят, что всех возят, только не велят об этом рассказывать, — прошептала Машка и резко отвернулась.

— О чем вы тут шепчетесь? — возникла рядом Галя Карповна. — Я миллион раз говорила, что шептаться нельзя, хочешь что-нибудь сказать — скажи громко, при всех.

— Вон Хромой идет, — громко и при всех сказал Руська.

Толик Хромой — это настоящая фамилия, прозвище у него было Костыль, — запыхавшись, вскочил в автобус.

— Тебя одного и ждем, — сказала Галя Карповна. — Сорок человек тебя ждут!

— Я опять опоздал? — удивился Толик. — Ну никак не могу к этим трамваям приспособиться.

— Объяснять будешь директору, — сказала Галя Карповна. — Так, нет Полубояринова, он болеет, и нет Стеллы Мендельсон... — Галя Карповна поджала губки. — Водитель, поехали!

Толик плюхнулся на пустое сиденье — как раз через проход от Руськи. Расстегнул портфель, вынул классер и подмигнул Руське. Руська привстал — Галя Карповна как раз отвернулась и говорила что-то водителю — и шмыгнул через проход.

— Во, как и обещал... — начал Толик, но Руська его перебил:

— Знаешь, куда едем?

— Ку... куда? — вздрогнул Толик.

— В Кремль... — От Толикова испуга Руська немного растерялся.

— Как же так... мне же нельзя, я ведь уже был... — зашептал Толик, — почему вчера не сказали?... Я ведь был весной, мне нельзя...

— Так скажи Гале, — предложил Руська.

— Не отпустит... а то еще мамке на работу сообщает — и все... ох, как же это я... осел, ведь так не хотел идти, думаю: ногу бы сломать...

— Так ты там был? — прошептал Руська.

— Ну да, я же говорю — весной, еще когда в той школе...

— Слушай, а что там?

Толик замолчал, уставился куда-то вбок.

— Так что? Почему все так боятся?

— Сам увидишь... да никто и не боится... а так... я не знаю. Я правда не знаю. Водят, все показывают... Глав-пушку, Глав-колокол... картины разные, сабли, пистолеты старинные... ну и это...

— К *самому*?

— Ну... Слушай, Руська, хочешь я тебе все свои марки отдам и расскажу, что мне один большой парень рассказывал, а за это буду там все время за тебя прятаться? Потому что ты не ходил еще, тебе можно, а я уже ходил...

— Хорошо. А что он тебе рассказывал?



— Значит, так. Когда-то давно *сам* умер — или как будто бы умер... и те, которые с ним были, соратники — они решили: сохранить его тело, сделать мумию и выставить в музее, чтобы все видели и знали, какой он был. Ну и вот... сделали мумию, а потом к ним приходит один маг и говорит: а хотите, я его... ну, мумию то есть... оживлю? А те без него не знают, что делать, переругались все, ну и говорят: хотим. Маг и оживил. Потом много всякого было...

— Опять шепчетесь? — налетела Галя Карповна. — Я сколько раз говорила: шептаться нельзя! Хочешь что-нибудь сказать — встань и скажи громко! Повилихин, а кто это тебе разрешил пересаживаться? Сядь немедленно обратно!

— Так мы договорились? — одними губами спросил Толик.

Руська кивнул.

Их долго не пропускали в Красный Круг — проверяли какие-то бумаги у водителя, что-то еще. Потом в автобус вошла толстая тетка в черной кожаной куртке с железной пентаграммой на рукаве и наганом на поясе.

— Какие красавцы! — сказала она, разглядывая класс. — Наше будущее! Поезжайте, водитель...

Когда автобус пересекал Красный Круг, Руська вдруг озяб. Он покосился на Машку: у Машки дрожали губы. Ни фиги себе... Автобус свернул направо, и Руська увидел Кремль — во всей его красе: красные с золотом стены, бронзовые шестиконечные щиты на зубцах, башни с железными пентаграммами на шпилях — и сверкающая в лучах солнца тонкая, как кружево, золотая сеть-оберег, натянутая между башнями...

— Ух ты! — восхитился Руська.

— А вот эту сеть моя бабушка вязала, — сказала Машка. — Не одна, конечно...

Ворота перед автобусом открылись, пропустили его, закрылись.

— Выходите и стройтесь! — скомандовала тетка с наганом.

Снаружи остро пахло ладаном: трое в таких же, как у тетки, кожаных куртках обходили автобус кругом, махая кадилами и шепча заклинания. Класс топтался, озираясь.

— Построились, построились! — торопила тетка. — Чему вас только в школе учат?

Наконец класс выстроился в одну линейку. Галя Карповна бегала за спинами, топая, как шумное привидение.

— У кого есть магические предметы, амулеты, обереги — сдайте! — потребовала тетка. — Потом то, что дозволено к ношению, будет вам возвращено.

— У меня вот... — сказала Машка, протягивая кусочек янтаря.

— И у меня. — Гарик Абовян отдал камешек с дыркой.

— И у меня... и у меня... — Класс сдавал оружие: маленькие пентаграммки, старинные монеты, кроличьи лапки, крошечных костяных кошек и слоников...

— Не стыдно быть такими суеверными? — укорила тетка. — А еще в школе учитесь... Теперь мы проверим вашу честность. Федор, где ты?

Откуда-то появился одетый в военную форму горбун с чучелом обезьянки на плече. У Руськи упало сердце: теперь все... Прикинься шлангом, велел он себе, бить ведь не будут...

Горбун медленно шел вдоль выстроившегося класса, что-то шепча и прихихикивая. Он дошел до Руськи и вдруг остановился, будто приняхиваясь. Со слабым хрустом, слышным так, как если бы ломался лед на реке, обезьянка приподняла веки и стала выпрямлять скрюченную, прижатую к груди ручку. Тонкий черный палец уставился Руське пониже подбородка.

Страх был такой, что Руська перестал чувствовать себя — тело стало чужое и как из ваты. Не описать бы... Он, может быть, упал бы — но сзади подхватили, обшарили и нашли, конечно, веревочку.

— Эт-то что? — грозно нависла над ним тетка. — Это что, я тебя спрашиваю?

— В-веревочка...

— Вереvочка? А какая веревочка?

— Кра... красивая...

— Я тебе покажу — красивая! Шелковая веревочка с семью сионскими узелками! Ты хоть знаешь, что это такое?

— Не... не знаю...

— Учительница! — воззвала тетка, потрясая рукой с веревочкой. Она держала ее двумя пальцами, брезгливо, будто это был глист. — Учительница! Почему ваши дети не знают самого элементарного?

И тут Галя Карповна удивила Руську.

— Простите, — сказала она. — В школу поступает список предметов, запрещенных к ношению. Насколько я знаю, этого предмета там нет. Поэтому претензии могут быть предъявлены к наблюдающим инстанциям, но никак не к школе и не к ученикам.

Тетка еще поворчала для порядка и куда-то ушла, унося запрещенный предмет, и никто не догадался,

что веревочка эта отвела взгляд обезьянки от Руськиного свитера...

— Где ты взял эту гадость? — ненавидяще глядя куда-то мимо Руськи, прошипела Галя Карповна.

— Нашел... — Руська отходил понемногу от пережитого страха.

— Что ты врешь — нашел...

— Правду говорю... клянусь... Лениным клянусь... — прошептал Руська. Он при этом сложил крестом пальцы левой руки. Это подействовало, и гром не поразил Руську.

Их долго-долго водили по Кремлю, показывая все, что там было. Возле Глав-колокола Толик потерялся, но его нашли и вернули. Потом экскурсовод рассказывал много интересного про Глав-пушку. Глав-пушку отлил великий русский мастер Андрей Чохов за много лет до рождения Ильича, но специально для того, чтобы охранять вождя от злоумыслов. Обычными снарядами Глав-пушка не стреляет, да она и не предназначена для этого. Но вот если кто задумает что-то злое против Ильича, то Глав-пушка тут же испепелит негодяя магическим огнем... Руська подумал было: а как же тогда история со злодейкой Каплан? — но спросить не решился.

— А теперь пойдёмте — Ильич ждёт вас, — сказал экскурсовод с широкой неподвижной улыбкой.

Класс построили попарно и повели к дверям в большем доме. У дверей стояли часовые в высоких шлемах. Они взяли «на караул» и не шевельнулись ни одним мускулом, пока класс проходил мимо них. По ту сторону тяжёлых дверей ждали люди в кожаных куртках.

— Пойдёмте, дети, — сказала другая тетка, чем-то похожая на предыдущую, хотя и совершенно не такая: худая, с длинным носом. — Не шумите, не галдите, не задавайте вопросов сами. Ильич будет спрашивать — отвечайте по одному, я буду показывать, кому отвечать. Ильич будет угощать вас конфетами — больше двух брать нельзя. Не набивайте конфетами рот — это некрасиво. После встречи вас покормят в столовой. Если кто-то хочет в туалет, сходите сейчас, вон туда. — Она показала рукой.

Полкласса воспользовалась предложением.

— А можно, я спрошу? — раздался чей-то голос. Руська скосил глаза: это был Венька Степанов, на вид — тихий очкарик...

— Спроси, мальчик, — благодушно сказала тетка. Не знала она, кто такой Венька.

— Степанов! — предостерегающе гаркнула Галя Карповна, но было поздно...

— А это правда, что Крупская отравилась?

Тетку будто стукнули палкой по затылку. Она замерла, мгновенно сгорбившись, потом медленно распрямилась, откинула голову назад, как кобра, и всем телом повернулась к Веньке.

— Ну что ты, мальчик, — сказала она медовым голосом. — Надежда Константиновна скончалась от пневмонии, и все очень горевали о ней, и Ильич — больше всех... А почему ты спросил? Тебе кто-то говорил об этом, да? Кто же?

— В трамвае слышал, — сказал Венька. — Два старика поругались, один другому это и сказал.

— Ах, чего только не говорят люди в споре! — вздохнула тетка. — Никогда не ругайтесь, дети. А вам, учительница, я советую уделить особое внимание этому мальчику. Может быть, имеет смысл показать его хорошему врачу...

Класс поднялся на второй этаж. У двустворчатой двери, обитой синей кожей с вытесненными на ней пяти-, шести- и семиконечными звездами, знаками единорога и чем-то еще, чего Руська никогда раньше не видел, стояли совсем уж странные часовые: рыцари в латах и с обнаженными мечами в руках.

— Строимся, строимся, — суежилась Галя Карповна, носатая тетка и еще какие-то люди. Класс

строился, но как-то не так. Наконец тетка, которая, похоже, всем тут заправляла, дала сигнал:

— Заходим!

Рыцари с лязгом наклонились вперед и взялись за ручки дверей. Невидимый оркестр заиграл марш. Двери распахнулись, и класс стал медленно вдавли-ваться в комнату.

Там было полутемно, стоял большой письмен-ный стол, книжные шкафы, диван, несколько кре-сел. За столом сидел человек и что-то писал, макая перо в чернильницу. На входящих он не смотрел. Наконец все вошли, замерли — и повисла такая ти-шина, что слышно стало слабое шарканье пера о бумагу.

— Владимир Ильич! — медово заговорила тетка. — Гости к вам, школьники, отличники!

Человек отложил перо и медленно выпрямился. Он очень походил на свои портреты и скульптуры, стоящие и висящие везде, и в то же время чем-то неуловимо отличался от них, и Руське подумалось, что прав был дядя Костя, когда говорил отцу — а Руська нечаянно подслушал, — что фотографируют, рисуют и лепят других людей, специальных артис-тов, чтобы избежать дурного глаза... Кожа человека за столом странно лоснилась, и смотрел он на класс



тоже странно: будто никак не мог понять, что это за люди и что они здесь делают. Тетка с длинным носом встала рядом с ним, повернулась к классу, и Ильич тут же хитро улыбнулся, подмигнул или прищурился — Руська не понял — и быстро встал.

— Культурная задача не может быть решена так быстро, как задачи политические или военные, — сильно картавя, сказал он. На слушателей он смотрел так, будто сам стоял на трибуне, а они — у его ног. — Мы не можем уничтожить различия между классами до полного введения коммунизма. Нам не нужно зубрежки, но нам нужно развить и усовершенствовать память каждого обучающегося знанием основных фактов, ибо коммунизм превратится в пустоту, превратится в пустую вывеску, коммунист будет только простым хвастуном, если не будут переработаны в его сознании все полученные знания. Тут мы беспощадны, и тут мы не можем вступить ни на какой путь примирения или соглашательства. Это надо иметь в виду, когда мы, например, ведем разговоры о пролетарской культуре. Старая школа была школой учебы, она заставляла усваивать массу ненужных, лишних, мертвых знаний, которые забивали голову и превращали молодое поколение в подогнанных под общий ранжир чиновников. Теперь они видят: Европа так развалилась, империа-

лизм дошел до такого положения, что никакая буржуазная демократия не спасет, что только Советская власть может спасти. Трудящиеся тянутся к знанию, потому что оно необходимо им для победы. Главное именно в этом. Мы говорим: наше дело в области школьной есть та же борьба за свержение буржуазии; мы открыто заявляем, что школа вне жизни, вне политики — это ложь и лицемерие. То поколение, которому сейчас пятнадцать лет, оно увидит коммунистическое общество, и само будет строить это общество!

Первой захлопала Галя Карповна, за ней — весь класс. Руська бил в ладоши «коробочкой» — то есть пальцами правой руки в расслабленную ладонь левой; звук от этого получался громкий и резкий, как выстрел. За его спиной Толик хлопал «веничком» — это еще громче, но глуше. На Руську навалилось какое-то не совсем понятное разочарование — все, что происходило сейчас с ним и с остальными, было таким простым, деловитым... и непонятно, почему об этом так не хотят говорить, почему разволновалась мама и чего боится Толик...

Ильич сел, каким-то птичьим движением достал из ящика стола огромную коробку конфет, опять хитро прищурился.

— Желание поговорить с народом у меня всегда есть, — сообщил он. — Да вы угощайтесь, не стесняйтесь. Интересно стало в школе учиться?

— Вот ты, девочка, — показала пальцем на Машку носатая тетка.

— Интересно, Владимир Ильич! — закричала Машка. — Мы учимся русскому языку и литературе, математике и географии, физике и химии, рисованию, пению и физкультуре! По всем предметам у нашего класса полная успеваемость!..

— И пению учитесь? — прищурился Ильич. — А какие песни поете?

— Революционные, Владимир Ильич! — У Машки от натуги сорвался голос. — И про нашу любимую партию!

— А неужели детских песен никаких не поете? Я вот помню, мы пели... нет, забыл... берите конфеты, берите! Забыл песню...

Все стали подходить и брать конфеты. Руська тоже подошел и взял.

Конфеты были необыкновенно вкусные, он проглотил обе в один миг и вдруг услышал, как за спиной вздохнул — нет, протяжно всхлипнул Толик.

— Сходи возьми, — сказал Руська. — Вкусные — жуть.

— Не, — сказал Толик.

— Ну, хочешь, я схожу? — предложил Руська.

— Нет. — Голос у Толика стал совсем слабый. —

И ты... ты тоже не ходи...

Тетка с длинным носом взглянула на часы.

— Все, дети, — сказала она. — Время Владимира Ильича очень дорого для страны и для всех нас, прощаемся с ним, до свидания Владимир Ильич!

— До свидания, до свидания! — заговорили все и повернулись к выходу.

— Держи меня... — прошептал Толик и повис на Руське.

Руська вцепился Толику в ремень, оглянулся — кто поможет? Галя Карповна была далеко. Подоспел Ромка Жариков, вдвоем с Руськой они подхватили Толика под руки и повели к выходу. Ильич — Руська успел заметить — уже сидел, как вначале, и водил пером по бумаге. И вдруг Руське страшно захотелось, чтобы хоть что-то случилось... чтобы Ильич показал классу «козу»... Он опять оглянулся и обомлел: Ильич, не отрываясь от письма, поднял левую руку, выставил указательный палец и мизинец — и боднул воздух...

В коридоре стало плохо еще и Машке. Дядька в военной форме под белым халатом поднял ее на руки и отнес на кушетку. Толика посадили рядом, он был

весь синий и дышал ртом. Не надо так волноваться, кудахтала Галя Карповна. Посмотрела бы на себя, подумал Руська.

— Передохнули? — спросила тетка с длинным носом. — Прошу в столовую. Вам будет дан обед из трех блюд, кто захочет добавки, может попросить официантку.

— Дойдешь? — тихонько спросил Руська Толика. Толик промычал что-то в том смысле, что да, дойду.

Ха, подумал Руська, когда их повели по коридору, тут самому бы не упасть! Ноги были тяжелые, как гири, и совсем не отрывались от пола. И все так: шаркали о паркет и плелись, пошатываясь. Машку сзади всех вел, придерживая, тот военный в белом халате. Навстречу классу попала странная парочка: горбун, который проверял на честность, и с ним гибкий тонкий человек в мягком сером костюме, круглолицый и круглоглазый. Проходя мимо, этот человек сказал горбуну: «Покушал любимый. Ты погляди, Федор, от сарделек одни шкурки остались...» — на что горбун зашипел и заозирался.

— Ты видел? — прошептал Толик.

— Кого? — не понял Руська.

— Ты что, не знаешь, кто это?

— Который?

- Ну не горбатый же.
- Нет. А кто он?
- Это же кошачий бог!

Руська оглянулся, но никого в коридоре уже не было.

В столовой их рассадили за столы по восемь человек, и официантки в белых передниках и наколках стали разливать суп. Суп был страшно вкусный, только слишком горячий. На второе было что-то тоже вкусное, но как оно называется, Руська не знал. Потом принесли компот и мороженое. Мороженое Руська уже еле ковырял, засыпая. Кошачий бог, думал он, надо же...

В автобусе Руська уснул. Разбудила его Галя Карповна. Оказывается, всех развозили по домам, и больше того — завтра на уроки можно не ходить, и еще больше — мама или папа могут завтра не идти на работу, вот талон на отдых, передай им... Руська не помнил, как добрался до кровати. Он спал, ему снился почему-то кошачий бог, как он долго и тщательно вяжет оберег, надевает на шею, оглядывается через плечо, хитро подмигивает и делает Руське «козу». Как он сказал? Сад... сер... седельки? Что такое седельки? Надо будет спросить... Потом приснилась мама, она сидела у стола и, плача, втыкала булавку в какую-то бумажку. Мама очень боялась, но все рав-

но втыкала и втыкала. Потом сожгла бумажку на огне. Мама, позвал Руська, но вместо мамы подошел кошачий бог и сказал: гордись, теперь ты настоящий пионер. Почему галстук красный, знаешь? Это цвет крови, пролитой... сказал Руська и испугался чего-то. Правильно, сказал кошачий бог, вот смотри: он сжал галстук в кулаке, и закапала кровь. Мама! — опять позвал Руська, открой, открой глаза, сказала мама, скорей открой! Руська открыл. Завешенная газетой, горела лампа, и за столом сидели отец и тетя Люба, Машкина мама.

— Ты пить хочешь? — спросила мама.

— Пить, — сказал Руська. — Да, хочу.

— Сейчас... — Мама налила из чайника воды в стакан, поднесла Руське ко рту. Руська жадно выпил.

— Русланчик, — спросила тетя Люба, — как ты себя чувствуешь?

— Ничего... — сказал Руська. — Голова только болит... и тошнит везде.

— А Машеньку в больницу забрали, — сказала тетя Люба. — Так ей плохо было, так плохо...

— Он у нас герой, — сказал отец. — Он у нас выносливый...

— Все обойдется, Люба, — сказала мама. — Бывает...

— Да обойдется, конечно... я что ли сомневаюсь...

Вдруг что-то звонко хрустнуло, мама вскрикнула. Отец, сердито ворча, встал, стряхивая с ладони осколки стекла — и вдруг быстро-быстро закапала кровь.

— Это не я! — испуганно сказала тетя Люба.

— Ясно, что не ты. — Отец, держа ладонь перед собой, как полную до краев чашку, пошел к раковине. — Какая из тебя колдунья...

Мама помогла ему промыть руку, перевязала чистой тряпочкой.

— Может, в больницу сходишь? — сказала она. — Укол сделают.

— Да ну, — отмахнулся отец. — Заживет, как на собаке.

— Пойду я, — сказала тетя Люба. — Хорошо с вами...

— Куда ты торопишься, — сказала мама. — Чего тебе там одной делать?

— Спать лягу. Завтра с утра — в больницу, кровь для Машеньки сдавать...

— Слушай, Люба, — сказал отец, — если надо будет — я ребят организую. Ты говори, не стесняйся.

— Спасибо, Петя. Сказали, пока хватит...

Она ушла. Отец налил себе чаю в новый стакан. Сквозь повязку проступило яркое пятно.



— Давай поворожу, — сказала мама. — Кровь установлю, да и заживет скорее.

— Хочешь на работу меня завтра выгнать? Шучу, шучу. Руська, что ты?..

— Ничего, — сказал Руська, — просто смотрю.

Следующий день был длинным и скучным. Руська пытался читать, играть с отцом в шашки... Хотелось не то чтобы спать, а просто лечь и отвернуться от всего. К вечеру рука отца разболелась, он дождался, когда вернется с работы мама, и пошел в больницу. Мама села чистить картошку. Руська лежал и смотрел на нее. Ему почему-то вспомнился кошачий бог, как он вяжет оберег, надевает его, оглядывается через плечо...

— Мама, — сказал Руська, — а знаешь, я там подумал, чтобы он показал «козу» — и он показал...

Мама поняла все сразу.

— Ты никому не говорил? — прошептала она. Губы у нее побелели.

— Н-нет... — испугался Руська.

— Никому никогда не говори! — Мама оказалась вдруг возле Руськи, схватила его за плечи. — Никому и никогда! Даже папе! Забудь! Забудь навсегда, чтобы никто-никто... потому что иначе всем конец: тебе конец, нам с отцом, дяде Косте с те-

тей Валея, их Женечке и Оксане... ты меня понял? Ты понял, да?

— По-онял... — прошептал Руська и вдруг заплакал. — Мама, мама...

— Я твоя мама! Ах, боже ж ты мой, вот несчастье, вот несчастье...

Пришел отец, сказал, что рану почистили, положили мазь и дали освобождение до конца недели.

— Вы что, поссорились? — спросил он, приглядываясь к зарезанным лицам Руськи и мамы.

— Нет, все в порядке, — сказал Руська. — В шашки еще сыграем?

Они сели играть, и отец проиграл четыре партии подряд.

— Рука сильно болит? — понимающе сказал Руська.

— Разве это боль, — сказал отец странным голосом. — Это не боль...

— Мужчины, ужинать! — позвала мама.

— Иди, — сказал отец, — это тебя...

Руська вернулся в школу через три дня. Машка пролежала неделю в больнице, потом еще неделю дома и, наконец, появилась — бледная и худая. А Толик все не приходил и не приходил, а потом Галя

Карповна сказала, что он перевелся обратно в старую свою школу. Адреса его никто не знал, а съездить в ту школу — отвезти марки, ну, и все такое — Руська так и не собрался. Венька же стал часто болеть, и его забрали из школы.

Этим все и кончилось.

*1991, апрель*

## **ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ПОДКА «КОМСОМОЛЕЦ МОРДОВИИ»**

*Старшине первой статьи запаса  
Владимиру Трохину*

**-Т**ут как-то в «Намедни» — передача одна так называется — показали знаменитый английский аукцион «Сотбис». Так на этот аукцион безутешная японская вдовушка сбагрила кой-какое барахлишко своего незабвенного — видно, дабы было на что помянуть. Две пары носков, свитеришко с оленем, очки с одним стеклышком... срамотища. И вдруг! Я, ребята, аж взмок: среди всех этих обносков дорогим самоцветом разыграла одна очень знакомая мне вещь. Да и как ей не быть мне знакомой, если из моих рук она и вышла, и ушла, и затерялась в джунглях шоу-бизнеса.

Я-то, дурак, думал, он ее на первой же ливерпульской помойке выкинул...

Кто купил, и за сколько, и купил ли вообще какой идиот — не сообщалось, короткий сюжетец был.

Но окажись я в тот день в городе Лондоне, всю свою фунтовую заначку снял бы со счета и вещугу эту из чужих рук выручил бы.

А потом прижал бы к груди, обнял и заплакал...

Началось это все в недоброй памяти шестьдесят восьмом годике, когда доламывал я третий год службы на атомной подлодке «Комсомолец Мордовии». Про то, что тем летом случилось, я и по сю пору не имею права трепать языком; скажу только, что анекдот «Кто бросил валенок на пульт?!» вовсе не такой смешной, как кажется. Вообще все было как в песне: и горела роща под горою, и светилась, падая, ракета... и нас оставалось только трое. Но не помнит мир спасенный своего спасителя, потому что он вообще никогда ничего доброго не помнит. Да и несерьезно числить в спасителях рыжего и лопоухого человека по фамилии Залупынос, радиолюбителя из-под Кривого Рога, из колхоза «Великие Проблемы». А вот любитель-то он был любитель, да сделать смог то, что наши офицеры с «макаровкой» за плечами от избытка знаний не потянули... Он просто не знал, что этого сделать нельзя, оттого все у него и получилось. Сам он при этом чуть не улетел, конечно, аки кузнец Вакула на черте...

Э-эх, кабы не его невежество, где бы сейчас все умники были, да и мы с ними заодно...

И вот лежим мы в госпитале, отдельная палата на троих; подводников вообще кормят на убой, так уж повелось (с фабрики-кухни ресторана «Прага» на лодки обеды поставляли), но здесь и мы удивились... да я и сейчас себе не все из того позволить могу... телевизор в палате, программу «Время» смотрим, «Сагу о Форсайтах», Архангельский народный хор... «Ленинский университет миллионов»... не дотянуть-ся ведь, не выключить.

И приходит адмирал флота Кабаков, личность совершенно легендарная.

Много про него можно было бы рассказать, только это отдельная книга получится...

Одна борода — это три главы из той книги... вечно она у него куда-то попадала...

И присаживается он на кровать к Толику нашему Залупыносу — а у того из-под бинтов один глаз виден, натруженный созерцанием тяжелого семейного положения Форсайтов, — бороду в сторону отводит и говорит:

— Спасибо тебе, сынок, что сорвал ты чрезвычайное происшествие во время боевого дежурства. А то зияла бы в ракетно-ядерном щите нашей Родины

дырища от Калининграда до Диксона. Командование этого так не оставит. Проси чего хочешь.

Толик говорить-то мог, хохлу так просто рот не заткнешь, но тут дара речи лишился. Только пальцами показывает: лычки, мол, лычки.

— Это само собой, — машет рукой адмирал, — мичманом будешь и к «Боевому Красному» представим. Ты для души, для души проси...

Толик и попросил. Да так попросил, что адмирал аж крякнул и напрягся.

— Хочу, — говорит наш радиолобитель, король эфира, — прежде чем помереть, «Битлов» живьем увидеть и услышать...

(Сестры потом рассказывали, что с месяц адмирал названивал по два раза в день: не помер ли Толик. Но Толик не помер. И мы заодно.)

— Увидишь, сынок, — сказал адмирал твердо, встал, честь отдал и вышел строевым шагом.

Почти год прошел. Выздоровели мы, в экипаж вернулись. И даже в автономку ушли. Веселая автономка вышла, потому как на гражданке хохлы и русские, составлявшие поначалу костяк ракетно-ядерных сил, кончились. Видно, слишком много лодок наделали. И пошли на флот татары. Но городские

образованные татары все как один плоскостопые и с язвой, поэтому набрали по заволжским степям пастухов и подпасков. И самую ответственную сторону жизни в автономке они превзойти никак не могли. Дело в том, что галюн на подлодке представляет собой не просто место, где матрос с радостью справляет естественные потребности организма, но и сложное гидравлическое устройство. Из-под кустика можно просто встать и уйти; в доме с ватерклозетом уже труднее: надо дернуть за цепочку и проконтролировать процесс; в самолете или там поезде надо нажать на педаль. На подлодке педаль тоже есть, но прежде чем на нее нажать, нужно опустить крышку унитаза и запереть ее на четыре болта с барашками. Каждый второй матрос-первогодок понимает это и делает все как надо, не вызывая нарекания товарищей. У прочих бывают сложности. Это же пополнение проходило три ступени посвящения: не смывать вообще (за это их подвергали, как говорил боцман Тремба, «отсракизму»); смывать при открытой крышке; смывать при закрытой крышке, самонадеянно прижав ее ногой... Но что такое давление одной человеческой ноги против пяти атмосфер системы продувки? Так что пополнение половину автономки занималось только тем, что чистило за собой галюны



зубными щетками и иголками, и это не бесцельное армейское издевательство, а жестокая флотская необходимость, поскольку вторичный продукт при пяти атмосферах подачи забивается в любую щель, ароматизируя посредством системы вентиляции все отсеки и палубы...

С другой же стороны, если за время автономки ни одного такого случая не происходит, это почитается за дурную примету. Так что предзнаменования нам выходили самые блестящие.

Однако от говна вернемся к битлам.

Толика, конечно, подначивали. Все мы понимали, что адмирал стравил сгоряча, потому что секретного матроса в Америку не выпустят даже запаянным в свинцовый гроб, с кляпом во рту, урезанным языком и в сопровождении большого хора автоматчиков Девятого главного управления КГБ под руководством Никиты Карацупы и его верного пса Ингуса, который на самом деле был Индус, но имя это всегда писалось через «г», чтобы не обиделся Джавахарлал Неру, — даже если концерт будет проходить на территории советского посольства в условиях оккупации США объединенными силами войск стран Варшавского Договора, Вьетнама и Кубы. И вот, понимая это, разработали мы проект завлече-

ния битлов на территорию СССР. Мол, сидит сейчас адмирал в кабинете и своей адмиральской рукой выписывает повестки Леннону, Маккартни, Ринго Старру и Джорджу Харрисону, где пишет, что в случае неявки будут доставлены и что битлы в военкоматы по месту жительства пока не являются, но уже постриглись налысо. Но Толик был «сундук», без трех минут офицер, и обижаться на какого-то старшину второй статьи считал ниже своего сундучачьего достоинства. Хотя в автономке, чтоб вы знали, звания не считаются, все по имени-отчеству, если официально, и просто по имени, когда свои.

Тем временем посрамленные Толиком офицеры-электронщики, которые обслуживали арифметическую счетно-решающую машину «Ставрополь-Изумруд», заронили в его душу отравленное зерно: идею поступить после убытия в запас не куда-нибудь, а в самое МГИМО. Английский язык ты уже знаешь, говорили они ему, опыт спасения человечества от ужасов ядерной войны у тебя есть... Станешь военно-морским атташе, а там и послом... а кто запретит послу с супругой и внуками сходить на концерт битлов?

Тут и я подливал своего маслица:

— Представляешь, Толик, год этак восемьдесят пятый. Нет, лучше восемьдесят шестой, год Двад-

цать седьмого съезда и новых решающих успехов. И ты как посол Советского Союза в Социалистической Республике Мексике приезжаешь делегатом с решающим голосом на съезд. Тебе вручают подарки: пыжиковую шапку, папку из крокодиловой кожи, малахитовую вечную ручку с золотым пером производства Ленинградского завода особо точной аппаратуры. И конверт с деньгами, а там рублей как бы не триста. Ты этот конвертик берешь и этак небрежно в боковой карман опускаешь. Ну, проходит съезд. Пионеры стихи Михалкова наизусть шпарят, от шоколадных конфет нос воротят. Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в авиацию, — так, что на патрулирующих в стратосфере бесшумных самолетах слышно. И тут тебя вдруг начинает на родину тянуть, на корешей посмотреть. А жена у тебя — Громыкина племянница, солистка Большого театра. Ей в деревню ехать запаadlo. Тогда берешь ты в гараже кремлевском казенную «Чайку» с шофером, загружаешь ее с черного хода Елисеевского гастронома — и отбываешь. И приезжаешь ты под Пензу в деревню Молябуха Верхнеландёхонского района в колхоз «Явь сенинизма», бывший «Грёзы Ильича». К тому времени все проселки уже заасфальтированные будут, с фонарями и указателями.

И видишь ты среди белых особняков с павлинами и бельведерами покосившуюся такую халупу. А тебе председатель навстречу бежит-торопится, а за ним счетовод с агрономом и счётами, парторг освобожденный с протоколом, — а ты их небрежно так спрашиваешь: и где у вас тут старшина второй статьи, отличник боевой и политической подготовки Сенявин Дмитрий Николаевич проживает? И тут председатель спотыкивается, начинает землю ножкой ковырять и зовет тебя во Дворец культуры и отдыха на банкет по случаю начала весеннего сева. Ты его вдруг спрашиваешь: а где мой кореш Сенявин Дмитрий Николаевич проживает? Он тебя приглашает на открытие колхозного зоопарка на полторы тысячи голов крупного, мелкого и хищного скота и птицы. Тут ты не выдерживаешь, кроешь его позабытым стропальным матом и орешь: «Димка где? Куды Димку дели, муфлоны?!» И тут парторг весь покрывается красной краской и на ту темную хибару кивает. И ты отодвигаешь их всех плечом и смело подходишь, и стучишься. И ворота падают.

И я слышу этот стук, открываю пальцами глаза и выхожу посмотреть, кто там. И мерещится мне с бо-дуна, что это из райцентра уполномоченные приехали ликвидировать меня как класс. А посреди двора у

меня лужа, и из нее перископ торчит — самовар там утопился по пьяному делу. И вот иду я, в майке весь, вот тут дыра прожженная, вот тут шрам от ножа... и начинают сквозь туман сознания проступать знакомые силуэты. Председатель... парторг... агроном... счетовод... и с ними кто-то пятый, солидный, как эсминец «Неисповедимый» среди шаланд, полных фекалий. И я смотрю на этот эсминец и понимаю, что допился, потому что стоишь передо мной ты, Толик, в двубортном габардиновом костюме партийном (а брюки все равно чуть-чуть на клеш идут!), в шляпе и при «бабочке». А тут гусь вокруг топчется и все порывается тебя за штаны ухватить грязным своим клювом, которым он до этого в куче копался. Не выдержал я, вилы схватил, за гусем погнался. Сооб-разил, что не то творю, вилы бросил, возвращаюсь. Говорю:

— Толик. Залупынос. Неужто ж это ты?

А ты так руками делаешь и говоришь:

— Это, Дима, я. Но только теперь я не просто Залупынос, а Залупынос-Австралийский — в честь тайно спасенного южного континента.

Тогда я говорю:

— Ну, так что же мы так стоим? Заходи. Я тут к майским светлым праздникам бражку поставил...

А ты снимаешь шляпу, даешь ее председателю поддержать, достаешь из кармана хромированную золотом расческу, делаешь в голове пробор и говоришь:

— Да нет, Дима, не получится. Я тут на пять минут, проездом... А в ЦК партии, гражданин председатель, я доложу, какие тяготы и лишения, невиданные на военной службе, испытывают героические североморцы-подводники.

А сам машешь рукой шоферу, и шофер в белых перчатках выходит из «Чайки», открывает багажник и достает оттуда две огромные коробки из-под регенераторов. И слышно, как в одной из них стекло дзенькает и бульки булькают, а в другой фольга да бумага промасленная шуршат. Агроном и парторг хватают одну коробку и готовятся волоочь ее ко мне в избу, а ты их веским словом останавливаешь.

— Не-ет, гражданин председатель, — говоришь ты, Толик. — Тащите-ка это на свою гасиенду-фазиенду, Дмитрий Николаевич отныне там проживать будут. А вы быстренько с семейством и без вещей сюда перебирайтесь. А то оторвались совсем от народа. Партия нас чему учит? Вот то-то же. Эй, милейший, отвори-ка коробочку...

И вытаскиваешь ты за горлышки две черные бутылки портвейна «Порто», а из другой коробки бан-

ку устриц в сметане. Чокнулись мы с тобой, выпили за Северный флот, за тех, кто в походе, на вахте и на гауптвахте. За адмирала нашего Кабакова, личность легендарную, даром что трепач. Гусь тут мой сообразил, что прямо сейчас на закуску не пойдет, обнаглел весь. Засунул башку в коробку, проглотил целиком банку мангового компота — и подавился. Трясем мы его, трясем — банка назад не идет. Ты, Толик, тогда пистолет из кармана достаешь и бьешь гуся навскидку в левый глаз.

— Эх, — говоришь ты, — на гусиную охоту в Акапулько все равно не успеваю.

Потом достаешь из кармана внутреннего портмоне. Он такой, как подводная лодка, из восьми отсеков, в каждом отсеке валюта: английские фунты, французские франки, марки восточногерманские и западногерманские, голландские гульден, мексиканские песо с портретом Че Гевары, американские доллары по шесть копеек за штуку... Конечно, ведь дипломату к месту службы ехать через целый ряд стран, везде плати... И полный чемодан наших родных красненьких с жирной прослойкой полусотенными и сотенными.

— Вот, — важно говоришь ты, Толик, и протягиваешь мне стопку красненьких, и их там штук пять

или шесть, а то и все девять. — За нанесенный ущерб...

А на выстрел-то вся деревня сбежалась! Стоят и смотрят, смотрят и плачут...

Пока я так травил, и автономка кончилась. Приходим в родную базу, бухта Ягельная, пирс, швартовая команда, берег. Офицерский городок на сопке... Стоим мы чистенькие, костюмы радиационной защиты сдали, форма уставная отглаженная... кого-то ждем. И тут подваливает к нам маслопуп (это с дизельной подлодки, значит; а зовутся они так потому, что на дизельной масло капает отовсюду, в пупу задерживаясь; спят они, скажем, так: койка подвешенная, справа ящик с картошкой, слева компрессор тарахтит, в головах торпеда вся в солидоле...) и вопрос задает:

— Братва, какое число сегодня? Три недели в стальном гробу...

Выдаем мы порцию здорового смеха, поскольку в море полгода, время округляем до недель и в имени месяца не вполне уверены.

Но тут возникает перед строем командир наш, каприз Полубородов, глаза круглые и косят слегка, будто хлопнул он вместо нормального спирта рюмку нашатырного. Но свобода, равенство и панибратство



на берегу кончаются, поэтому он ничего не говорит толкового, а только матерится изошреннейшим образом, и из мата этого мы понемногу понимаем, что не на атомном подводном ракетоносном крейсере нам служить, а ходить малым каботажем, перевозя гуано в посудине водоизмещением не крупнее ночного горшка архиепископа Кентерберийского, что он был бы счастлив иметь костяк экипажа не из нас, а из выпускников Мурманской школы для идиотов имени Тринадцати Павших Борцов, и что на дембель мы пойдем никак не раньше того, как диктор Игорь Кириллов поздравит весь советский народ с новым тысяча девятьсот семидесятым годом, а главные государственные часы на Спасской башне Кремля подтвердят его правоту последним двенадцатым ударом. И до нас потихоньку доходит, что на берегу без нас что-то произошло. Начинаем строить предположения. Может быть, Генеральный секретарь сменился? Или войну мы Китаю проиграли, потому что они миллионами в плен сдаваться начали? Или коммунизм на десять лет раньше объявили, все поделили по-братски, а мы теперь ни с чем остались?

Делает паузу командир, набирает побольше воздуха, согревает его легкими и объявляет строевым голосом, что объявлены учения и что на отдых нам дается двое суток...

Тут мы едва строй не нарушили.

При одной мысли о том, что и родную-то казарму мы как следует пощупать не сможем, и гарью котельной угольной не надышимся, и на офицерских жен не поглазеем всласть — ноги у нас подкосились, а мысль коллективная вообще в упадничество бросилась. Вот вроде бы все хорошо на подлодке: корм от пуза высококачественный, спишь в пенале, так что дрончить можно, никого не смущая, не то что в учебном отряде, и отношения все-таки другие, не то что на берегу: командир к тебе по имени-отчеству, уважительно, и ты к нему так же; а на берег сошли: «Товарищ капитан-лейтенант, разрешите обратиться?» — «Не разрешаю, пошел вон, говно», — так вот, повторяю, несмотря на все это, как приходим из автономки, земля вся родная-родная, и даже проволока колючая вокруг базы такая, что целовал бы ее взасос, а уж на офицерский городок на сопочке просто часами бы любовался, как самурайский японец на свою Ёкосуку.

А теперь, значит, два дня передышки, и назад на палубу, которая за это время и проветриться как следует не успела. Хорошо хоть не бывает учений на полгода, не хватает на этого начальственной выдумки, полет фантазии у них, как у того крокодила: низенько-низенько...

Это я тогда так по наивности думал.

Идем мы в казармы, я по обычаю на шкентеле плетусь, а навстречу ребята из береговой команды — в робах промасленных, с кистями на плечах, — а за ними грузовик с бочками югославской желтой краски. Ребята ржут, но как-то растерянно. Приказано, говорит, покрасить вашу лодку в желтый веселый солнечный цвет...

Думаете, мы им тогда поверили? Как же. На флоте считается день пропавший, если ты ближнего своего невинно не натянул.

Проходим мимо штаба: на плацу из креновых плах огромный помост сколачивают и уже навес поставили из старой антенны берегового радара, обтянутой брезентом. Значит, артистов ждут — и судя по размеру помоста, не менее чем Ансамбль танца Сибири, где все девки и парни под два метра ростом, — приезжали они как-то к нам в Пензу... Офицеры, конечно, прилажаются с первого ряда девкам под юбки заглядывать, а мы, как сироты, будем созерцать общий рисунок танца.

Вот и родная казарма. Смотрим: рядом со стенгазетой «Арктический рубеж» висит афиша работы штабного художника Мариновича (он и на действительной рисовать не горазд был, и по сю пору не научился; но

если тогда он за болгарские сигареты ребятам наколки размечал, то теперь в Нью-Йорке миллионы за те же самые наколки гребет; ничего я не понимаю в этой жизни; это сколько же моя шкура должна стоить?..), и в этой афише значится: «Завтра, 2 августа, большой праздничный концерт. Первое отделение — выступление Архангельского женского народного хора. Второе отделение — вокально-инструментальный ансамбль «Битлз». Начало в 18.00».

Мы, конечно, посмеялись и дальше полетели, а вот мичман Залупынос-Австралийский застыл в изумлении и не сходил с места примерно так с полчаса. Потом подошел ко мне, а мы уже строимся, чтобы в столовую маршировать.

— Ты, — говорит, — как? Веришь или нет?

— Знаешь, — говорю, — если верить всему, что пишут на заборах... Ты поверил, полез, а там дрова.

— Вот и я думаю, что дрова, — сказал задумчиво Толик.

В ужин слизнули мы, конечно, традиционного поросенка. А с утра начался аврал. Все равно что к приезду министра обороны. Посыпание дорожек, убеление камней и зеленение трав. Маринович с подручными плакат натягивает, мелом на кумаче:

«Wellcome, «Beatles»!!!» — а ниже, мелким шрифтом и по-русски: «Братский привет участникам движения против войны во Вьетнаме и за мир во всем мире от подводников Северного флота!» Ворота покрасили голубенькой эмалью, голубей мира по трафаретке возобновили на створках. И мы тоже что-то красим, что-то таскаем, и офицеры таскают с нами на равных — и тут вдруг начинаем сомневаться в текущем мимо нас моменте.

А разговоры почему-то все только вокруг женского хора. Сколько их там, да какие у девок глаза, да что опять все офицерам достанутся... Был у нас опыт приема артистов, чего греха таить. Кобзон приезжал, Хитяева, Магомаев Муслим, ансамбль «Аккорд» с песней про пингвинов. Ну и хоры различные, как пишут в меню про пирожные, «в ассортименте». Да только если на день нас к артистам приставляли для всяческих их поручений, то в одиннадцать по команде «отбой» все наши матросские поползновения пресекались, ибо по части скорострельной куртуазности морскому офицеру нет равных еще со времен Петра Великого. Не в диковинку случаи, когда холстой офицер-подводник в субботу вечером уезжал в Ленинград, а в понедельник к подъему флага был уже на месте с молодой неопомнившейся женой в охапке и штампом в паспорте.

И вот после обеда показывается автоколонна: «га-зик» ВАИ с мигалкой и матюгальником громкой связи на крыше, а за ним три автобуса с чем-то пестрым за окнами. Подъезжают к гостинице, разгружаются... Мы, конечно, поближе сгрудились, чтоб на девок живых посмотреть, но вышло нам большое разочарование, потому что самая юная хористка наверняка еще ссыльных народовольцев охальными частушками ублажала. День для нас погас, и вели мы последнюю подготовку базы без малейшего энтузиазма...

Ну и, естественно, никаких битлов в тех автобусах не обнаружилось.

Начался концерт. Выстроились бабули, платочки повязаны. Вышел их помполит во фраке, объявляет:

— Выступает женский народный хор Кондопогского района Архангельской области! Лауреат Всероссийского смотра художественной самодеятельности, обладатель специального приза Европейского фестиваля народного творчества в Руане! Песня про Ивана! — взмахнул рукой, и бабульки грянули:

Цё сказали у Ивана  
Да конек вороной?  
Не вороной, не вороной —  
У ево рыжий да худой.

Цё сказали у Ивана  
Будто санки баски?

Ой, не баски, ой, не баски —  
У ево розвальни одни.

У ево розвальни одни,  
Да и те не свои —  
Людям выброшены,  
Ногам вытоптаны.

Цё сказали у Ивана  
Будто женка хороша?  
Не хороша, не хороша —  
Она сутула да ряба.

У её кошацье рыло,  
Собацьи глаза,  
У ей собацьи глаза  
Да лошадиная голова!..

Вижу, Толик наш приуныл. Вот тебе и «Гёл, гёл!» — лошадиная голова... Ну, сбацали бабульки еще что-то зажигательное с притопом да прихлопом, а потом вышла их солистка и запела про Илью Муромца. Он, надо думать, столько не жил, сколько она пела.

Но даже у самой большой бухты каната есть шкентель, как говаривал баталер наш мичман Лопато. А он в этом деле понимал туго, поскольку опыт имел богатейший. Начинал он службу на острове Минус, где всего гарнизона было шесть матросов и старшина второй статьи. А служили в то время на флоте по семь лет. И вот до одного из матросиков старослужащих доканывает медленный дембель, а на замену

ему присылают молоденького Лопато, сразу после учебного отряда. Учебным отрядом командовал тогда капраз Яхонт Ефимович Наружный, утопивший подряд две подводные лодки. Ну, про Наружного — это отдельная повесть, попечальнее «Ромео и Джульетты». Да. И вот прибывает юный розовый матросик на обитаемый остров... понятно — сразу на кухню. Что вы думаете? В первый наряд торжественно пошел — и проштрафился. Плохо помыл посуду, чем привел в несказанную ярость все население острова. Тут же арестовали его, посадили в канатный ящик, ночь он там просидел. Утром выводят, хмурые все. Старшина за столом сидит, ни на кого не смотрит. Бумагу к себе какую-то подвинул, читает: «Акт о списании. Комиссия в составе таких-то под председательством такого-то рассмотрела дело о проступке матроса Лопато, который недобросовестной помойкой посуды привел гарнизон острова Минус на грань желудочно-кишечной эпидемии, чем поставил под удар безопасность государства. Комиссия постановляет: вследствие недоброкачества матроса Лопато списать последнего по акту. Способ списания: отстрел из карабина Симонова АКС калибра 7,62 мм. Выдать два патрона для отстрельного и контрольного выстрелов. За отсутствием погоды на пирсе



списание произвести завтра. Подписи председателя и членов комиссии наличествуют»...

От советской власти Лопато иного как-то и не ожидал.

Отвели его обратно в ящик. Дали бумагу, карандаш — пиши, мол, письма.

И Лопато стал писать. Он написал родителям, сестрам, соседке Феньке, за которой как-то раз подглядывал на речке, и даже телке Звездочке, названной так в честь собаки-космонавта. Почему-то именно перед Звездочкой он чувствовал себя особенно виноватым за то, что стегал ее хворостиной... Всего писем было около двадцати.

Утром его вывели на пирс. Вот-вот грозил пойти снег. Океан был серым, как родная раскисшая земля.

Ему предложили завязать глаза, но он просто отвернулся. Когда сзади пальнули, он зажмурился, потом осторожно посмотрел. Снег начался, тяжелый и мокрый. Здесь все то же самое, подумал он.

Потом пальнули еще раз. Теперь Лопато даже не стал жмуриться.

Когда его отвели обратно, он как-то долго еще не верил, что жив. Но старшина, все так же сидя за столом, сказал, что по уставу, если патроны израсходованы, а списуемый почему-то не списался, то

ему надлежит в течение года исполнять наряды там, где проштрафился, в данном случае на кухне...

Целый год Лопато, счастливый донельзя, содержал кухню в изумительной чистоте. А как он готовил!.. Вечерами же свободное от вахты население острова Минус вслух, с выражением, читало его письма домой. Письмо к Звездочке пользовалось особым успехом...

Вот так приходится заполнять свой досуг там, где плохо работает КВЧ.

В антракте дают нам команду: прогуляться до седьмого пирса. Аккурат там наш «Комсомолец Мордовии» пришвартован. Построились, идем. Я опять топаю замыкающим, курю, и того, что там видят передние, мне не ведомо, однако вот ропот — дошел. Ох, какой ропот!

И наконец вижу все сам своими глазами и в ропот тот добавляю свою басовую ноту.

Сияет наш «Комсомолец Мордовии» желтым флуоресцентным светом, и на всем вокруг лежит этот солнечный отблеск, и черные его соседки по контрасту кажутся уже и не просто черными, а какими-то ненормально черными... в общем, производит он впечатление китайского императора в золотом халате, решившего полежать на негритянском пляже в

жаркий день в угнетенном Гарлеме. Тут нам командуют «ррайсь-смирно!», оркестр играет «Встречный марш», и из рубки выходят и начинают спускаться на шканцы четверо длинноволосых ребят в цветастых пиджачках, у троих гитары в руках, а четвертый какими-то погремушками трясет, споткнулся на трапе и чуть не в воду, но устоял.

И вот ведь что интересно: все своими глазами вижу, а верю все меньше и меньше. Ну, не может этого быть, потому что этого не может быть никогда.

А вслед за ними выходит адмирал наш Кабаков, легендарная личность, и сияет еще ярче лодки, в белом парадном кителе, а борода надвое расчесана, как у Римского-Корсакова. И без команды мы начинаем вопить «Ура!», и это «ура» идет такими красивыми перекатами, которые на репетициях к парадам у нас сроду не получались. Вопим мы все, кроме Толика, который стоит бледный, губы сжал, а по щекам слезы. И адмирал подошел к нему, достал платок, пахнувший одеколоном «Шипр», и собственноручно слезы ему вытер.

— Вот так, сынок, — сказал он ему и что-то еще хотел добавить, но воздержался. Слов лишних не любил.

Место у меня было самое лучшее — после Толика и адмирала, они-то в первом ряду посередине си-

дели, а я приказал салажне сбегать на волейбольную площадку и притащить мне судейскую вышку, что и было исполнено в кратчайший срок. Завидующие офицеры на лавках и на стульях тут же задержались, но офицеров много, а вышка-то одна... А время я так подгадал, что качать права им было уже поздно: битлы *предстали*.

Но вперед них вышел, конечно, известный всему Северному флоту ихний однофамилец, а мой годок Вадим Жук, переносивший тяготы и лишения при штабе в культурно-воспитательной части; занятие у него было чистое и стержневое: возить артистов по базам и кораблям, обеспечивать командам надлежащие зрелища, а выступающим — надлежащий хлеб: рюмку коньяка до и сигарету после.

Одет Вадим был как надо: офицерская парадка без знаков различия и галстук-«бабочка». Тогда я впервые увидел живую «бабочку» и страшно ее с тех пор полюбил. Кося под Бубу Касторского, он раскланялся и объявил:

— Товарищи североморцы! Матросы, старшины, офицеры и адмиралы! Как сказал поэт: «Ты помнишь, в нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда кильватерной колонной вошли военные суда. Четыре серых...» Да!!! Их именно четверо, флагманов совре-

менного буржуазного искусства, ковбоев успеха, ударников эстрады. На нашей сцене с первым и единственным концертом за Полярным кругом — герои борьбы за мир во всем мире, мамонты контрапункта, выходцы из рабочих кварталов пролетарского Ливерпуля — вокально-инструментальный ансамбль «Битлз»!!! Первая и главная песня сегодняшнего концерта — «Желтая подводная лодка». Краткое содержание песни: «В нашем городе полным-полно моряков, и все они наперебой рассказывают о своей героической службе на подводных лодках. И мы с первыми лучами солнца начинаем воображать себя экипажем желтой подводной лодки...»

И ребята запели.

...Когда мы очнулись, была полночь. Мне сверху видно было, как сверкают в лучах прожекторов фляжки, вздымаемые высоко, поскольку именно так можно отцедить последние капли, и в каком-то полубреду мне казалось, что это сверкает одна и та же неисчерпаемая фляжка, которая обслуживает и зал, и сцену, и уходит ненадолго передохнуть или обслужить тех, кого с нами нет (в походе, на вахте, на гауптвахте...), и возвращается, что твой бумеранг... Нет, ребята, для того, чтобы всю ту картину воспроизвести, надо нас опять всех собрать на том же мес-

те в том же составе, да придать нам пожилого опытного следователя из военной прокуратуры, который сумеет клочки наших воспоминаний сметать в единое полотно...

Кому это надо?

«Желтую подводную лодку» пели раз пять, а то и все десять. Вызывали на бис, подпевали сами, с ходу перевода на русский устный. И потянуло нас в море...

Но тяга та была еще слаба.

Вдруг обнаруживаю я, что сижу на вышке не один. Рядом какая-то соплюха тощая, кулачками по ограждению вышки стучит, плачет, визжит что-то не по-нашему. Заткнул я ее на время фляжкой, надо же песню дослушать. А она фляжку вытащила, отплевалась и на меня уставилась, будто никогда моряка-североморца не видала. Потом разулыбалась, взяла меня за гюйсы и под подбородком так аккуратно бантом завязала, чтобы я ничем щелкнуть не мог.

Тут мы и разговорились. Звали ее Дайяна, родом она оказалась из Бирмингема, и папа ее был фотограф. А сама она с десятком таких же идиоток путешествовала за битлами по всему свету, присутствуя на всех их концертах. Границ и билетеров они не признавали. И многого другого тоже. Например, она сразу же уселась мне на колени, я думаю: не обтру-

хоть бы клапан... хрен, ей просто так лучше видно было, вот и все. И еще она меня спросила, не принц ли я, случайно, и объяснила, что раз битлы все уже такие женатые, то выйдет она замуж исключительно за принца...

Под конец мне почему-то казалось, что Жук является уже во фраке, натянутом поверх длинного, до самых колен, тельника, — и босой. Сам Жук потом, конечно, говорил, что ничего такого не было и быть не могло (он вам и сейчас это же самое скажет), но потом я стороной узнал, что он помазал сабоцманом Трембой на две банки сгуши, что именно в таком виде будет заканчивать концерт. И закончил. Долго обводил глазами зал, потом растопорщил усы и произнес:

— Т'нцуют все! Дамы пр'глашают кавалерофф... — и лег.

Штаб, что с них возьмешь...

На положенный по протоколу скромный товарищеский ужин нижних чинов не допускали, да и мичмана присутствовали только в лице Залупыноса-Австралийского. А мы, серая порция, побрели бесчувственно в казарму, доковыляли до коек и рухнули, как подрубленные дубы, сраженные одной молнией. И снилось мне почему-то, что к северным

нашим старушкам я приставлен хормейстером и должен в кратчайшие сроки разучить с ними «Полет шмеля» Римского-Корсакова для виолончели с оркестром. Старушки голосом изображали жужжание, а потом вышла одна, самая сухонькая, по имени Багратиона Степановна, и затрубила горлом. Она трубила так громко, что я вскочил.

Трубач играл побудку. Причем побудка у него плавно переходила в гопад из «Ивана Сусанина» и обратно.

Когда играют побудку, тело одевается само.

Проснулся я на борту родной подлодки. В руках у меня был сапожный нож, которым я что-то резал из тонкого картона. На столе стояла коробка гуаши и серая банка из-под охры, в которой я обычно мыл кисти. Но к этой банке я почему-то время от времени прикладывался.

Вроде бы в ней плескался спирт.

Тут появился Толик. Принес фотографии.

— Вот, — говорит, — весь твой Леннон.

Я стал разбираться. Снято было хорошо, со вспышкой. Джон был и один, и в компании своих, и в тельнике, и в адмиральском кителе, и в обнимку с какими-то веселыми лохматыми девками, в которых с трудом узнавались офицерские жены.



— Ага, — говорю я. — Только я что-то от нитро-краски одурел.

— От какой нитрокраски? — говорит он. — Где ты ее видишь?

Я альбом понюхал и сам удивился. Была же вроде нитрокраска. Раз голова такая чугунная.

Тут Толя мой заплакал.

— Нащо мени це життя? — говорит он. — Колы мрьи билыш немає...

— Да, — говорю я и тоже плачу, — людинэ завжди потрібна мрья. А МГИМО?

— МГИМО... — плачет он. — МГИМО — щоб батьки не журылыся, щоб дивки кохалы. А битлы — от це була мрия...

Потом вытаскивает из кармана кусок хлеба белого и начинает крошить на стол, и два каких-то воробья прыгают и те крошки клюют.

— Ты, — говорю, — чего творишь, они же мне всю работу обгадят.

— Пусть кушают птички божии, не мешай...

Я плюнул и пошел проветриться.

Ясный-ясный день, океан зеленый, как очи болотной красавицы, и позади рубки, скрывшись от набегающего ветра, сидят свободные от вахты моря-

ки, девки-фанатки, бабушки-хористки — и ливерпульская наша четверка, у кого гитары в руках, у кого компот ананасовый, Ринго по пустой кастрюле ритм отбивает... и курят все, кому не лень. И только тут до меня доходит, что мы идем в надводном положении.

Потому что с курением на подводной лодке очень сложно.

И вот стою я, по-пушкински опершись афедронном о леер, и слушаю добрую песню, которую напевают старушки и подтягивают битлы.

Во лугах, лугах, лугах, во зелененьких лугах,  
Там ходила, там гуляла телка черненькая,  
Телка черненькая, вымя беленькое.  
Как увидел эту телочку игумен из окна,  
Посылает-снаряжает своего рыжего дьячка:  
Ты поди, моя слуга, приведи телку сюда,  
Не хватай за бока, не попорть молока...

Потом уже, подо льдами, когда я в галюне отскабливал растерянного Джона зубной щеткой, он говорил, пригорюнясь, что общение с этими пожилыми леди дало ему больше, чем все уроки у Махариши и Рави Шанкара.

Меж тем дембельский его альбом я все никак не мог закончить, хотя и не спал вообще ни минуты. Хотелось мне выразить всю полноту чувств, которые

меня в те дни переполняли. Были в том альбоме цветы из множества открыток, присланных ребятам из разных краев бескрайней нашей отчизны, вырезанные из «Огонька» и «Советского экрана» портреты гимнастки Людмилы Туришевой, актрисы Натальи Варлей, французской певицы Мирей Матье, Эдиты Пьехи, Клаудии Кардинале в компании Юрия Визбора на фоне красной палатки, Марины Влади — и еще нескольких достойных женщин, которые, по тогдашнему моему разумению (с тех пор почти не претерпевшему девиаций),годились в супруги Джону Леннону с гораздо большими на то основаниями, чем худосочная кривоватая японка (кстати, куда она делась на время нашего похода, ума не приложу. На лодке ее вроде бы не было... Впрочем, относительно того, кто был на лодке и кто не был, у всех после похода возникли большие сомнения. Скажем, двигателисты утверждали потом, что у них в отсеке сидел (и лежал) сам Высоцкий, пил вместе с ними спирт и сочинял песни про подводников. А два синих от непонятности происходящего маслопупа слонялись по палубам и все пытались найти несколько потертанных мешков сухого компота).

Были в альбоме еще портреты знаменитых подводников: Маринеско, потом Гаджиева, Колышкина...

Последняя страница альбома украшена была ро-стовым портретом самого Леннона в полной парад-ной форме с балеткой в левой руке и гитарой за спи-ной, а на заднем плане печально красовалась типичная ливерпульская хатка и старенькая мама, ожидающая сына со службы.

По коридорам и трапам с частотой и скоростью челнока сновал адмирал Кабаков, легендарная лич-ность, то ли сопровождаемый, то ли преследуемый девками-фанатками. Их какой-то шутник обучил одной русской фразе: «Где твой кортик, девок пор-тить?» — которую они обращали исключительно к адмиралу.

И за какой угол ни свернешь, в какую дверь ни сунешься — везде стоит недоумевающий баталер наш Лопато, списанный когда-то по акту, и пытается со-считать канистры со спиртом и без оногo, и вечно у него не сходится счет.

Но спирт спиртом, а политчас политчасом, то есть каждый день.

Поначалу битлы политчас игнорировали, и это им как-то сходило с рук. Но и без их присутствия зампо-лит вел себя как-то не так. То рассказывал о проекте переселения пингвинов в Арктику, которое задумал еще товарищ Папанин, но преодоление культа личности

спутало его планы, а волюнтаризм, возникший как следствие, положил всему конец. То вел речь о планах американских империалистов снабдить свои атомные подводные лодки специальным приводом, сконструированным беглым деникинским полковником Карлом Людвиговичем Дином, коий привод позволяет нарушать закон всемирного тяготения без тяжких последствий для нарушителя, и использовать тем самым свой атомный подводный флот для завоевания межпланетного пространства и планет Солнечной системы. А на тот политчас, на который битлы все-таки заявили, он назначил темой «Дзен-буддизм — повивальная девка японского милитаризма и китайского экспансионизма». Только ничего у него не вышло, потому что битлы вели себя развязно, а похожая на училку Линда — та вообще встала и заявила, что книга «Камасутра» вообще не имеет никакого отношения ни к дзен-буддизму, ни к милитаризму, а китайский экспансионизм происходит сам по себе и совсем по другим пособиям. Потом они начали петь, а мы подпевать: «Все мы любим пасту «Поморин», пасту «Поморин», пасту «Поморин»...

Ну и допелись. Отменили у нас политчасы до самого конца плавания. Такого никогда не было ни до, ни после!

А раз нет политчасов, ребята, то и вся дисциплина тоже вроде бы как отсутствует.

Вот тут-то, говоря словами классика, «и все заверте...»

Когда всплывали на полюсе, многие видели полярное сияние, хотя был день — и сильно пасмурный день.

Говорил мне потом Толик, что Леннон в нарушение запрета курил в каюте, а поскольку курил он далеко не табак, то по системе вентиляции мы вполне могли причаститься...

Кроме шуток: приходиться в себя стали уже после Ливерпуля. Тут, правда, и спирт кончился, сошелся наконец у Лопато счет. Зато потерял он надувной спасательный плот ПСН. И как мы его ни убеждали, что плот этот он сам лично Ринго Старру подарил, не желал Лопато никого слушать.

А я как раз вот это отлично помню: ночь или вечер поздний, множество огней на берегу, и вода вся в огнях, так и кажется, что плот плывет по углям... девки-фанатки на веслах, гребут и плачут, а ребята поют — без музыки почти, Джордж на простой гитаре играет, Ринго ладонями легонько так по надутому борту лупит, — и выводят голосами:

...And our friends are all on board,  
many more of them live next door,  
And the band begins to play.

We all live in a yellow submarine,  
yellow submarine, yellow submarine.  
We all live in a yellow submarine,  
yellow submarine, yellow submarine.

И тут я вспоминаю: альбом! Альбом забыл! Бросился в люк, по трапу вниз, в первый отсек, в кубрик, схватил, назад тем же путем, разулся буквально на лету, разделся...

Отплыли они уже далеко. Хорошо, девки гребли так себе, да и плот не для гонок предназначен. И вода — теплая-теплая.

Догнал на боку, за леер ухватился:

— Джон! — и подаю.

Обнялись еще раз на прощание со всеми, я из воды наполовину торчу, тот еще русал... и поплыл обратно, уже на спине. Созвездия знакомые узнаю... Ливерпуль, понимаешь, а звезды те же.

Приплыл, тут и погружение сыграли.

Вот, собственно, и все. Разглашать нам об этом, понятно, запретили — равно как и обо всем остальном... скажем, как называется шпангоут «4-Ч», что такое «тяжелые силы» или сколько на лодке экипажа...

Да и, поверьте, сами мы по прошествии времени вдруг как-то перестали во все произошедшее верить. Ну, будто приснилось всем коллективно, что ли. Да

потом еще наложилось всякое. Та же К-33... как потом из казармы самосвалом личные вещи ребят вывозили... Встретил тут несколько лет назад Жука Вадима, обрадовались, коньячку попили — а о том концерте и не вспомнили ни разу. Да и сейчас не вспомнил бы, наверное, если бы не этот, блин, «Сотбис»...

Вот и на плоту не было японки, чтоб я сдох. Я же со всеми тогда перецеловался...

Не было. И где была — никто так по сю пору и не знает. Да мне, по правде говоря, и неинтересно.

А вот что альбом тот мимо меня проскочил — это обидно. Второго такого уже не будет никогда.

Там изнутри на обложке групповое фото, и я — во втором ряду третий слева...



## Содержание

Зеркала . . . . .	5
Там вдали, за рекой... . . . .	107
Священный месяц Ринь . . . . .	239
Из темноты . . . . .	302
Из жизни Серого Волка . . . . .	338
Середина пути . . . . .	344
Мумия . . . . .	352
Желтая подводная лодка «Комсомолец Мордовии» . . . . .	377

# ЛУЧШИЕ

## КНИГИ

### ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

◆ **Любителям крутого детектива** — романы Фридриха Незнанского, Эдуарда Тополя, Владимира Шитова, Виктора Пронина, суперсериалы Андрея Воронина "Комбат", "Слепой", "Му-му", "Атаман", а также классики детективного жанра — А.Кристи и Дж.Х.Чейз.

◆ **Сенсационные документально-художественные произведения** Виктора Суворова; приоткрывающие завесу тайн кремлевских обитателей книги Валентины Красковой и Ларисы Васильевой, а также уникальная серия "Всемирная история в лицах".

◆ **Для увлекающихся таинственным и необъяснимым** — серии "Линия судьбы", "Уроки колдовства", "Энциклопедия загадочного и неведомого", "Энциклопедия тайн и сенсаций", "Великие пророки", "Необъяснимые явления".

◆ **Поклонникам любовного романа** — произведения "королев" жанра: Дж.Макнот, Д.Линдсей, Б.Смолл, Дж.Коллинз, С.Браун, Б.Картленд, Дж.Остен, сестер Бронте, Д.Стил — в сериях "Шарм", "Очарование", "Страсть", "Интрига", "Обольщение", "Рандеву".

◆ **Полные собрания бестселлеров** Стивена Кинга и Сидни Шелдона.

◆ **Почитателям фантастики** — циклы романов Р.Асприна, Р.Джордана, А.Сапковского, Т.Гудкайнда, Г.Кука, К.Сташефа, а также самое полное собрание произведений братьев Стругацких.

◆ **Любителям приключенческого жанра** — "Новая библиотека приключений и фантастики", где читатель встретится с героями произведений А.К. Дойла, А.Дюма, Г.Манн, Г.Сенкевича, Р.Желязны и Р.Шекли.

◆ **Популярнейшие многотомные детские энциклопедии:** "Всё обо всем", "Я познаю мир", "Всё обо всех".

◆ **Уникальные издания** "Современная энциклопедия для девочек", "Современная энциклопедия для мальчиков".

◆ **Лучшие серии для самых маленьких** — "Моя первая библиотека", "Русские народные сказки", "Фигурные книжки-игрушки", а также незаменимые "Азбука" и "Букварь".

◆ **Замечательные книги известных детских авторов:** Э.Успенского, А.Волкова, Н.Носова, Л.Толстого, С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто, А.Линдгрена.

◆ **Школьникам и студентам** — книги и серии "Справочник школьника", "Школа классики", "Справочник абитуриента", "333 лучших школьных сочинения", "Все произведения школьной программы в кратком изложении".

◆ Богатый выбор учебников, словарей, справочников по решению задач, пособий для подготовки к экзаменам. А также разнообразная энциклопедическая и прикладная литература на любой вкус.

**Все эти и многие другие издания вы можете приобрести по почте, заказав  
БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ**

по адресу: 107140, Москва, а/я 140. "Книги по почте".

Москвичей и гостей столицы приглашаем посетить московские фирменные магазины  
издательской группы "АСТ" по адресам:

Каретный ряд, д.5/10. Тел. 299-6584, 209-6601.

Арбат, д.12. Тел. 291-6101.

Звездный бульвар, д.21. Тел. 232-1905.

Татарская, д.14. Тел. 959-2095.

Б.Факельный пер., д.3. Тел. 911-2107.

Луганская, д.7. Тел. 322-2822

2-я Владимирская, д.52. Тел. 306-1898.

В Санкт-Петербурге: Невский проспект, д.72, магазин №49. Тел. 272-90-31

Книга-почтой в Украине: 61052, г. Харьков, а/я 46, Издательство «Фолио»

**Лазарчук Андрей**  
**Из темноты**

Художественный редактор О. Адашкина  
Компьютерный дизайн: А. Сергеев  
Технический редактор О. Панкрашина  
Младший редактор Е.А. Лазарева

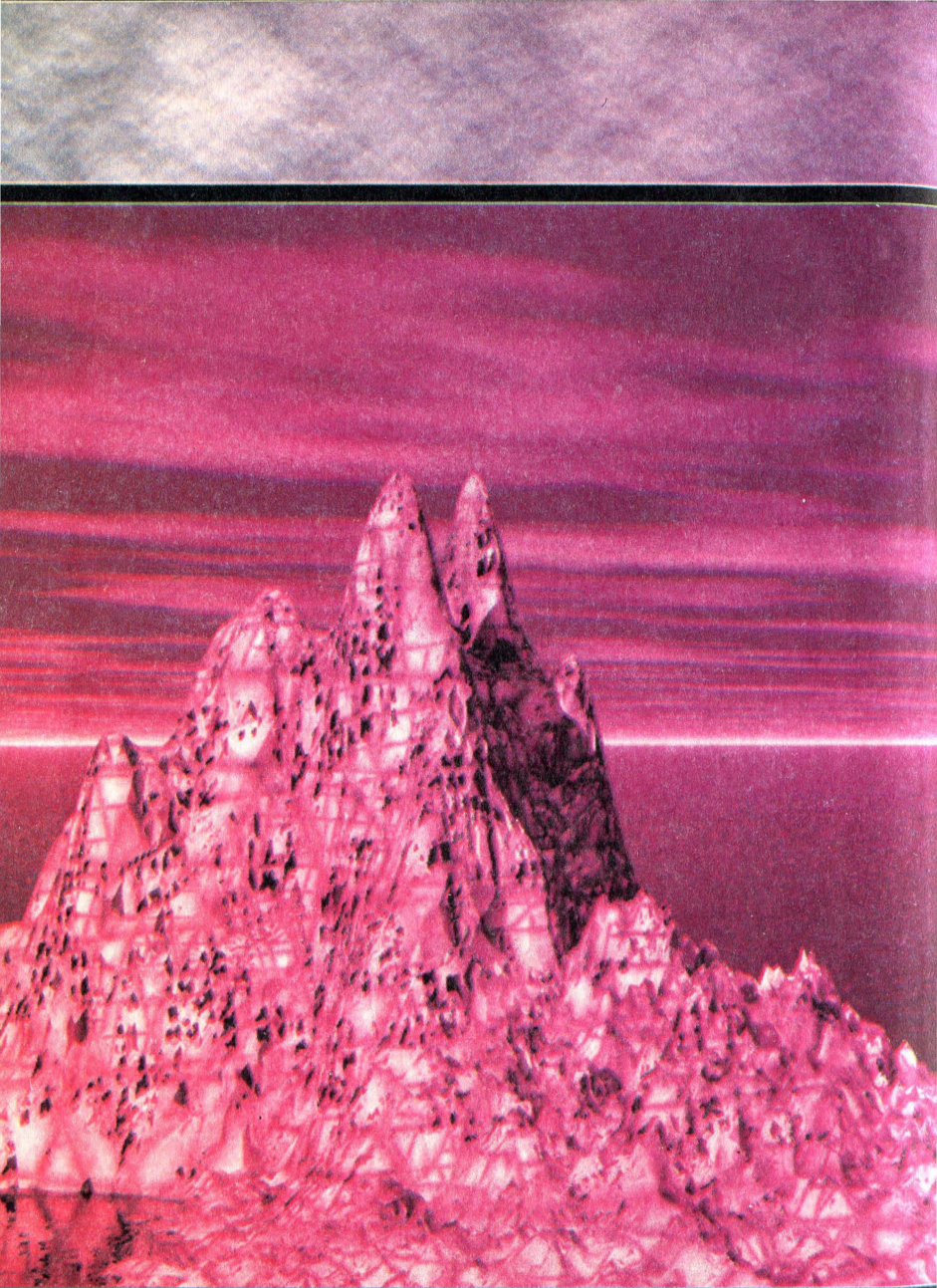
Подписано в печать 25.02.00.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Усл. печ. л. 21,84.  
Тираж 11 000 экз. Заказ № 4179.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции  
ОК-00-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

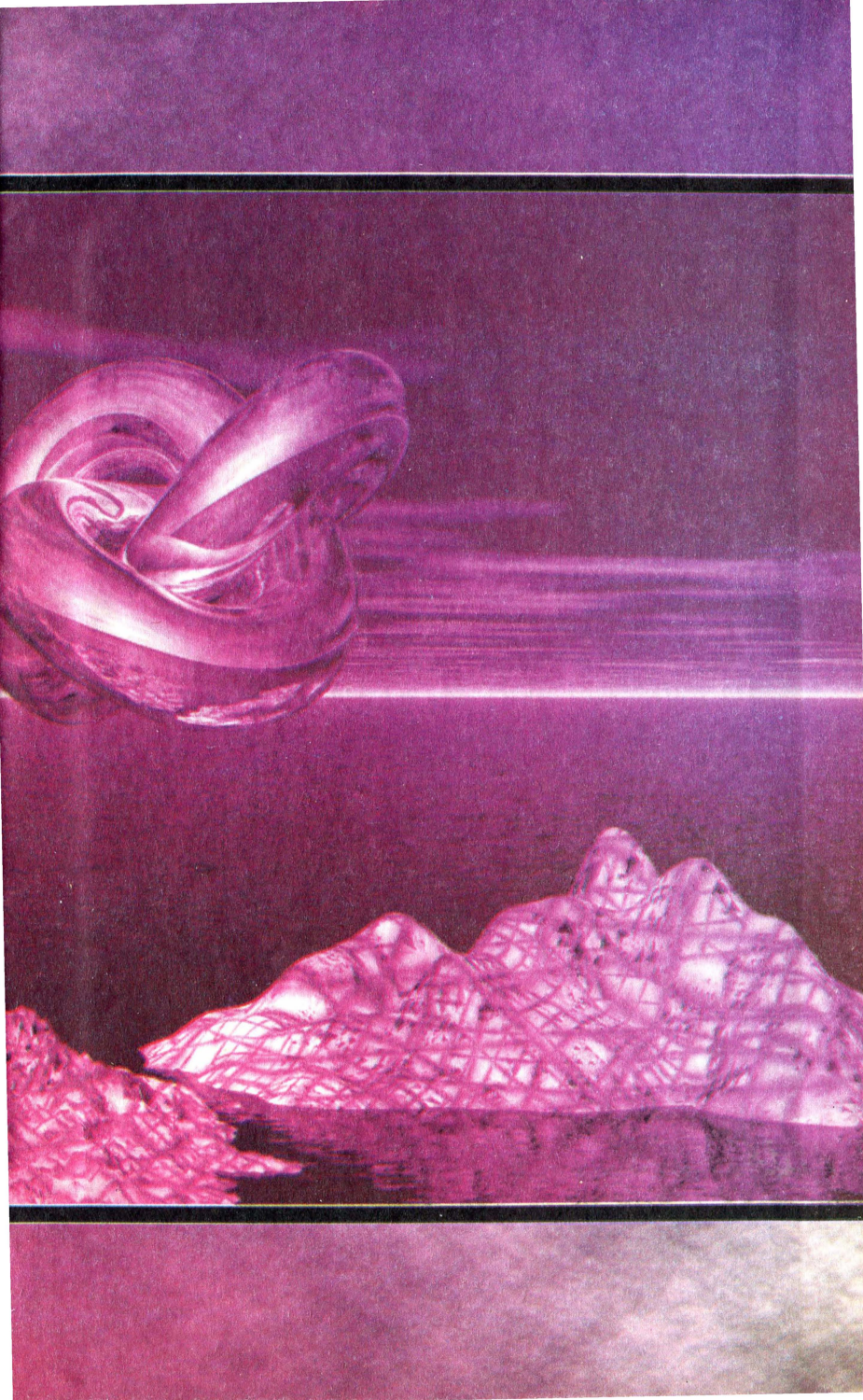
Гигиенический сертификат  
№ 77.ЦС.01.952.П.01659.Т.98 от 01.09.98 г.

ООО “Фирма “Издательство АСТ”  
ЛР № 066236 от 22.12.98.  
366720, РФ, Республика Ингушетия,  
г.Назрань, ул.Московская, 13а  
Наши электронные адреса:  
[WWW.AST.RU](http://WWW.AST.RU)  
E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru)


Отпечатано с готовых диапозитивов  
на Книжной фабрике № 1 Госкомпечати России  
144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.











ISBN 5-237-05290-8



Андрей Лазарчук — признанный мастер отечественной фантастики, писатель, которому подвластно в этом жанре практически ВСЕ.

Альтернативная история во всей ее оригинальности...

Классические, леденящие душу «ужасы»...

Озорной, веселый, добрый юмор...

Головокружительные приключения...

Экшн, от напряженности действия которого захватывает дух...

Таковы повести и рассказы Лазарчука — очень-очень разные, однако все их объединяет жесткий, яркий сюжет и запоминающиеся герои.

Андрей Лазарчук — это фантастика, которая не оставит равнодушным никого!

ЛАБИРИНТ

ЗВЕЗДНЫЙ